





Q

Главный редактор — М. МАКСИМОВ. Редакционная коллегия:

В. БОКОВ, Ю. ДРУНИНА, Д. КОВАЛЕВ, Т. КУЗОВЛЕВА, Л. ЛАЗАРЕВ, М. ЛУКО-НИН, Б. ОКУДЖАВА, С. ОРЛОВ, Д. ПАТ-ТЕРСОН, С. ПОДЕЛКОВ, С. СМИРНОВ, А. СМОЛЬНИКОВ, В. СОКОЛОВ, Д. СТА-РИКОВ, В. СУББОТИН, Л. ТАТЬЯНИ-ЧЕВА, В. ТУРКИН;

составители: A. HИКОЛАЕВ, B. OСИНИН, M. COБОЛЬ.

[©] Издательство «Советский писатель», 1974. Поэтические произведения, включенные в подборьи «Двадцать восемь стихотворений из Великой Отечественной войны» и «Обелиски», а также стихи, помеченные звездочкой, публиковались до 27 мая 1973 года.

Друг читатель!

9 мая 1975 года салюты под небом нашей Родины озарят высокий праздник тридцатилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И естественно, что книга эта, которую ты открываешь в канун юбилейного года, задумывалась нами как своего рода поэтический салют нашей Победе.

Но тема всемирно-исторического подвига советского народа, главенствуя в сборнике, не исчерпывает его содержания. И это тоже естественно. Ведь и мирный созидательный труд, и крепнущая дружба народов, и юношеская любовь, и свет незатемненных окон наших домов, и чистота наших снежных просторов, и весенние разливы рек, и шепот лесов — все это наследие великой Победы.

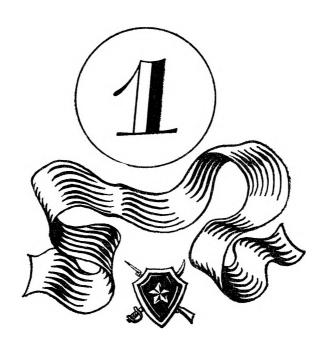
Сборник сложился из трех разделов. В первом из них, помимо новых стихов, ты еще раз встретишься с произведениями, вошедшими в память народа с войны. Мы не смогли поместить здесь прекрасные поэмы той поры, такие, как «Василий Теркин» А. Твардовского, «Киров с нами» Н. Тихонова, «Сын» П. Антокольского, «Зоя» М. Алигер, но в своеобразной маленькой антологии ты найдешь выдержавшие испытание временем стихотворения и песни, рассказы о том, как они рождались и становились боевым оружием. Мы также считали своим долгом почтить благодарной памятью поэтов, павших в битве с фашизмом.

Во втором разделе «Дня поэзии» ты найдешь поэтические произведения на самые разнообразные темы современности, лирические раздумья, статьи о поэтах и о поэзии.

Третий раздел сборника посвящен теме труда, подвигу гвардейцев пятилетки, достойно продолжающих традиции боевого подвига народа. Здесь, впервые в «Дне поэзии», рядом с поэтами-профессионалами выступают рабочие — поэты.

Надеемся, дорогой читатель и современник, что наш «День поэзии 1974» не оставит тебя равнодушным.

Редколлегия



Пусть ярость благородная Вскипает, как волна,— Идет война народная, Священная война!..

> Вас. Лебедев-Кумач, «Священная война».

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Александр Твардовский

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Я убит подо Ржевом В безыменном болоте, В пятой роте, На левом, При жестоком налете.

Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире, До конца его дней, Ни петлички, ни лычки С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые Ищут корма во тьме; Я — где с облачком пыли Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный На заре по росе; Я — где ваши машины Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке Речка травы прядет, Там, куда на поминки Даже мать не придет.

Подсчитайте, живые, Сколько сроку назад Был на фронте впервые Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая, Как на теле рубец. Я убит и не знаю: Наш ли Ржев наконец? Удержались ли наши Там, на Среднем Дону?.. Этот месяц был страшен, Было все на кону.

Неужели до осени Был за ним уже Дон И хотя бы колесами К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи Той не выиграл враг! Нет же, нет! А иначе Даже мертвому — как?

И у мертвых, безгласных Есть отрада одна: Мы за родину пали, Но она — Спасена.

Наши очи померкли, Пламень сердца погас, На земле, на поверке, Выкликают не нас.

Нам свои боевые Не носить ордена. Вам все это, живые. Нам — отрада одна:

Что недаром боролись Мы за родину-мать. Пусть не слышен наш голос,— Вы должны его знать.

Вы должны были, братья, Устоять, как стена, Ибо мертвых проклятье— Эта кара страшна. Это грозное право Нам навеки дано, И за нами оно — Это горькое право.

Летом, в сорок втором, Я зарыт без могилы. Всем, что было потом, Смерть меня обделила,

Всем, что, может, давно Вам привычно и ясно... Но да будет оно С нашей верой согласно.

Нам достаточно знать, Что была, несомненно, Та последняя пядь На дороге военной,

Та последняя пядь, Что уж если оставить, То шагнувшую вспять Ногу некуда ставить,

И врага обратили Вы на запад, назад. Может быть, побратимы, И Смоленск уже взят,

И врага вы громите На ином рубеже? Может быть, вы к границе Подступили уже?

Может быть... Да исполнится Слово клятвы святой! Ведь Берлин, если помните, Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие Крепость вражьей земли, Если б мертвые, павшие Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные Нас, немых и глухих, Нас, что вечности преданы, Воскрешали на миг,

О, товарищи верные, Лишь тогда б на войне Ваше счастье безмерное Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная Наша кровная часть, Наша, смертью оборванная, Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили . Мы в суровой борьбе,— Все отдав, не оставили Ничего при себе.

Все на вас перечислено Навсегда, не на срок. И живым не в упрек Этот голос наш мыслимый.

Братья, в этой войне Мы различья не знали: Те, что живы, что пали,— Были мы наравне.

И никто перед нами Из живых не в долгу, Кто из рук наших знамя Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое, За советскую власть Так же, может быть, точно Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом, Тот еще под Москвой. Где-то, воины, где вы, Кто остался живой?

В городах миллионных, В селах, дома в семье, В боевых гарнизонах Не на нашей земле?

Ах, своя ли, чужая, Вся в цветах иль в снегу... Я вам жить завещаю,— Что я больше могу?

Завещаю в той жизни Вам счастливыми быть И родимой отчизне С честью дальше служить.

Горевать — горделиво, Не клонясь головой, Ликовать — не хвастливо В час победы самой

И беречь ее свято, Братья, счастье свое — В память воина-брата, Что погиб за нее.

1945-1946

Иван Бауков

ГОВОРИ МНЕ О РОССИИ

Говори о звездной ночи, О березах, об осинах,— Говори, о чем захочешь, Лишь бы только о России.

Лишь бы только за беседой Отдохнул я от чужбины. Говори мне о соседях, Говори мне о рябине.

Говори о черных пашнях, Об озерах полноводных,

Говори о людях наших, О стране моей свободной.

Говори мне об угодьях, О лесных тропинках узких, О весеннем половодье, О раздолье нашем русском.

Говори о звездной ночи, О рязанском небе синем,— Говори о чем захочешь, Лишь бы только о России.

1945

Семен Гудзенко

Я был пехотой в поле чистом, в грязи окопной и в огне. Я стал армейским журналистом в последний год на той войне.

Но если снова воевать... Таков уже закон: пускай меня пошлют опять в стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин хотя бы треть пути, потом могу я с тех вершин в поэзию сойти.

Юлия Друнина

Я только раз видала рукопашный. Раз — наяву. И тысячу — во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне.

Евгений Долматовский

ПЕСНЯ О ДНЕПРЕ

У прибрежных лоз, у высоких круч И любили мы и росли. Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, Над тобой летят журавли.

Ты увидел бой, Днепр отец-река, Мы в атаку шли под горой. Кто погиб за Днепр, будет жить века, Коль сражался он, как герой.

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли. Смертный бой гремел, как гроза. Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали, И волна твоя как слеза.

Из твоих стремнин ворог воду пьет, Захлебнется он той водой. Славный день настал, мы идем вперед И увидимся вновь с тобой.

Кровь фашистских псов пусть рекой течет, Враг советский край не возьмет Как весенний Днепр, всех врагов сметет Наша армия, наш народ.

1941

Михаил Дудин

СОЛОВЬИ

О мертвецах поговорим потом. Смерть на войне обычна и сурова. И все-таки мы воздух ловим ртом При гибели товарищей. Ни слова

Не говорим. Не поднимая глаз, В сырой земле выкапываем яму. Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас

Остался только пепел, да упрямо Обветренные скулы сведены.

Трехсот пятидесятый день войны.

Еще рассвет по листьям не дрожал, И для острастки били пулеметы... Вот это место. Здесь он умирал — Товарищ мой из пулеметной роты.

Тут бесполезно было звать врачей, Не дотянул бы он и до рассвета. Он не нуждался в помощи ничьей. Он умирал. И, понимая это,

Смотрел на нас, и молча ждал конца, И как-то улыбался неумело. Загар сначала отошел с лица, Потом оно, темнея, каменело.

Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней. Запри все чувства сразу на защелку. Вот тут и появился соловей, Несмело и томительно защелкал.

Потом сильней, входя в горячий пыл, Как будто сразу вырвавшись из плена, Как будто сразу обо всем забыл, Высвистывая тонкие колена.

Мир раскрывался. Набухал росой. Как будто бы, еще едва означась, Здесь, рядом с нами, возникал другой В каком-то новом сочетанье качеств.

Как время, по траншеям тек песок. К воде тянулись корни у обрыва, И ландыш, приподнявшись на носок, Заглядывал в воронку от разрыва.

Еще минута. Задымит сирень Клубами фиолетового дыма. Она пришла обескуражить день. Она везде. Она непроходима.

Еще мгновенье. Перекосит рот От сердца раздирающего крика,— Но успокойся, посмотри: цветет, Цветет на минном поле земляника.

Лесная яблонь осыпает цвет, Пропитан воздух ландышем и мятой... А соловей свистит. Ему в ответ Еще — второй, еще — четвертый, пятый.

Звенят стрижи. Малиновки поют. И где-то возле, где-то рядом, рядом Раскидан настороженный уют Тяжелым громыхающим снарядом.

А мир гремит на сотни верст окрест, Как будто смерти не бывало места, Шумит неумолкающий оркестр, И нет преград для этого оркестра.

Весь этот лес листом и корнем каждым, Ни капли не сочувствуя беде, С невероятной, яростною жаждой Тянулся к солнцу, к жизни и к воде. Да, это жизнь. Ее живые звенья, Ее крутой, бурлящий водоем. Мы, кажется, забыли на мгновенье О друге умирающем своем.

Горячий луч последнего рассвета Едва коснулся острого лица. Он умирал. И, понимая это, Смотрел на нас и молча ждал конца.

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле Когда он, руки разбросав свои, Сказал: «Ребята, напишите Поле: У нас сегодня пели соловьи».

И сразу канул в омут тишины Трехсот пятидесятый день войны.

Он радость жизни до конца не допил, Не доучился, книг не дочитал. Я был с ним рядом. Я в одном окопе, Как он о Поле, о тебе мечтал.

И может быть, в песке, в размытой глине, Захлебываясь в собственной крови, Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине: У нас сегодня пели соловьи».

И полетит письмо из этих мест Туда, в Москву, на Зубовский проезд.

Пусть даже так. Потом просохнут слезы, И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем У той поджигородовской березы Ты всмотришься в зеленый водоем.

Пусть даже так. Потом родятся дети Для подвигов, для песен, для любви. Пусть их разбудят рано на рассвете Томительные наши соловьи.

Пусть им навстречу солнце зноем брызнет И облака потянутся гуртом. Я славлю бой во имя нашей жизни. О мертвецах поговорим потом.

Михаил Исаковский

ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ...

Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе На перекресток двух дорог, Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья Застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье, Накрой в избе широкий стол,— Свой день, свой праздник возвращенья К тебе я праздновать пришел...»

Никто солдату не ответил, Никто его не повстречал, И только теплый летний ветер Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил, Раскрыл мешок походный свой, Бутылку горькую поставил На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья, Что я пришел к тебе такой: Хотел я выпить за здоровье, А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки, Но не сойтись вовеки нам...» И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа, И с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе четыре года, Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт.

Василий Лебедев-Кумач

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная Вскипает, как волна,— Идет война народная, Священная война!

Дадим отпор душителям Всех пламенных идей, Насильникам, грабителям, Мучителям людей!

Не смеют крылья черные Над Родиной летать, Поля ее просторные Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в лоб, Отребью человечества Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная, Встает на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная Вскипает, как волна,— Идет война народная, Священная война!

1941

Марк Лисянский

моя москва

Я по свету немало хаживал, Жил в землянках, в окопах, в тайге, Похоронен был дважды заживо, Знал разлуку, любил в тоске. Но Москвою привык я гордиться И везде повторяю слова: Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи И мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь И Кремлевских курантов бой,

В городах и далеких станицах О тебе не умолкнет молва, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень, Скрежет танков и отблеск штыков, И в сердцах будут жить двадцать восемь Самых смелых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, Чтоб склонилась твоя голова, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!

Михаил Луконин

ПРИДУ К ТЕБЕ

Ты думаешь: Принесу с собой Усталое тело свое. Сумею ли быть тогда с тобой Целый день вдвоем? Захочу рассказать о смертном дожде, Как горела трава, А ты --и ты жила в беде, Тебе не нужны слова. Про то, как чудом выжил, начну, Как смерть меня обожгла. ты в ночь роковую одну Волгу переплыла. Спеть попрошу, а ты сама Забыла, как поют. Потом меня сведет с ума Непривычный уют: Будешь к завтраку накрывать, А я усядусь в углу, Начнешь, как прежде, стелить кровать,

Αя

усну

на полу. Потом покоя тебя лишу, Вырою щель у ворот, Ночью,

вздрогнув,

тебя спрошу:

— Стой! Кто идет?! —

Нет,

не думай, что так приду. В этой большой войне Мы научились ломать беду, Работать и жить вдвойне. Не так вернемся мы!

Если так,

То лучше не приходить. Придем — работать,

курить табак,

В комнате начадить. Не за благодарностью я бегу — Благодарить лечу. Все, что хотел, я сказал врагу, Теперь работать хочу. Не за утешением —

утешать

Переступлю порог. То, что я сделал, к тебе спеша, Не одолженье,

а долг.

Друзей увидеть, в гостях побывать, И трудно

и жадно жить. Работать — в кузницу,

спать --- в кровать.

Стихи про любовь сложить. В этом зареве ветровом Выбор был небольшой. Но лучше прийти

с пустым рукавом,

Чем с пустой душой.

Михаил Львов

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться. И, как руда, пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули! Но ты — солдат и все сумей принять: От поцелуя женского до пули, И научись в бою не отступать. Готовность к смерти — тоже ведь оружье, И ты его однажды примени... Мужчины умирают, если нужно, И потому живут в веках они.

1943

Марк Максимов

МАТЬ

Жен вспоминали

на привале,

друзей — в бою.

И только мать не то и вправду забывали, не то стеснялись вспоминать.

Но было, что пред смертью самой видавший не один поход седой рубака крикнет:

— Мама!

...И под копыта упадет.

1942, немецкий тыл

Александр Межиров

УТРОМ

Ах, шоферша,

пути перепутаны!

Где позиции?

Где санбат?

К ней пристроились на попутную Из разведки десять ребят...

Только-только с ночной операции, Боем вымученные все. — Помоги, шоферша, добраться им До дивизии,

до шоссе.

Встали в ряд.

Поперек дорога

Перерезана.

— Тормози! Не смотри, пожалуйста, строго, Будь любезною, подвези!

Утро майское,

ветер свежий. Гнется даль морская дугой, И с Балтийского побережья Нажимает ветер тугой.

Из-за Ладоги солнце движется Придорожные лунки сушить. Глубоко

в это утро дышится, Хорошо

в это утро жить.

Зацветает поле ромашками, Их не косит никто,

не рвет.

Над обочиной

вверх тормашками Облак пороховой плывет.

Эй, шоферша,

верней выруливай! Над развилкой снаряд гудит. На дорогу, не сбитый пулями, Наблюдатель чужой глядит... Затянули песню сначала, Да едва пошла

подпевать — На второй версте укачала Неустойчивая кровать.

Эй, шоферша, правь осторожней! Путь ухабистый впереди. На волнах колеи дорожной Пассажиров

не разбуди!

Спит старшой,

не сняв автомата. Стать расписывать не берусь! Ты смотри, какие ребята! Это, я понимаю, груз!

А до следующего боя Сутки целые жить и жить. А над кузовом голубое Небо к передовой бежит.

В даль кромешную, пороховую, Через степи, луга, леса, На гремящую передовую Брызжут чистые небеса...

Ничего мне не надо лучшего, Кроме этого — чем живу, Кроме солнца

в зените,

колючего,

Густо впутанного в траву.

Кроме этого тряского кузова, Русской дали

в рассветном дыму, Кроме песни разведчика русого Про красавицу в терему.

Сергей Наровчатов

KOCTEP

Прошло с тех пор немало дней, С тех стародавних пор, Когда мы встретились с тобой Вблизи Саксонских гор, Когда над Эльбой полыхал Солдатский наш костер.

Хватало хвороста в ту ночь, Сухой травы и дров. Дрова мы вместе разожгли — Солдаты двух полков: Полков разноименных стран И разных языков.

Неплохо было нам с тобой Встречать тогда рассвет И рассуждать под треск ветвей, Что мы на сотни лет, На сотни лет весь белый свет Избавили от бед.

И наш костер светил в ночи Светлей ночных светил, Со всех пяти материков Он людям виден был. Его и дождь тогда не брал, И ветер не гасил.

И тьма ночная, отступив, Не смела спорить с ним, И верил я, и верил ты, Что он неугасим. И это было, Джонни Смит, Понятно нам двоим.

Но вот через столбцы газет Косая тень скользит, И снова застит белый свет, И свету тьмой грозит.

Я рассекаю эту тьму:
— Где ты, Джонни Смит?!

В уэльсской шахте ли гремит Гром твоей кирки Иль слышит сонный Бирмингам Глухие каблуки, Когда ты ночью без жилья Бродишь вдоль реки?

Но уж в одном ручаюсь я, Ручаюсь головой, Что ни в одной из двух палат Не слышен голос твой И что в Париж тебя министр Не пригласил с собой.

Но я спрошу тебя в упор: Как можешь ты молчать, Как можешь верить в тишь,

да гладь,

Да божью благодать, Когда грозятся наш костер Смести и растоптать?

Костер, что никогда не гас В сердцах простых людей, Не погасить, не разметать Штыками патрулей С полос подкупленных газет, С парламентских скамей.

Мы скажем это, чтоб умолк Вой продажных свор, Чтоб ярче, чем в далекий день Вблизи Саксонских гор, Над целым миром полыхал Бессмертный наш костер!

Алексей Недогонов

БАШМАКИ

Открыта дорога степная, к Дунаю подходят полки, и слышно — гремит корпусная, и слышно — гремят башмаки.

Солдат Украинского фронта до нервов подошвы протер — в походе ему для ремонта минуту отводит каптер.

И дальше: Добруджа лесная, идет в наступленье солдат, гремит по лесам корпусная, ботинки о камни гремят.

И входят они во вторую державу — вон Шипка видна! За ними вослед мастерскую несет в вещмешке старшина.

Обужа ведь, братец, твоя-то избилась.
Смени, старина...
Не буду, солдаты-ребята, в России ковалась она...

И только в Белграде ботинки снимает пехоты ходок: короткое время починки — по клену стучит молоток.

(Кленовые гвозди полезней, испытаны морем дождей; кленовые гвозди железней граненых германских гвоздей!)

Вновь ладит ефрейтор обмотки, трофейную «козью» сосет, читает московские сводки

и — вдоль Балатона вперед!

На Вену пути пробивая, по Марсу проходят стрелки: идет

на таран

полковая,

мелькают

в траве

башмаки!

...С распахнутым воротом — жарко! — пыльца в седине на висках — аллеей Шенбруннского парка ефрейтор идет в башмаках.

Встает изваянием Штраус — волшебные звуки летят, железное мужество пауз — пилотку снимает солдат.

Ах, звуки! Ни тени, ни веса! Он бредит в лучах голосов и «Сказкою Венского леса», и ласкою Брянских лесов,

и чем-то таким васильковым, которому тысячи лет, которому в веке суровом ни смерти, ни имени нет,

в котором стоят, как живые, свидетели наших веков, полотна военной России и пара его башмаков!

Сергей Орлов

* * *

Его зарыли в шар земной, А был он лишь солдат, Всего, друзья, солдат простой, Без званий и наград. Ему как мавзолей земля — На миллион веков, И Млечные Пути пылят Вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят,

Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Июнь, 1944 г.

Лев Ошанин

ДОРОГИ

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами --

степями,

полями,---

А кругом бушует пламя Да пули свистят.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит —
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит...

А дорога дальше мчится,

пылится,

клубится.

А кругом земля дымится — Чужая земля!

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый.
Солнце встает.
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.

И бескрайними путями —

полями —

степями,

Все глядят вослед за нами Родные глаза.

Эх, дороги... Пыль да туман, Холода, тревоги Да степной бурьян. Снег ли, ветер Вспомним, друзья.

...Нам дороги эти Позабыть нельзя.

Михаил Светлов

ИТАЛЬЯНЕЦ

Черный крест на груди итальянца, — Ни резьбы, ни узора, ни глянца, Небогатым семейством хранимый И единственным сыном носимый...

Молодой уроженец Неаполя! Что оставил в России ты на поле? Почему ты не мог быть счастливым Над родным знаменитым заливом?

Я, убивший тебя под Моздоком, Так мечтал о вулкане далеком! Как я грезил на волжском приволье Хоть разок прокатиться в гондоле!

Но ведь я не пришел с пистолетом Отнимать итальянское лето, Но ведь пули мои не свистели Над священной землей Рафаэля!

Здесь я выстрелил! Здесь, где родился, Где собой и друзьями гордился, Где былины о наших народах Никогда не звучат в переводах.

Разве среднего Дона излучина Иностранным ученым изучена? Нашу землю — Россию, Расею — Разве ты распахал и засеял?

Нет! Тебя привезли в эшелоне Для захвата далеких колоний, Чтобы крест из ларца из фамильного Вырастал до размеров могильного...

Я не дам свою родину вывезти За простор чужеземных морей! Я стреляю — и нет справедливости Справедливее пули моей!

Никогда ты здесь не жил и не был!.. Но разбросано в снежных полях Итальянское синее небо, Застекленное в мертвых глазах...

Константин Симонов

B. C.

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души... Жди. И с ними заодно Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: — Повезло.— Не понять не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой,— Просто ты умела ждать, Как никто другой.

1941

Василий Субботин

БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

Не гремит колесница войны. Что же вы не ушли от погони, На верху бранденбургской стены Боевые немецкие кони?

Вот и арка. Проходим под ней, Суд свершив справедливый и строгий. У надменных державных коней Перебиты железные ноги.

1945-1946

Алексей Сурков

Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко. Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко. А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло, Заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви.

1941

Николай Тихонов

мыза хумала

Я должен был взорваться в этом доме, Я шел к нему все утро, день, всю ночь, Я так мечтал о крыше, о соломе, Чтоб лечь, уснуть и чтоб все мысли прочь.

А он стоял на пустыре горелом И ждал меня, тот домик небольшой, Я опоздал — и лунным утром белым Взорвались те, кто ранее пришел.

Зачем они меня опередили? Я так же мерз, я так же жил в огне, Одни пути мы вместе проходили, А этот дом не уступили мне.

Вероника Тушнова

САЛЮТ

Мы час назад не думали о смерти, мы только что узнали: он убит. В измятом, наспех порванном конверте на стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе. Хлестало в стекла дождиком косым... По-взрослому нахмурив круглый лобик, притих ее четырехлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто ракетами врезаясь в тишину, волна артиллерийского салюта тяжелую качнула тишину.

Мне показалось, будет очень трудно сквозь эту боль и слезы видеть ей цветенье желтых, красных, изумрудных над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой закрыть огни и море светлых крыш, мне женщина промолвила с укором: «Зачем? Пускай любуется малыш».

И, помолчав, добавила устало, почти уйдя в густеющую тьму: «...Мне это все еще дороже стало — ведь это будто памятник ему».

1944

Алексей Фатьянов

СОЛОВЬИ

Пришла и к нам на фронт весна, Солдатам стало не до сна — Не потому, что пушки бьют, А потому, что вновь поют, Забыв, что здесь идут бои, Поют шальные соловьи.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, Пусть солдаты немного поспят...

Но что война для соловья — У соловья ведь жизнь своя. Не спит солдат, припомнив дом И сад зеленый над прудом, Где соловьи всю ночь поют, А в доме том солдата ждут.

Ведь завтра снова будет бой, Уж так назначено судьбой, Чтоб нам уйти, не долюбив, От наших жен, от наших нив. Но с каждым шагом в том бою Нам ближе дом в родном краю.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, Пусть солдаты немного поспят, Немного пусть поспят...

Иосиф Уткин

CECTPA

Когда, упав на поле боя — И не в стихах, а наяву,— Я вдруг увидел над собою Живого взгляда синеву,

Когда склонилась надо мною Страданья моего сестра,— Боль сразу стала не такою: Не так сильна, не так остра.

Меня как будто оросили Живой и мертвою водой, Как будто надо мной Россия Склонилась русой головой!...

1943

Илья Френкель

ДАВАЙ ЗАКУРИМ!

Теплый ветер дует. Развезло дороги, И на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге,—Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту, И родную роту, И тебя — за то, Что дал мне закурить... Давай закурим По одной! Давай закурим, Товарищ мой!..

Снова нас Одесса встретит как хозяев, Звезды Черноморья будут нам сиять.

Славную Каховку, город Николаев,— Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

А когда врагов не будет и в помине И к своим любимым мы придем опять, Вспомним, как на запад шли по Украине,— Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту, И родную роту, И тебя — за то, Что дал мне закурить... Давай закурим По одной! Давай закурим, Товарищ мой!..

Павел Шубин

ПОЛМИГА

Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить —
Мне б только
До той вон канавы
Полмига,
Полшага прожить,
Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня;

Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву...

Прожить бы мне эти полмига, А там я всю жизнь проживу!

1943

Степан Щипачев

ПАВШИМ

Весь под ногами шар земной. Живу. Дышу. Пою. Но в памяти всегда со мной погибшие в бою.

Пусть всех имен не назову, нет кровнее родни. Не потому ли я живу, что умерли они?

Была б кощунственной моя тоскливая строка о том, что вот старею я, что, может, смерть близка.

Я мог давно не жить уже: в бою, под свист и вой, мог пасть в соленом Сиваше иль где-то под Уфой.

Но там упал ровесник мой. Когда б не он, как знать, вернулся ли бы я домой обнять старуху мать.

Кулацкий выстрел, ослепив, жизнь погасил бы враз, но был не я убит в степи, где обелиск сейчас.

На подвиг вновь звала страна. Солдатский путь далек. Изрыли бомбы дочерна обочины дорог.

Я сам воочью смерть видал. Шел от воронок дым. Горячим запахом металл запомнился живым.

Но все ж у многих на войне был тяжелее путь. И Черняховскому — не мне — пробил осколок грудь.

Не я — в крови, полуживой, растерзан и раздет,— молчал на пытках Кошевой в свои шестнадцать лет.

Пусть всех имен не назову, нет кровнее родни. Не потому ли я живу, что умерли они?

Чем им обязан — знаю я. И пусть не только стих, достойна будет жизнь моя солдатской смерти их.

НИКОЛАЙ МОСКВИН,

бывший командир партизанского батальона,—

О ПЕСНЕ В. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»

...В мае 1943 года командир партизанского полка имени «Тринадцати» Герой Советского Союза С. В. Гришин приказал нашему батальону разгромить станцию Чаусы. Здесь стояло крепкое подразделение 286-й охранной немецкой дивизии. А расположенный в двух километрах фашистский гарнизон насчитывал 450 человек. В нашем же батальоне было около двухсот партизан.

Группы вышли на исходные рубежи. В час ночи разведчик Сергей Скворцов по моей команде посылает вверх две условные ракеты. И сразу, захлебываясь, застрочили пулеметы. Партизаны бросились на штурм.

С передовой группой я ворвался в вокзал. В одном из помещений под столом светилась карманная батарейка, тут же в углу на тумбочке шипел семиламповый радиоприемник «телефункен».

— Настраивай на Москву,— шутя бросил я Сергею Скворцову, вскочившему в комнату через окно, а сам выбежал на перрон.

Победа еще далеко не была достигнута. Гитлеровцы после первой растерянности оправились и повели сумасшедшую контратаку, стремясь отбить помещение станции. Из траншеи, выкопанной вокруг западной водонапорной башни, летели и рвались под окнами вокзала немецкие гранаты. Истошно крича, немцы выскочили из укрытий и пошли на приступ.

И вдруг, среди ночи, освещенной пожаром, в суматоху боя ворвались мощные, потрясающие душу слова:

Пусть ярость благородная Вскипает, как волна,— Идет война народная, Священная война!

Трудно даже вообразить, как это было неожиданно и кстати. Мощный радиоприемник разносил вдохновенные слова и звуки. Все партизаны, окружившие станцию, слышали страстный, зовущий к победе голос Москвы.

Песня прорывалась в промежутках между разрывами гранат и пулеметными очередями, ее не в силах были заглушить крики врагов. Это было одновременно и гимном торжествующего духа советских людей и погребальной панихидой фашистским захватчикам:

Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в лоб, Отребью человечества Сколотим крепкий гроб.

Рискуя порвать голосовые связки, подаю команду — в атаку — на круговую траншею вокруг башни. Сотни гранат летят в окопы, могучее, последнее в этом бою «ура» поднялось к утреннему небу. В траншее закипает непродолжительная, но жестокая рукопашная схватка. Гитлеровцы поголовно уничтожены. Станция разгромлена.

Бой кончился, началась охота на укрывшихся по темным углам немцев. Партизаны грузили на повозки богатые трофеи, другие поджигали вагоны, автомашины, уничтожали средства связи.

Уже не работал радиоприемник, снятый Федей Левченко и уложенный на повозку, но люди находились под впечатлением московской радиопередачи, сопутствующей этому ожесточенному бою. Могли ли предполагать работники Московского радиокомитета, что они вместе с нами участвовали в этом бою? А ведь так и было: вместе с нами колотили фашистов поэт Лебедев-Кумач и композитор Александров.

о стихотворении «жди меня»

Наша «Красная звезда» помещалась тогда в том же самом здании, что и «Правда» и «Комсомолка». После возвращения из Феодосии, перепечатав начисто для сдачи в набор привезенную с собой вторую феодосийскую корреспонденцию, я по дороге из машинного бюро встретился с редактором «Правды» Петром Николаевичем Поспеловым. И он повел меня к себе в кабинет попить чаю. Я думал, что он хочет расспросить меня о поездке в Феодосию; у него вообще была привычка затаскивать к себе и за стаканом чая расспрашивать: где кто был и что видел. Но на этот раз, против моего ожидания, разговор зашел не о поездке, а о стихах. Посетовав, что за последнее время в «Правде» что-то мало стихов, Поспелов спросил — нет ли у меня чего-нибудь подходящего. Я сначала ответил, что нет.

- А мне товарищи говорили, что вы недавно тут что-то читали.
- Вообще-то есть,— сказал я.— Но эти стихи не для газеты. И уж во всяком случае не для «Правды».
- А почему не для «Правды»? сказал Поспелов.— Может быть, как раз для «Правды».

И я, немножко поколебавшись, прочел ему не пошедшие в «Красной звезде» «Жди меня». Когда я дочитал до конца, Поспелов вскочил с кресла, глубоко засунул руки в карманы своего синего ватничка и забегал взад и вперед по своему холодному кабинету.

— А что? По-моему, хорошие стихи,— сказал он.— Давайте напечатаем в «Правде». Почему бы нет? Только вот у вас там есть строчка «желтые дожди»... Ну-ка, повторите мне эту строчку.

Я повторил:

Жди, когда наводят грусть Желтые дожди...

— Почему «желтые»? — спросил Поспелов.

Мне было трудно логически объяснить ему — почему «желтые».

— Не знаю, почему «желтые». Наверное, хотел выразить этим словом свою тоску.

Поспелов еще немножко походил взад и вперед по кабинету и позвонил Ярославскому:

— Емельян Михайлович, зайдите, пожалуйста, ко мне...

Через несколько минут в редакторский кабинет вошел седоусый Емельян Михайлович Ярославский в зябко накинутой на плечи шубе.

— Прочитайте, пожалуйста, стихи Емельяну Михайловичу,— сказал Поспелов.

Я еще раз прочел свое «Жди меня», теперь уже им обоим.

Ярославский выслушал стихи и сказал:

- По-моему, хорошо.
- А вот как вам кажется, Емельян Михайлович, эти «желтые дожди»... Почему они желтые? спросил Поспелов.
- А очень просто,— сказал Ярославский.— Разве вы не замечали, что дожди бывают разного цвета? Бывают и желтые, когда почвы желтые...

Он был сам живописцем-любителем и, наверное, поэтому нашел для моих «желтых дождей» еще одно объяснение, более логическое и более убедившее Поспелова, чем мои собственные объяснения.

Потом они оба попросили меня в третий раз прочесть эти стихи. Я прочел и оставил их Поспелову, сказавшему: «Будем печатать». А через несколько дней, вернувшись из-под не взятого еще, вопреки ожиданиям, Можайска, увидел свое «Жди меня» напечатанным на третьей полосе «Правды».

1941 год. Июльская жара. Пыль. Дым пожаров. Немцы наступали. Их самолеты обшаривали небо. Нашей редакции, где вместе со мной работали писатели Александр Исбах, Борис Бялик, Иван Чичеров, Марк Гроссман, то и дело приходилось менять место. То, о чем я хочу рассказать, случилось между городами Валдаем и Крестцами. Я не помню уже, кто был в этот момент со мной в одном вагоне. Знаю только, что в переднем тамбуре, спустив на ступеньки ноги, сидел железнодорожник,— кажется, помощник машиниста, а за его спиной стоял Ваня Фролов, наш фотограф. Я как раз вышел в задний тамбур. Не знаю, думал ли я о чем или просто любовался проплывающими полями, но вдруг... Где-то в глубине мозга — это была, вероятно, доля секунды — послышался писк, слабый, не громче комариного,— и все оборвалось. Я упал в небытие...

Когда я очнулся, было темно от дыма и земли. На зубах хрустело. Левая штанина галифе была разорвана от колена до паха. Не понимая ничего, я выскочил в тамбур. Первым попался мне на глаза Марк Гроссман. Он был бледен. По щеке текла кровь. Все из вагонов уже повыскакивали и попрятались в ближнем кустарнике. На меня закричали: ложись! Над березняком, куда попрятались наши, совсем низко летел фашистский самолет. Это, видимо, был тот же бомбардировщик, который расправился с нашим поездом. Летчик сделал новый заход — не иначе как для того, чтобы убедиться, точно ли бомбы легли на цель.

Придя в себя, в тамбуре я обнаружил большой осколок. Он пробил стенку вагона, двойную дверь тамбура и упал, очевидно, рядом со мной. Я взял его в руки. Это был рваный кусок железа, еще не успевший остыть. Железнодорожнику, что сидел на ступеньках, оторвало ноги выше колен, и он был мертв. Мертв был и Ваня Фролов. Ему размозжило голову. Брызги его крови засохли на потолке тамбура, и еще долго потом никто не решался их стереть.

По обе стороны нашего вагона, почти у самой насыпи, дымились две огромные воронки. Нетрудно было представить себе, с какой силой хлестнуло взрывными волнами по составу, споткнувшемуся на всем ходу, как грохнулся я в тамбуре... Но ничего этого я не слышал. Слабый, сразу же оборвавшийся писк — это единственное, что дошло тогда до моего сознания. Я подумал потом: может быть, Ване Фролову и железнодорожнику в ту секунду тоже послышался такой же писк? Только в их мозгу он оборвался навечно.

Через несколько лет после того я написал стихотворение «Павшим». В нем есть строчки:

Я сам воочью смерть видал. Шел от воронок дым. Горячим запахом металл запомнился живым.

Как знать, если бы я не держал в руках тот еще не остывший кусок рваного железа, пришли ли бы ко мне эти строчки:

Горячим запахом металл запомнился живым.

Но дело тут не только в отдельных строчках, деталях, а в том, что этот случай дал толчок основной мысли этого стихотворения: чем я и все мы живущие сегодня обязаны павшим.

АЛЕКСАНДР РОДИМЦЕВ,

генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза,-

О ФРОНТОВЫХ СТИХАХ И ПЕСНЯХ Е. ДОЛМАТОВСКОГО

Часто говорят и пишут о связи писателей с жизнью народа. Мне не раз приходилось быть свидетелем этого, характерного именно для советской страны явления, когда армия наша считает писателей СВОИМИ.

Ныне, открывая газеты и журналы, я всегда первым делом смотрю— что нового написали литераторы, с которыми я встречался на войне,— Симонов, Полевой, Бажан. Непременно ищу стихи Евгения Долматовского. Он для меня как бы однополчанин.

Наша первая встреча произошла в далеком 1939 году в Западной Белоруссии. Я тогда только окончил Академию имени Фрунзе и был назначен помощником командира кавалерийской дивизии. С нашей дивизией участвовал в освободительном походе поэт с одной шпалой на петлицах, молодой Евгений Долматовский. Помню, мы ночевали где-то под Слонимом в старинном польском замке. А утром поэт прочитал мне стихотворение «Полночь»:

Спят казаки на полу, Радио поет в углу. Джаз бубнит, и телеграф Медленно гудит, А с портрета старый граф На меня глядит. На стенах висят клыки. По углам блестят штыки. Радио поет в ночи, Радио поет. На Москву переключи, Полночь настает...

Я спросил — давно ли написано это? Ведь обстановка — та, что вокруг нас. Оказалось, что стихотворение написано только что, ночью...

Второй раз мы встретились в самые тяжелые и трудные времена Великой Отечественной—в городе Тим, в тот момент, когда из десантников формировалась 87-я стрелковая дивизия, командиром которой был я назначен.

Морозным утром декабря 1941 года комиссар дивизии Федор Чернышев сообщил мне весело: «Товарищ полковник, у нас теперь будет свой поэт. Прибыл Евгений Долматовский». Я сказал начальнику штаба: «Поставь его на все виды довольствия». Начальник штаба ответил: «В дивизии нет лишнего оружия». «У него все при себе — и каска, и противогаз, и автомат», — успокоил комиссар.

Долматовский привез с собой в дивизию две песни — «Моя любимая» и «Ой, Днепро, Днепро». Но оказалось, что солдаты их уже поют. О песне о Днепре особо хочется сказать: ведь бойцы нашей дивизии, еще как авиадесантники, в августе 1941 года впервые отбросили врага от Киева. Поэтому и моему сердцу, и сердцу каждого бойца дивизии особенно близки были слова:

Из твоих стремнин ворог воду пьет, Захлебнется он той водой. Славный день придет, мы пойдем вперед И увидимся вновь с тобой.

Сейчас эти строчки, я видел, печатаются с изменениями — «Мы идем вперед», «Мы увиделись вновь с тобой»... Вот какие прекрасные поправки внесли наши воины!

Песня «Моя любимая» тоже была как бы в одном из стрелковых взводов написана. В 42-м полку ее особенно проникновенно пели.

Мы вместе встречали наступающий 1942 год. У соседей — танкистов — были трофеи, и они подарили поэту бутылку французского шампанского. Он принес ее мне, и мы решили, что пойдем в полночь на передний край, в боевое охранение, и, поскольку этот напиток не крепкий, стрелки не захмелеют, а мы с ними все же выпьем. По заснеженным траншеям мы добрались до ячейки боевого охранения и с тремя пожилыми воинами выпили за будущую победу и за то, чтобы в боях завоевать гвардейское звание.

Поэт уехал в редакцию фронтовой газеты и вскоре вернулся с радостной новостью: наша 87-я дивизия получила наименование 13-й Гвардейской. Я сказал: «Вот, гвардии поэт, напишите теперь марш Тринадиатой!»

Марш был написан, но в интересах военной тайны был напечатан без номера гвардейской дивизии, как «Песня бойцов Родимцева». Поэт знал — гвардейцы гордятся тем, что были авиадесантниками, это отразилось в словах марша:

Если будет приказ, Все готово у нас С неба смерть принести оккупантам. Мы тряхнем стариной И порою ночной Обернемся воздушным десантом.

Мотив марша был заимствован — это «Если завтра война». Что ж поделаешь, поэт у нас был, а композиторов в тот момент не было, пришлось использовать старый мотив.

Потом уж нам пришлось встретиться в Сталинграде, где мы основательно дружили. Поэт наш был непоседа, ему хотелось всюду быть, вот и получил он ранение под Дубовкой. Его отправили в Саратов, но стихи со страниц газеты «Красная Армия» шли и шли к бойцам. Между прочим, они были даже отдельной книжкой изданы в городе, это, наверное, единственная книжка, вышедшая в те времена в Сталинграде.

Находясь на Донском фронте, поэт «собственным корреспондентом», перебираясь через Волгу, ездил в город, в нашу дивизию.

Был и композитор в Сталинграде. Вместе с Марком Фрадкиным наш поэт написал песню о бойцах дивизии. В ней отразились и бои в цехах заводов, и бой у вокзала, когда так и было, как в песне:

В последнего немца последней пулей Стреляет последний боец.

26 января 1943 года мы, волею судеб, оказались на острие событий. Мне утром доложили, что с запада слышится рокот танков, стрельба. За Мамаевым Курганом вроде бы русские голоса. Мы поняли, что это идут долгожданные бойцы Донского фронта. Небольшой группой—человек семь (мы и санитарку на всякий случай прихватили) — мы спешно пошли в 34-й полк.

Когда мы шли по Банному оврагу, нас крепко обстреляли немецкие автоматчики. Пришлось нам побарахтаться в снегу, поползать по оврагу. Долматовский кричал мне весело: «Старик, ты живой?»

Прижимаясь к земле, я отвечал примерно так, что мы люди привычные, музами не изнеженные, народ военный... «А как ты?»

Когда мы выбрались из зоны обстрела, поэт отрапортовал: «Нормально чувствую себя, по-гвардейски».

26 января 1943 года в 9 час. 20 мин. утра состоялась встреча воинов Сталинградского и Донского фронтов. Практически враг в городе был разрезан, разделен на два котла: северный и южный. Обнялись комбаты,

обнимались бойцы двух фронтов. Назавтра в газете были стихи Долматовского:

Стоят обнявшись комбаты, герои лихих атак, В объятиях их железных раздавлен проклятый враг.

После сталинградской победы награждали отличившихся гвардейцев, и в их числе боевой орден получил наш поэт.

Конечно, старший батальонный комиссар Долматовский был поэтом не только нашего соединения, но мы считаем его и поныне гвардии поэтом 13-й Гвардейской дивизии.

БОРИС БЯЛИК —

О СТИХОТВОРЕНИИ М. СВЕТЛОВА «ИТАЛЬЯНЕЦ»

Стихотворение «Итальянец» — одно из лучших произведений поры Великой Отечественной войны (а за эту труднейшую пору было создано немало произведений, которые могли бы украсить любой период любой литературы мира) — появилось 18 февраля 1943 года в газете 1-й Ударной армии «На разгром врага». Я помню, как читал Светлов «Итальянца» сотрудникам армейской редакции в маленькой деревне Шутовке, недалеко от реки Ловати, и как неожиданно и немного странно звучали в этом туманном болотном крае слова об «итальянском синем небе», о «гондоле», о «священной земле Рафаэля».

Впрочем, почему бы поэту, воспевающему подвиги «болотных солдат» Северо-Западного фронта, не написать стихотворение от имени бойца, убившего где-то под Моздоком «молодого уроженца Неаполя», привезенного в Россию «для захвата заморских колоний»? Гораздо более поражало другое — тон этого произведения, пронизывающее его настроение: в стихотворении, написанном в самый разгар войны, звучало нечто вроде жалости к одному из поверженных врагов. Нет, боец, от имени которого говорил поэт, не сожалел о своем поступке: «Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей». Он сожалел о другом — о том, что единственному отпрыску «небогатого семейства» пришлось погибнуть позорной смертью захватчика, погибнуть на войне, чуждой интересам его народа, его страны, так много давшей мировой культуре.

То, что народы воюющих против нас стран, как бы ни была велика их вина, нельзя смешивать с правящей ими фашистской кликой,— это мы понимали и раньше, об этом говорилось в одном из первых приказов Верховного Главнокомандующего. Но чтобы не только понять это, а и почувствовать, мы должны были увидеть коренной перелом войны, увидеть врага, отступающего под такими ударами, от которых он уже не мог оправиться, и впервые задуматься не о судьбе войны, которая была, в сущности, решена, а о судьбе мира.

Вот почему, слушая грустное стихотворение Михаила Светлова, мы вдруг с радостью ощутили дуновение приближающейся победы — Победы спасительной для всех народов, для человечества.

О ПЕСНЕ «ДОРОГИ»

Кем я был на войне? Полузрячим посланцем из тыла, Забракованным напрочно всеми врачами земли...

Когда же и как родилась песня «Дороги»?

Невоеннообязанный, в шинели без знаков различия, я все же провел на Западном, Карельском, Третьем Белорусском фронтах многие месяцы военных лет.

«Дороги» родились, когда под Жиздрой мы лежали в поле, настигнутые бомбежкой, и русоволосый лейтенант, упавший рядом, уже не встал. «Дороги» родились, когда в землянке на высоте Шляпа над Западной Лицей мы показывали с Марком Фрадкиным песню «В белых просторах» и ее оборвала разорвавшаяся под окном мина. «Дороги» родились, когда за десять дней была выбита половина личного состава противотанковой бригады, а она каждую ночь меняла позицию, чтобы встретить танковую лавину врага, и не сделала ни одного выстрела, потому что враг каждый раз перебрасывал танки на другой фланг.

«Дороги» родились на бесконечных военных дорогах, пройденных пешком, покрытых на газиках и эмках и в кавалерийском седле. В письмах, которые я получал с фронта, в застольных беседах с друзьями о пережитом.

«Дороги» родились, когда кончилась война и оказалось внутренне необходимым написать тихую песню-раздумье. Сначала она называлась «Под стук колес» и была посвящена тому, как едут солдаты на фронт, когда знать не можешь доли своей. Но вот эту песню исполнил ансамбль, и в наступившей тишине, а потом взрыве зала я вдруг понял, что она о другом. «Останови песню, она не готова»,— сказал я сидящему рядом замечательному композитору и моему старшему товарищу А. Новикову. И он поверил. Через месяц песня стала такой, какой она живет сегодня.

Нам было очень дорого, что в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» маршал Жуков назвал «Дороги» в числе трех лучших песен войны. Нам дорого, что ее помнят ветераны и что сегодняшние молодые ребята поют ее под свои гитары.

МАРК ЛИСЯНСКИЙ —

O ПЕСНЕ «МОЯ МОСКВА»

Я окончил Московский институт журналистики и в день отъезда на работу в харьковскую комсомольскую газету пришел попрощаться с Эдуардом Георгиевичем Багрицким. Незадолго до этого он забраковал в издательстве «Советская литература» мой первый сборник стихов, составленный по его предложению. Прощаясь, Багрицкий сказал: «Походите по земле, а вернетесь в Москву — я буду редактором вашей первой книги».

Спустя полгода, на Миргородщине, в вагоне выездной редакции газеты «Комсомолец Украины» я прочел в «Правде» о смерти Багрицкого... А завет Эдуарда Георгиевича «Походите по земле» я всегда помню. И может быть, не случайно одно из стихотворений, сыгравшее особую роль в моей жизни, начинается: «Я по свету немало хаживал...»

Стихотворение «Моя Москва» написано в конце сорок первого года, по дороге из Ярославля на фронт.

Это было горькое и трудное время. Фашисты стояли под Москвой. Где бы мы ни жили, мы всегда с гордостью и волнением говорим: наша Москва, моя Москва! В те суровые дни это чувство особенно обострилось.

Ехал я, младший лейтенант, из Ярославля, где жил до войны, через Москву в свою 243-ю стрелковую дивизию. В моем походном блокноте, еще на ярославской земле, до того, как я взобрался на машину, появились первые четыре строчки:

Я по свету немало хаживал, Жил в землянках, в окопах, в тайге, Похоронен был дважды заживо, Знал разлуку, любил в тоске.

Когда машина шла по московским улицам, я уже твердил все стихотворение, но записать его не было никакой возможности.

Мы остановились на полчаса неподалеку от Пушкинской площади. Я тут же записал все стихотворение и помчался с блокнотным листком в редакцию журнала «Новый мир», благо редакция находилась рядом.

В декабре вышел десятый-одиннадцатый сдвоенный номер «Нового мира», в котором была опубликована «Моя Москва». Я еще не видел журнала, не видел своего напечатанного стихотворения, когда услышал его по радио как песню.

Позже, уже после войны, я познакомился с Исааком Осиповичем Дунаевским. Он рассказал мне, как прочитал в журнале стихотворение и тут же возле строк «Дорогая моя столица, золотая моя Москва», на журнальной странице, записал мелодию.

Никогда не думал, что такие строки, как «Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске», будут петь. Раньше мне казалось, что песню нельзя сочинить, она должна как-то сама родиться, как легенда, как сказка, как нечто услышанное в народе.

Песня меня догнала на фронтовой дороге, и в мае 1945 года я слыхал, как наши бойцы пели в Берлине «Золотую мою Москву».

Спустя двадцать пять лет я снова встретился с этим стихотворением. На двадцать третьем километре от Москвы, по Ленинградскому шоссе, на одном из рубежей обороны, молодые москвичи воздвигли монумент Славы защитникам столицы. Огромные гранитные противотанковые «ежи» взметнулись над шоссе. На барельефе памятника я прочитал строки из «Моей Москвы»: «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова».

Признаться, когда я написал заглавную строчку стихотворения, я не так уж много хаживал по свету, и всегда меня мучила совесть перед этой строчкой. Но теперь моя совесть чиста: позади и фронтовые дороги, и многочисленные поездки по нашей стране, и путешествия в зарубежные страны... Только недавно я побывал в двух больших путешествиях, о которых давно мечтал: по Иртышу и Оби пересек почти всю Сибирь, а затем была поездка на Дальний Восток — Хабаровск, Владивосток, Находка, Сахалин, Курилы...

В этом году снова собираюсь в Тюменский край, к нефтяникам Самотлора.

О СТИХОТВОРЕНИИ «ГОВОРИ МНЕ О РОССИИ»

Можно ли написать хорошее стихотворение по заданию редакции? До войны мне казалось, что поэт сам должен радовать и газету и читателей. Но война есть война! Любое задание редакции ты должен выполнить беспрекословно!

Однажды вызывает меня к себе редактор и говорит:

- Через час, с попутной машиной, вы выедете на передовую. Задание: написать очерк о батарейцах, подбивших три танка фашистов. Второе: написать поэму на тысячу строк о снайпере, уничтожившем тридцатого фашиста.— Редактор сделал паузу и добавил: Каждый день давать в редакцию 30—40 строк оперативного характера! Срок командировки десять дней. Все!
- Товарищ полковой комиссар, Пушкин создал десять тысяч строк «Евгения Онегина» почти за десять лет, как же я смогу за десять дней?.. Редактор перебил меня:
 - Командировочное удостоверение получите у секретаря.

Что мне оставалось делать? Я уехал на передовую. Написал очерк и лирические стихи о любимой женщине и дочке, с которыми я собираюсь встретиться уже вторую весну, а встречи все нет и нет. Очерк был напечатан, а стихи отвергнуты, потому что они «расслабляли бы солдат», идущих в решающие бои.

Но вот настал тысяча девятьсот сорок пятый год. К этому времени мы не только освободили полностью свою Родину, но и форсировали Буг, Вислу и подошли к Одеру. Чужой язык, чужие обычаи, чужой уклад жизни рождали в наших сердцах такую тоску по Родине, по России, что мы каждую фразу из газет о Москве, о России чуть не заучивали наизусть. И тут редакция газеты «Фронтовая правда» решила дать целую полосу о Родине. Полоса называлась: «Могучий Советский Союз». Надо было собрать рассказы о том, что сейчас делается там, далеко от нас, на Родине. Красноармеец Н. Лоскутов написал статью о том, как кипит работа по возрождению заводов. Была готова статья стахановок, работавших на восстановлении Ростовского морского порта, «Город встает из руин»... Секретарь редакции майор Савелий Александрович Савельев показал мне макет будущей полосы и сказал:

— Было бы очень хорошо, если бы вы написали стихотворение в эту полосу. Вы русский мужик, кто кроме вас может написать проникновенные стихи о России. Написали же вы «Идут дожди косые, такие ж, как в России». Подумайте хорошенько. Времени у вас еще есть почти двое суток.

Я сказал: «Подумаю». В другое время я бы, может, и воспротивился, но в данном случае «задание» совпадало с моими собственными переживаниями. Как нарочно, в этот же вечер мне повстречался офицер, только что вернувшийся из Москвы. Я забросал его вопросами о Москве, о знакомых мне московских улицах, о жизни там, на Родине. А в ответ услышал: «Москва как была Москвой, так и осталась», «Тверской бульвар как Тверской бульвар...» И тут он, оборвав поток вопросов, начал меня спрашивать, где и как раздобыть трофеи. Слушая его, я дрожал от возмущения: мне хотелось, чтобы он говорил мне без конца о России, а он...

Когда он вышел, тут же непроизвольно в голове родилась счастливая строка: «Говори о чем захочешь, лишь бы только о России».

К утру стихотворение было готово. Первому я показал его Михаилу Матусовскому. «В целом стихотворение хорошее,— сказал он мне,— но строка: «говори о жирных пашнях» — не та строка. Этот эпитет подходит больше агроному, а не поэту. Сделай просто «о черных пашнях». Замечание было правильное, я тут же переделал эту строку.

15 апреля 1945 года газета «Фронтовая правда» появилась на свет. 15 апреля 1945 года я стал автором счастливого стихотворения, которое тут же было перепечатано «Комсомольской правдой», журналом «Октябрь» и десятками других газет.

Так одно из лучших моих стихотворений было написано по заданию редакции.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ —

О СТИХОТВОРЕНИИ «УТРОМ»

В 1946 году я написал стихотворение «Утром». Возникло оно (без слов) в сорок втором году. Я шел с передовой в Ленинград. Мне было восемнадцать лет, и была весна, и не было обстрела. О чем еще может мечтать человек!.. Вскоре меня догнали дивизионные разведчики. Они возвращались из ночного поиска. Никто из участников операции не был убит и даже ранен. Все они были молоды, и была весна, и дорога не обстреливалась. Разведчики еще не остыли: они недалеко отошли от переднего края, от ночи, от заминированной, темной нейтральной полосы. Но радость бытия уже вступала в свои права.

Попутная машина подбросила нас к штабу дивизии. Вот и все. Но ощущение этого утра, весны, молодости, риска и песни осталось жить во мне. В сорок шестом году я начал записывать это ощущение. Я знал, с чего начать, но не знал, чем кончить. Семен Гудзенко посоветовал мне оборвать очень длинное стихотворение на строке «Про красавицу в терему». Так я и поступил.

илья френкель —

О ПЕСНЕ «ДАВАЙ ЗАКУРИМ»

Десять лет тому назад вышел сборник моих стихотворений под названием «Давай закурим». Появился новый повод для сочинения пародий,— однажды, с газетной страницы, на меня напали противники куренья.

Я это к тому, что, несмотря на откровенное приглашение к такому вредному занятию, само стихотворение говорит совсем с другом. А положенные на музыку слова вот уже добрые три десятка лет не вышли в тираж забвения...

За 33 года я не раз пытался понять: почему фронтовая песенка с «легкомысленным» припевом осталась в памяти множества людей. В том числе — и некурящих. Вообще — чем понравились и почему запомнились «Катюша» и «Землянка», «Споемте, друзья, — ведь завтра в поход» и «Дороги»?..

Секреты механизма памяти, один за другим, раскрывает наука, а мне хочется о другом. В последних числах ноября 1941 года наши войска (Южного фронта) ворвались в Ростов. Радость, вызванная успехом,— к сожалению, временным,— отразилась в курьезном происшествии. На фронт приехала делегация ДГТФ, Донской государственной табачной фабрики. Рабочие обратились ко мне и композитору М. Табачникову, чтобы мы разрешили выпуск папирос с названием «Давай закурим». Мы (хоть нам было лестно) и политуправление фронта не пошли навстречу ростовчанам. Им объяснили, что песня— не реклама. Тогда же я начал

рыться в своей памяти: искал источник возникновения стихов. Установил я только одно: за моей спиной — годы встреч со множеством людей. И часто поводом к общению служило — «Нет ли закурить?». А то и пресловутое приглашение: «Давай закурим». Чиркнет огонек, выдохнется струйка или колечко дыма, и — лед разбит, завязалась беседа, иногда знакомство, иногда и больше и надольше...

Даже некурящий, особенно в состоянии напряжения, бывает, что не отказывается, а то и первый попросит: «Дайте-ка, затянусь...»

Что же? Значит, суть не в пагубной привычке, а в поиске стимула общения, непосредственности радушия, когда тебя приглашают без показной любезности, без примеси корысти: «Выпьем чайку, что ли?» А военному человеку закурить означало еще и предметное ощущение связи с домом, с кругом близких. И даже в пословице «солдат дымом греется» это «греется» связано с теплом, так необходимым в суровое время, в тяжелом и долгом походе. Лишенному уюта и отдыха (может, навсегда!) огонек папироски, запах табака напоминают о чем-то приятном, скрашивают одиночество, успокаивают, приводят к норме.

«Давай закурим». Чем плох этот пароль дружбы?

Ведь не ко всякому встречному идешь с просьбой закурить или прикурить. Тут должно быть чувство доверия. Сколько же таких «доверчивых» мне встретилось в жизни! И не сосчитаешь, пожалуй. А скольким повстречался я!..

… Пришла Победа. Мы, люди фронта, в ней не сомневались — знали, что она придет, что мы ее завоюем. Знали еще тогда, в начале «сороковых» роковых». Наше единомыслие, бескомпромиссность переднего края, взаимное доверие и общая всем жажда лучшего для Родины обеспечили нам превосходство над врагом. Не забуду ночь зимы 1945—1946 года. Я — в шинели демобилизованного — увидел милицейский пост у Никитских ворот. Подхожу, смотрю: низенький паренек в полушубке как раз вынул из кармана и протянул напарнику самодельный из плексигласа портсигарчик и сказал, не пропел: «Давай закурим». Мне стало так тепло в этом морозном мраке и в легкой шинельке. А портсигар был уже возле моей руки, и огонек осветил иней на бровях курильщиков. Лица бойцов. Слово за слово: откуда, когда, где... С разных участков фронта, разного срока призыва. Низенький оказался бывшим сержантом-танкистом, — да я сразу догадался по самоделке-портсигару...

Конечно, ночные, бессонные часы знакомы всем. В один из таких часов я встретился впервые со своей песенкой в зимнюю оттепель 41-го года на Южном фронте. На топчане редакционного общежития в старой гостинице Каменска-Шахтинского я лежал с блокнотом и завидовал друзьям, которые были в частях. И раздумывал: что написать в очередной номер? За шторами затемнения жила фронтовая ночь. Ветер скрипел форточкой, и в комнату влетали, кружась, снежинки. И слышно было натужное гуденье грузовиков — грязь. И доносилась недальняя канонада, иногда с грохотом обвала, — немцы бомбили узел Лихая, — шумы, впрочем, привычные. Я следил за снежинками: представлял себе все пространство фронта и за его линией, с силуэтами шахт, с падающим во мглу снегом. Думал о Москве, о себе, о товарищах. Еще я думал: как кончится война? Обязательно — победой! И хорошо бы — со мной. И как будем вспоминать об этих днях и ночах. Я представлял хорошо знакомое: вот сейчас бойцы ведут огонь, идут по грязной дороге, ползут к рубежу атаки. Или лежат в ожидании команды. Худо лежать в темноте, и нельзя чиркнуть спичкой или кремешком огнива и затянуться самокруткой, одной на двоих...

Мои пальцы начал жечь догорающий окурок, а Володя Поляков еле успел выхватить у меня и один раз затянуться. И внезапно все мысли, от снега за окном до этого самого окурка, осветились строкой: «Давай закурим по одной...»

ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ...

Александр Балин

ВЗВОДНЫЙ

«Красивые во всем красивом...»

Березы. Пруд.

Сарай.

Омет.

...Товарищ лейтенант Васильев Прилежно лег за пулемет В своей училищной шинели Из комсоставского сукна,

гильзы весело звенели, Как шкалики из-под вина. Со взводным крупно повезло нам, Хоть в пору горестную ту Несло тройным одеколоном От лейтенанта за версту. В нас от причуды парфюмерной Душа вставала кверху дном: Пропахли мы махрою скверной, Точнее —

прелым «вергуном». И поначалу мы ворчали, Что.

мол,

училищный пижон, Не разглядев чужой печали, Нас всех погонит на рожон. Потом хамили понемножку: Не пели в лад на строевой И вяло чистили картошку Ночами в кухне полковой. Он хмурил брови золотые, Но по-пластунски ползал так, Как будто со времен Батыя Дышал делами контратак. От восхищения глупея, Мы наблюдали в холодке, Как он,

ослабив портупею, Давал «дрозда» на турнике. Когда ж с харчами было туго (Что по-татарски значит — ёк).

Честнейшим образом —

по кругу

Шел лейтенантский доппаек... Потом Сураж,

Моздок,

Сувалки

Вернуть нам было суждено... Когда б из лыковой севалки Бросать отборное зерно, Какие б злаки строем встали Вдоль речек,

чистых как слеза... Промчалась майская гроза В незабываемые дали.

А взводный?

Что ж, о нем грустилось

И год,

и два...

Потом прошло,— За землю больно зацепилось Мое наивное крыло. Пастушил.

Балалайку слушал. Шинелку ласково берег. Крапиву жрал,

конятник кушал (Ах, лейтенантский доипаек!). Но вот

(совсем как в тех романах С погоней,

сейфами,

стрельбой)

Мерцает циркуль из кармана Спецовки ладной,

голубой.

И брови, брови...

Позолота

С бровей сошла,

но все равно Под горло подкатило что-то, Как не подкатывало давно. Хотел сдержаться,

но напрасно, -

Реву,

на что уж я упрям, Коль тем тройным,

родным,

прекрасным

Мне шибануло по ноздрям. Всей мордой —

взводному в спецовку

И грустно чую — отощал... (Давным-давно руки отцовской Я на плече не ощущал.) Васильев!

Мой кузнечный мастер,— Нас не сломаешь на корню... Мы открываем души настежь Навстречу нужному отню. ...А пламя теплое,

живое,

Чуть-чуть уставшее к утру.

Как будто знамя полковое В час смотра на сквозном вегру. А «Баннинг» грохает,

трудяга,

Сияет смазкой дымной шток... Жизнь не окончена,

однако,— Еще порядочный глоток! О, сладость утоленья жажды! Густым настроем бытия Нам суждено прожить однажды Без умиленья,

без вранья.

Вот только бы...

Светлеют дали.

Цех.

Дом.

Россия.

Облака...

Звенят лагунные детали Совсем как гильзы ДШКа¹

' Д Ш К — крупнокалиберный пулемет системы Деттярева — Шпитального

Константин Ваншенкин

САНАТОРИЙ КОМСОСТАВА

Близ голубеющих предгорий, Что в дымке утренней видны,— Для комсостава санаторий У мерно плещущей волны.

Все было в тщательном порядке, И открывались из окна Две волейбольные площадки И городошная одна.

Лишь у немногих, в день заезда, На гимнастерке, одинок, Напомнив, что это за место, Пылал манящий орденок. На пляже, где тела их голы, Лишь у немногих знак прямой Хасана, или Халхин-Гола, Или Испании самой.

Покрыт был чем-то вроде пакли Ствол пальмы, смолкою сочась, И йодом водоросли пахли, Как пахнет ротная санчасть.

Война была не за горами. Посверкивало в небесах. Они тревожно загорали В своих сатиновых трусах.

ЭШЕЛОН

Оценка здесь лестная,— Не каждый привык, Чтоб к фронту железвая Дорога— впритык.

Чтоб ночью осеннею, Лишь стал паровоз, Пошло пополнение— Десантом, с колес.

Трясет свои косточки И стонет вагон. Вез лычки и звездочки Мой чистый погон.

Кругом безвоздушное Пространство создав, Меж ливнем и стужею Свистит наш состав. Припомнить не лишнее,— Так зол и силен: Траншейную линию Зовут — «эшелон».

А все не кончается Соп сладкий ребят. Теплушка качается, И нары скрипят.

Горжусь этой долею, Что так нас везли. И все-таки более Мы сами прошли.

В снегу, перелесками, Сынучим песком. Да все перебежками, Броском да ползком.

* * *

Туман в оптическом прицеле. Рассвет в предгориях Карпат. Зали! — и орудия присели, — Такой чувствительный откат.

Не то чтоб ад кромешный Дантов — Здесь камень серый, мох да ель. И ранняя, без секундантов, Артиллерийская дуэль.

* * *

Тихо раненый лежит. Он уже смертельно-бледен. В вышине над ним дрожит Темных веток тонкий бредень.

Леса черная стена. Звуки гаснущие странны. И не рана так страшна, А что крови нет из раны.

Юрий Воронов

БЛОКАДНЫЕ ЗАИМСИ

СЛЕДЫ

Если пройденный путь — победа, То не только моя — Двоих!.. Я иду По чужому следу: Как бы грудно пришлось без них!

След крупнее, А шаг не шире: Сил на большее, видно, нет...

ПО ГРИБЫ

Раньше были тут дубы, Сосны и осины. А теперь еще — грибы, Ягоды и... мины.

Заминированный парк За стеной колючей— Щит от вражеских атак На последний случай.

ЛЕДОХОД

Когда черемуха цветет, Бросая вызов майским зорям, В Неву Вступает ледоход: Он с Ладоги Несется к морю.

Посмотришь
В бурный бег реки —
И в льдинах,
В контурах их странных,
Узнаешь вдруг
Материки,
Земные острова и страны.

Вдруг Шаги его заспешили, Вдруг теряется Белый след.

Человек — Ничком на снегу. И его Заметает ветер. Я помочь ему не смогу!.. Что, чем это, Страшней на свете?

К парку — полчаса ходьбы. И охрана парка Нас пускает по грибы — В качестве подарка.

Чтоб нарушенный запрет Тайной мог остаться, К нам и просьба и совет: Там не подорваться!..

Вода весенняя кипит, И льдины Друг о друга бьются: Одни тверды, Как древний щит, Другие — Хрупкие, как блюдца.

Они растают,
Пропустив
К морским просторам тех,
Кто крепче...
...Крик чэек — может быть —
О них,
Но им от этого
Не легче.

Мара Гриезане

ПОД НАРО-ФОМИНСКОМ

Памяти латышей, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 41-го под Москвой.

Под Наро-Фоминском в живой подмосковной глуши -в овраге российском уснули мои латыппи. Упрямые парни с усмешкой в тяжелых речах. Высокие парни сажень в мускулистых плечах. Глаза — голубые, как волны далеких морей, как блики речные Латгалии милой моей... Когда под столицей вилотную надвинулся враг, последней границей был этот российский овраг и цифры косые на сбитом дорожном столбе... «Мы тоже — Россия!» сказали вы сами себе... О, Петеры, Яны, от вас отойти не могу! -горят ваши раны, зияют на свежем снегу. Навстречу разлуке средь снежной живой пустоты крестьянские руки раскинуты, будто кресты. На воинских пряжках узоры рисует мороз. На тесных фуражках студеные лучики звезд. В свинцовой метели прервался решающий путь:

назад — не умели, вперед не успели шагнуть. Спокойно и смело вы встали на гребне борьбы... И скатертью белой покрыта равнина судьбы. На снежную скатерть вы пали... Но будет жива великая матерь, столикая матерь Москва! И снежная Вятка. где мать — за хозяйским столом: седейшая прядка над серым солдатским письмом... И Латвия наша, конечно же, будет жива! А Латвия наша получит людские права... Под Наро-Фоминском кровавая наледь зари. В овраге осклизком, как мыши, снуют снегири. Воинствует ветер. Какая гудящая тишь!.. Услышь меня. Петер! Меньшую сестрицу услышь! (Морозный багрянец зари, заполняющей высь.) Кровиночка, Янис, прошу тебя... Ну... Отзовись...

Но что — мои беды средь зимнего вещего дня! И ветер Победы насквозь прожигает меня...

Иосиф Дик

* * *

Прогремел и замер где-то выстрел, Отвели последних немцев в плен. О, какой сегодня воздух чистый! Вся земля купается в тепле!

И не танком — илугом взрыта пашня, Маскировка сорвана с окна. Ни траншей, ни схваток рукопашных,— Отошла в историю война!

И летит советских песен эхо По Германии за горизонт! На путях застыли, не доехав, Эшелоны с грузами на фронт...

Май 1945 г.

* * *

Перед зарей туман витает зыбкий, Росой полощет горло соловей, И лес уже настраивает скрипки Для встречи первых солнечных лучей.

А на краю оврага чья-то каска, И на металле бронебойный след... Находку я отмыл в ручье — и ясно На каске проступил мышиный цвет!

Перед зарей туман витает зыбкий, Но я не слышу грели соловья, И мне в лесу уже не до улыбки,— Ведь тут могла быть каска и моя.

* * *

Простой сизарь, но как полковник! Грудь колесом, зорки глаза! Его КП — мой подоконник, Куда я бросил горсть овса.

Мороз сегодня цепкий, хваткий, В тумане солнце — как желток, И зябко чоджимает лапки На белом снеге голубок...

Юлия Друнина

НА ДИСКУССИИ О ПОЭЗИИ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ

...В о п р о с: Я был полковым врачом на Восточном фронте и хорошо внаю, что такое война. Это прежде всего то, что убивает в человеке все человеческое. И я не могу понять, как женщина, прошедшая фронт, смогла не только остаться женщиной, по и стать поэтом?

Ответ: На мой взгляд, все... унирается в то, что вы были солдатами армии захватнической, а мы — освободительной. Вы ворвались в чужую страну, убивая, истязая, грабя. Конечно, делать это можно лишь тогда, когда в твоей душе уничтожено или, по меньшей мере, усыплено все человеческое. Иначе просто сойдешь с ума.

Но почему должно умирать человеческое в душах людей, которые защищают своих детей, своих близких, свои дома; людей, которые если и убивают, то вынужденно — обороняясь?

Нет, мы не переставали быть людьми. Конечно, мы научились ненавидеть. Но мы не разучились любить. Мне кажется, что после войны мы еще острее почувствовали счастье жить; перестрадав, мы стали ближе принимать к сердцу страдания других.

И недаром в послевоенном взлете советской поэзии главную роль играли поэты, рожденные фронтом... Среди них, естественно, были и женщипы — участницы войны.

Василий Журавлев

СТРАНИЧКА ИЗ ВОЙНЫ

Преодолев огонь, и кручи, и вод безудержный поток, мы заняли деревню Тучи...

Отсюда, с высоты, песок, сползая в сонные низины, стремится к зарослям осок.

Здесь наши скромные осины оберегают с давних пор великолукские лощины...

Куда ни брону жадный взор, повсюду камни, как пороги, разбросаны по скатам гор.

Озера около дороги, как материнские глаза, иолны надежды и тревоги. Оранжевая полоса немного влажного заката венчает синие леса...

И жизнь тебя пьянит, когда ты идешь с оружием в руках и слышишь, как поют солдаты...

Цветет сирень. Шумит река. И над грядой высот могучих, как дым, клубятся облака...

Привет тебе, деревня Тучи! Твое гнездовие на кручах, твоих угодий красоту,

простор от края и до края мы назовем, припоминая бои за эту высоту.

Владимир Жуков

«KATHOIIIA»

Врывшись в землю с головой, самокруткой

грел ты душу,

когда жахнула впервой и пошла играть «катюша»... Кто-то слух пустил про Марс: мол, сговорено заране — и по немцам,

мстя за нас, долбанули марсиане. Мол, открылся фронт второй! А войска.

секрета ради, под землей прошли дырой, но не спереди, а сзади... А не бывшее вовек выло, грохало, гудело...

MUIIKA-TAHKUCT

На кладбище освободителей Белграда есть надгробие, на котором выбита короткая надпись: «Мишкатанкист».

Когда окажешься в Белграде, не поспешай в театр-музей, на блеск реклам, безделья ради, оторопело не глазей, не остапавливайся с каждым и у киосков не толчись...

...Тридцатый год

своих сограждан

в Белграде ждет один

танкист.

Он головным — в сорок четвертом, когда Белград костром горел, в полусленой «тридцатьчетверке» в столицу Сербии влетел.

И как сумел танкист прорваться через бессмертья коридор,— и вполовину разобраться не могут сербы до сих пор. Была лишь —

жизнь в боезапасе, когда припасы вышли все...

Что тут может человек, коль сама земля горела?! И кто почками был слаб — опростался бестолково... Не успев пуститься в драп, сгинул полк

горнострелковый... И такая тишина в уши втиснулась,

как вата, — будто кончилась война... Когда жахнула она раз четырнадцатый кряду. Тридцать лет уж

той поре (а и ныне ломит уши!), как под Вязьмой на Угре вышла на берег Катюша.

И темно-красные лампасы за ним тянулись по шоссе.

И перекашивала жажда рот, прикоснувшийся к огню, когда он,

страждущий и страшный, из люка выпал на броню.

Какие утренние дали увидел он?..

Какой земли?

Его крестьянки с танка сняли и на крыльцо перенесли...

— А поминать-то как, сынишка?.. — старик-хорват,

склонясь, спросил. И тот танкист ответил: — Миш-ка...— и век сгоревших не смежил.

Марк Кабаков

СОЛЬВЕЙГ

Пианино в кают-компании Редко слышим по вечерам, Музыкального образования Не досталось когда-то нам. Но сменяется штурман с вахты, Мрачно шутит:

— Погодка рай...—
И ему, виновато как-то, Говорит старпом:

— Поиграй...—
Он подыпит зябко в ладони, Долговязый наш штурманок,

И легонько клавиши тронет, Непривычно сдержан и строг. И прикованное к настилу Пианино заговорит! Это с нами грустит о милых Мореплаватель Эдвард Григ! Опадают аккорды в воду, Вот последний. Вспыхнул,

погас... И застыл вестовой у входа, Не сводя с лейтенанта глаз.

Дмитрий Ковалев

* * *

Ожоги на лице скрыл бородою Горевший в танке.
Тих, а был — гроза.
Пусть старит борода,
Зато бедою

военною
Не бросится в глаза.
Под кепкой шрам,
И шрамы под рубахой.
Бывает, беспокоят...
Но изволь
Терпеть...
И над чужой бедой
Не ахай,
Хоть в памяти больней
Чужая боль...
Дает почувствовать себя
Железка
Под черепом —
Осколок мины той...

И он в минуту эту Судит резко, Как чьей-то Раздражен неправотой. И тут уже — ни брата И ни свата, На целый мир, Покажется, Сердит... Но тут же, Извинившись виновато, На всех уже Усмешливо глядит. В пыли кирпичной кепка И в известке, А волосы — Как выцветший омет. Почувствуете, Как мозоли жестки, Когда он руку Дружески пожмет.

НА БЫВШЕЙ ГРАНИЦЕ 1

За шестьдесят девятой параллелью Единственная оставалась пядь... И эгот столб, Для полчищ ставший целью,— Как смог он До конца здесь устоять?!

Сюда осатанелый бесноватый Сьоих отборных егерей бросал, Пески пустынь протедших И Кариаты; Он их на крайний случай припасал.

Подилывший кровью снег, Гранит изрытый, Полярный мрак, Просвеченный огнем... А столб маячил на скале, открытый,— Как на тельняшке, полосы на нем.

В строчащих автоматах, Как в трещотках, Ревущий в штыковых отборный сброд... А столб стоял, Четыре буквы четких, Как грудь, Бесстрашно выпятив вперед...

Морской волны густая соль и горесть. И даже чахнет ягель на хребтах... Ца упаси нас, уцелевших, совесть, Подумать хуже о других фронтах,

Где, сбив столбы, Враг путь устлал костями, Синь погасив И лампочки купав, Где брестскими стояли крепостями Солдаты, В окружение попав.

От мелких превосходств, Понятий местных, Копцунственных В огромности войны. Над памятью погибших Неизвестных Священно чувство Собственной вины.

Но знак тот, Где не сломана граница, Где обнаженная скала да лед, Пусть не дает, возвысясь, заноситься, Но и принизить гордость не дает.

* * *

Жизнь уцелела не игрою случая. И любо доброе зерно любое... Все почему-то кажется, Что лучшие Остались там, На вечном поле боя.

Лежат они от юга и до севера. И высота вселенская над ними. А утро шевелит губами клевера И смотрит даль глазами их живыми. И этот взгляд — Доверчив, но и бдителен, И золотится в нем дымок полыни. А дел — Но силам только победителям. И так нам не хватает их поныне.

Но чтоб куститься зеленям на нахоте, Пескам синеть сосновыми лесами,

Чтобы ничем не уронпть их памяти — Мы лучшими в стараньях стали сами.

Земли, спасенной ими, долгожители, Мы их в себе на счастье открываем. Когла б они поднялись и увидели, Как стал знакомый вид неузнаваем.

И даже каждый уголок укромнейший: Чего тут понастроили, открыли Сироты их — Сыны страны огромнейшей, Какие у орият взлетевших крылья!

И как непримиримы эти пажити С лукавым празднословием досужих, С монументальною корой на памяти И с обтекаемым жирком на душах.

¹ В Заполярье был участок фронта, где пограничный столб высился до конца Отечественной войны. Здесь стояли матросы-североморцы.

Ольга Кожухова

* * *

Меня на фронте укрывали Шинелью, шубою овчинной, Сырые сапоги снимали Едва знакомые мужчины.

Мне в блиндажах давали место Поближе к свету, ближе к печке. Со мной шутили о невестах, Загадывая дату встречи.

Когда же дымное железо Рвалось над белым полем боя, Они вставали зло и трезво, Чтоб заслонить меня собою.

* * *

Талый снег напоминает Люблин — В белом парке черные следы. Где твои обветренные губы И глаза темней речной воды?

Где летаешь, где проходишь косо, Пролагая в небе дымный след? На мои смущенные вопросы Только дождик, только снег в ответ.

Площадь, утонувшая в тумане, Пасмурный холодный горизонт. Молодая маленькая пани Провожает русского на фронт.

Февраль 1945 г., Томашув, Польша, Первий Белорусский.

* * *

Уже в планшеты уложили карты, Водители моторы завели. В обрубленный, расстрелянный Тиргартен Сурово и безмолвно мы вошли.

Так вот — та знаменитая аллея, Где, выровнявшись, словно на парад, И злобою, и кровью тяжелея, Властители Германии стоят.

Они глядели гордо и надменно На этот мир, покорный им века, Недвижные, нетронутые гленом, С оружием заржавленным в руках.

Теперь, вдыхая горький дым Берлина И видя победителей иных, Они сгибали каменные спины Позорней и трусливее живых...

Май. 1945 г., Берлин

Яков Козловский

ВЗВОДНЫЙ

Познал я рано, мальчик худощавый, Ночных тревог заливистую медь. Мог с головной походною заставой Пройти сто верст и ног не натереть.

Мог часового снять,

осилить хворость, Во тьме установить ориентир. Расчетливо военную матерость Во мне чеканил взводный командир.

Не изрекал он:

«Будь самоотвержен!»,

А говорил:

«Не бойся ни хрена! Ты будешь артиллерией поддержан, Тебя прикроют танки, как стена.

Не думай о привале до привала, Как надобно, маневр свой понимай. Не маленький,

теряться не пристало, Убьют меня — команду принимай!»

* * *

Посольской визы штемпель не линялый. Летим мы в Гамбург.

На рассвете — в путь. Звонит под вечер спутник мой бывалый: — Собрался? Документы не забудь!

И снится мне: ольха склонила ветку, А за рекой немецкий разговор. Уходим безымянными в разведку, Сдать документы приказал майор.

Матвей Крючкин

BCTPEYA

Помню, в час утренний, хмарный Мы вышли на Эльбу-реку. Американские парни Стояли на том берегу.

Потом по немецкой речушке Пошли наши лодки, плоты. Звенели солдатские кружки За исполненье мечты. Хоть слов мы понять не сумели,— Слова мы узнаем потом,— «Катюшу» мы вместе запели, Затем «Типеррери» поем.

А вечером долго гудела От дружеской ласки спина. Ведь хлопали все то и дело Друг друга... Кончалась война.

Владимир Лифшиц

ТОЙ НОЧЬЮ

Война гуляет по России, А мы такие молодые...

И. Самойлов

А это было, было, было На самом деле... Метель в ночи, как ведьма, выла, И в той метели Я нес по ходу сообщенья Патронов ящик В голубоватое свеченье Ракет висящих.

А сзади Колпино чернело Мертво и грозно. А под ногами чье-то тело В траншею вмерзло. Держали фронт в ту зиму горстки, Был путь не торным. А за спиной завод Ижорский Чернел на черном.

КОГДА СВЕТАЕТ

Шумит осенняя вода По водостокам, И свет сквозь дождь, Как сквозь года, Плывет из окон.

Бессонна ночь. Бесшумен шаг. Идешь по дому, И тишина в твоих ушах Подобна грому.

Воспоминанья выбирать Ты сам не волен. Перед тобой возник опять Комбат Поболин. Он за спиной вставал громадой, Сто раз пробитый, Перекореженный блокадой, Но не убитый. Ворота ржавые скрипели В цеху холодном, И танки лязгали в метели К своим исходным.

Орудье бухало, как молот По наковальне, И был ты молод, молод, молод В ночи той дальней. Дубил мороз тебя, и голод Валил, качая... Ты воевал, того, что молод, Не замечая.

В нем героического нет: Прораб,— не ратник. Ушанка. Валенки. Планшет. Помятый ватник.

Неповоротлив капитан, Немолод, грустен. Но первым вынет он наган, Шагнет на бруствер.

Вот он собрал в землянке нас, Приказ читает В тот неприютный, знобкий час, Когда светает.

Михаил Львов

ВСЕ БЫЛИ — ЖИВЫЕ

Подруги и други Пронзительных лет! Летящие руки Вагонам вослед. Все были живые! Светились в любви! Такие родные! Такие свои! Чем мерить

потерю,

* * *

Жизнь прожита

не стерильно -

Современно,

не старинно;

На броне,

и на крыле,

И в землянке,

и в земле.

Высшей молнией

прошита,

Жизнь,

как молния,

прожита,

В беспощадных

скоростях,

В потрясающих

страстях.

Нету сроку

для оглядки,

Все ли

было

там в порядке,

Были пятна

или нет

Что в сердце

поту?

Как вспомию -

не верю

И только твержу, Как строчки чужие, Как думы свои: Все были живые! Светились в любви!

Такие родные,

Такие свои.

На больших

полотнах лет.

Жизнь,

прожитая

в отваге,-

С ликованьем майским

в Праге,

С днем возмездия —

в Берлине,

Я горжусь тобой

поныне.

Жизнь

прожита

не стерильно,

Современно —

не старинно;

Завершу

не на крыльце.

Отблеск века -

на лице.

Не подачки

дожую -

Жизнь

в отваге

доживу.

Игорь Лашков

СВИДАНИЕ С СОРОК ПЕРВЫМ

В свете прожекторном слезы льет Ива над Мухавцом... Я вхожу в сорок первый год И становлюсь бойцом.

Мне светотени со всех сторон Ярость вселяют в кровь. Брестский пылающий гарнизон — Пост мой, рубеж и кров.

Пули и мины кирпич грызут, Ищут они меня.

Сам я себе представляюсь тут Вылитым из огня.

Голод мучит, и жажда жжет, Но пулемет мой жив... Встал предо мной сорок первый год, Словно застывший взрыв.

Знаю — я здесь не одинок. Тем и живу, и горд, Что первым остановил ноток Черных германских орд.

Феликс Медведев

Я родился 22 июня 1941 года.

Из автобиографии

Четверть века мне видятся сны. То ли я начался с той войны, то ль она началась от меня с того дня, с того дня, с того дня. Четверть века, как тысячу лет. Четверть века меня уже нет. Четверть века беременна мама. Четверть века в окошках нет света. И от Зорге идет телеграмма четверть века уже, четверть века. А погибших сплошная поверка. Вот уже, вот уже четверть века.

- Отзовитесь, ребята-а...
 - Куда-а-то...
- -- Отзовитесь, комбаты-ы...
 - Когда-а-то...
- Отзовитесь, солда-а-ты...
 - Куда-а-там.

...Я не знаю, кто в этом повинен, чья чудовищная вина, что, как к матери пуповиной, я привязан к тебе, война. Мне и впредь средь победных оваций от пожаров твоих согреваться и твоим забытьем забываться. Над Россией салютов огни. Вот, попробуй, спокойно усни. Четверть века... Любви годовщина как морщина судьбы,

как верпина. Пронести бы ее, вознести. От тревог вековечных спасти. Четверть века горячий, родной, тар земной, будто боль,

подо мной.

Юрий Мельников

ВАГОНЫ

Все рушила тут

огненная сила, Грознее становясь день ото дня. Здесь в давнем сорок третьем Проходила Передовая линия огня.

И где к заливу подступают склоны, Все так же, Как и много лет назад, Пробитые осколками вагоны На рельсах несгибаемых Стоят.

Передохнуть на них садятся птицы И снова поднимаются легко. Стоят они, И тень от них ложится На берег и на волны Далеко.

На них легло
Тяжелых дней тех бремя,
В них гул боев,
Раскаты горных гроз...
Они
Как остановленное время,
Осколками пробитое
Насквозь.

Нина Новосельнова

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ

Довезли и путь указали — В беспокойную юность мою. И пошла я одна в те дали, Где когда-то прошла в строю.

Путь, что в сердце начертан, точен. Лишь свернула за поворот,— Что за диво! — сошел с обочин Мой родной фронтовой парод.

Ну, теперь, говорю, не страшно, Хорошо идти, не одна. Жив ли, нет ли наш день вчерашний — Скажут новые времена.

Ну, ребята, глядите в оба, Как бы что-то не проглядеть. Это здесь, у Гришина гроба, Фронтовая звепела медь.

Сняли шапки. Помянем Гришу. Молодой был, и сына нет. Странно, я его голос слышу, Хоть не слышу уж тридпать лет.

Здесь, над озером, был домишко. Не обманет память меня. Здесь оставил наш Найда Мишку (Из-под Минска трофей!) — коия.

Он бельгиец, не знал по-русски. Но умен, лошадиный бог! Невозможные перегрузки Не кряхтя выносить он мог.

Одессит подружился с Мишкой (Оттого-то и Мишкой звал!),

Уходили — нам было слышно: Мишка очень по-русски ржал.

Мишка звал ездового, плача, Он, конечно, понять не мог, Что трофей грузовик — не кляча, Он нужней для дальних дорог.

Есть приказ. Ездовой послушен. Только крикнув нам: «Стойте здесь!», Он обратным путем — в конюшню. И отдал ему сахар. Весь.

Где ж тот домик? Смотрите, хлопцы, На лужайке, что над водой, Здоровенный битюг пасется. Точный Мишка. Но молодой.

А у Найды глаза то колки, То сверкнут золотой рудой: — За Одессой живет в поселке Точный Найда. Но молодой.

Павлик Найда, ты все такой же, Добродушный и озорной. Павлик, ты «Криничоньку» спой же, Как певал ты мне, молодой. День вчерашний — он в нас навечно, День вчерашний — он в «Завтра» путь. Только той теплоты сердечной Не теряй. Не прячь. Не забудь.

И звенит «Криничонька» тихо, И ползет слеза по щеке. Ни души кругом. Лишь грачиха Ставит крестики на песке.

ЭТА ДОРОГА...

Я все время боялась на этой дороге Что-то важное упустить. Из вагона б — да с маху на холмик пологий, Да пыжовскую глину месить.

До Пыжовки от Вязьмы недальние версты, А поди-ка дотопай! Стара. И наверно, к землянкам, заросшим и мертвым, Не пробъешься без топора.

Знает бог, как дошли мы тогда до опушки: Кочки, глина, болотная муть. Только вытянешь правый сапог за ушки — Левый грязи успел хлебнуть.

...Вдруг состав — не случайно ль? —

остановился

Против горестно-памятных мест, Где когда-то дымок над валежником вился — Первый мирный дымок окрест.

Грели руки девчата, портянки сушили, В котелках — оттаявший снег... Так и жили.

А что? Очепь правильно жили, Жили так, как приказывал век.

Из вагона б — да с маху на холмик пологий, Да пыжовскую глину месить. Только горькие, трудные эти дороги Никому не дано воскресить.

Только сердцу. Кому же еще известней Все, чем наша судьба горда? Только сердцу!

А сердце откликнется песней, А она не соврет никогда.

Александр Николаев

У бледнолицего Пьеро круги под синими глазами. Десятиклассники в метро на выпускной спешат экзамен.

Склонились в позе деловой сосредоточенные лица над исторической канвой, хронологической таблицей.

В таблице — даты, имена, событья важного значенья, среди которых и война — объект, достойный изученья.

И вовсе нет моей вины, что я подслушал их беседу, где из важнейших дат войны был назван только День Победы.

Воспоминаний давних тень прошла, конкретность принимая, и вспомпил я тот первый день войны, окончившейся в мае.

А бледнолицый, сам не свой, склонился ниже бледнолицый над исторической канвой, хронологической таблицей.

Июнь и 41-й год. Как говорится, время о̀но... До них по книгам он дойдет, как я до войн Наполеона.

И я сижу, смотрю в окно. Как быстро вырастают дети! А тот июнь был так давно, когда их не было на свете.

И, вероятно, иногда мы в чем-то их не понимаем, поскольку жили в те года. когда июнь был перед маем.

Его я помню хорошо. Стояла жаркая погода. А за июнем май пришел, когда

прошло • четыре года.

Лидия Обухова

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Нам спать нельзя. Качаются рессоры. Проводники на тамбурах стоят. Ведь это наш, войной разбитый, город! И эта степь зацветшая — моя. Я возвращаюсь из чужого края, К окну припав разгоряченным лбом; И встречный ветер слезы утирает Своим цветным расшитым рукавом. В вагонах спят. Им снится избавленье. Свистит свисток, смолкает вдалеке... И, плача, я читаю объявленья — Ведь все они на русском языке!

Виктор Полторацкий

ВЕСНОЙ СОРОК ПЯТОГО...

Запенились талые воды, Понтоны качает волна. Весна сорок пятого года — За Одер шагнула война.

Подобны железной лавине, Огонь и движенье стремя, Уже на силезской равнине Уральские танки гремят.

За линией фронта тревога,— Бросая дома и дворы, Германия вся на дорогах, Ударилась в тартарары.

А встречь — старики фольксштурмисты,

Резервы саксонской земли — Под небом холодным и мглистым К переднему краю брели.

Как старые волки угрюмы, В глазах затаился испуг. И общую черную думу Один из них высказал вслух:

* * *

В апреле сорок пятого Еще гремит война. Сражается проклятая Чужая сторона.

По незнакомой местности Еще идет пальба, И в полной неизвестности Солдатская судьба.

Кому-то пить достанется Победное вино, А кто здесь тлеть останется— Еще темным-темно.

Но в придорожной рощице, Где свеж весенний лист.

— Коллеги, с Иванами встречи Хорошего нам не сулят. Недаром свербит моя печень И ноги в суставах болят.

Другой отозвался:

— Два сына Ушли у меня на войну. Рудольфа зарыли под Клином, А Дитрих — в сибирском плену. Детей окликает старуха. А дети домой не придут...

Тут третий закашлялся глухо И выплюнул:

— Аллес капут!

Капут!

Полоса горизонта От праха и дыма черна. Смещается линия фронта, К Берлину подходит война.

Апрель 1945 г.

Тайком с регулировщицей Целуется танкист.

Дрозды свистят в валежнике, Малиновка поет. И синие подснежники Девчонка смело мнет...

Тут бог войны как молотом По наковальне бьет. Но жизнь идет. И молодость Везде свое берет.

Куда же и податься-то, Велик ли белый свет? Девчонке девятнадцатый, Тапкисту — двадцать лет.

Maŭ 1945 .

Валентин Проталин

НОЧНОЙ ГОСТЬ

За окнами родился странный звук. Не различить: ни музыка, ни пенье. Но слитен он. Он длится, как ступени звучащие или движенья рук, производящих музыку. К окну — летит волнами. И подобна сну его неуловимая реальность, как передача мыслей или чувств без помощи произносящих уст, когда значенья не имеет дальность.

Встревоженный, к окну я подхожу. Земля сокрыта под покровом странным. Насколько видит глаз, она внизу устелена светящимся туманом. И небо над такой землей черней, и звезды словно ниже и крупней, и сгустками мерцающих огней отражены, как в зеркале, на ней. Дыханье затаив, стою над ними и чьи-то различаю в них черты. Они полупрозрачны и чисты. И облики чем далее, тем зримей.

Вот сгусток света, отделясь от них, легко взлетел и в комнату проник.

И вижу я: стоит передо мной войны минувшей неизвестный воин. Он так и не расстанется с войной, он так и будет жить последним боем. Но не поблек на форме цвет защитный. Как могут только новые, звенят ремни на гимнастерке, ладно сшитой. Он с интересом смотрит на меня. И силимся мы с ним узнать друг друга, и понимаем, что не узнаем, что память наша — словно темный угол. И каждый замыкается в своем.

Но вот мой гость протягивает руку:
— Встречай, теперь и я к тебе пришел...

И молча мы садимся с ним за стол. И за окном, во тьме, смолкают звуки.

- О чем ты думал?
- Омск я вспоминал. Я помню лица всех, но имена утратились. Как безымянно детство пред именем единственным война...

А в жизии есть всему своя цена... Ты полюбить успел?

- Я?.. Нет почти...
 Мне не пришлось. Все, что со мною было, со временем легко бы отступило пред тем огромным, что могло прийти. Не только я... Род оборвался мой. Кто угадает, что покрыто тьмой? Судьба, всему садовник своенравный, ветвь срезала... В трехтысячном году вселеннолет на световом ходу изобретет не мой далекий правнук...
- Да, многое с собой взяла война... Вот кажется, что есть всему цена, условная пускай... Но - приглядеться, хоть на мгновенье посмотреть назад: там, за тобой, убитые лежат. И кажется земля гигантской чашей весов. И все, чем мы окружены, все, что употребимо в жизни нашей, не может осознать своей цены, перед которой все и все равны, -от малого до самого большого все обретает бесконечный вес: и жизнь сама, и хлеб, и интерес к чему-либо, что делаешь с душою, вниманье женщин, вера в красоту, все, что тревожит нас, все, чем согреты, вино и даже дым от сигареты, чью горечь ощущаешь ты во рту... Вот так непостижима скорость света: обычное, что окружает нас, все на поверку — беспредельность масс. За это расплатиться невозможно...
- Не дай владеть тобою мысли ложной. Остановись перед значеньем слов. Цены не знает пролитая кровь. Поэтому сопутствует ей вечность. Лишь согласись жизнь вообще конечна, тобою тут же овладеет страх. Но вольно или нет тебе присуще все, что ты помнишь, сопрягать с грядущим, чтоб длиться, изменяясь, и в веках, как жизни вновь истоком служит жизнь, как кровь твоя течет в прямых потомках. И ты, уйдя, услышишь: «Отзовись!» Пускай родство теряется в потемках и прадедов припомнить мудрено.

Но всем живым движение дано. И если даже труд твой безымянен, как холмик на заброшенной поляне,— в руках других он обретает высь. Грядущее нам кажется высоким. Всем лучшим в нас мы кровно с ним срослись. Цена порыва: это прежде — смысл, смысл, длящийся неведомо далеко.

Леонид Попов

ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Как читаете мемуары вы? Лично я— Будто снова в бою... Перехвачены лентой муаровой, Эти книги— бессменно в строю.

Книжной пылью не запыленные, Как солдаты — за рядом ряд. И страницы их опаленные Негасимым огнем горят.

Карты кровью и нервами сотканы, Мечут стрелы в обход, в обхват.

И дымятся еще за высотками Попелища родимых хат.

И, склоняясь над дымными картами, Отдаленную слыша пальбу, С теми годами, как с курантами, Мы сверяем свою судьбу.

Всё! — Высокое, сокровенное,— Жизнь и праведный ратный труд На века мемуары военные В нашей памяти берегут.

В них живут боевые реликвии, В них бессмертное слово «Вперед!», В них — свершенья народа

Сам — великий советский народ.

В них — Осколков кипепие ржавое, Похоронок нещадная весть, И могущество наше державное, И высокая наша честь.

В них — Продрогшего неба созвездия И огни партизанских дорог. И священное наше возмездие — Как эпохи предметный урок,

Всенародное наше Достоинство, Кровь на знамени у древка, Доблесть нашего славного воинства В бронзе-золоте На века.

И салюты над звездными башнями, И последний победный редут. ...Рядовые запаса И маршалы Нашу память в бессмертье ведут.

Эта память — Как миру послание, Как дыханье Грядущей весны.

В пояс кланяюсь! В пояс кланяюсь! — Летописцам священной войны.

Софья Петренко

ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ

Не умели женщины в погонах Под руку с мужчинами ходить. Довелось, еще не бывши в женах, Раненых из боя выносить.

Их, любивших той порой едва ли, Восемнадцать справивших едва, Ведьмами фашисты называли За гостинец бомбовый с «ПО-2».

И в часы, когда так сладко спится, Если мир и тишина кругом, Сквозь эфир перекликались «птицы»:

- «Чайка», «Чайка».
- Слышу вас. Прием.

Их теперь ничто не отличает. Спят медали в ящиках столов. Шлемы и пилотки не венчают Поседелых до поры голов.

Только живо боевое прошлое. С ним они спокойны, но строги Как от камия, в воду брошенного, От войны идут,

идут

круги...

Вадим Семернин

ВОСПОМИНАНИЯ КОМВЗВОДА

Идет по комнате пехота, Напоминая о войне... А в мирной комнате —

комвзвода

Да репродуктор на стене. Сидит комвзвода без мундира, А перед ним,

как бы живой, Встает номощник командира По полной форме боевой. Встают,

хотите — не хотите, Солдаты в памяти опять: Проходит комнатой учитель, Тот.

что учился воевать. Он томик Пушкина с собою Пронес, наверно,

полземли.

Его искали после боя, Но только томик тот нашли. Приноминается до боли, Страны военной рядовой, Артист театра —

в новой роли, Как видно, главной для него. И неказистый с виду вроде, Ну точно — курский соловей, Тот запевала первый в роте, Замолкший С самых первых дней... За каждым скрипом половицы Он слышит отзвук канонад. Незабываемые лица Невозвратившихся ребят. Проходит комнатой пехота, И репродуктор на стене... Сидит израненный комвзвода, А взвод

остался на войне.

Борис Слуцкий

ПЛЯЖИ СОРОК ШЕСТОГО ГОДА

Раны затягиваются, зарастают, но шрамы— не прошлогодний снег: даже под южным солнцем не тают, даже на пляже ясны для всех.

Товарищ, на пиджаке — по планкам, на пляже — по затянувшимся ранкам, я у тебя, ты у меня, тихо — так мы предпочитаем — без объяснений прочитаем летопись эпохи огня.

Ты, приседающий с подскоком и брюшной развивающий пресс, как там, штыком или осколком? Покажи. У меня интерес.

Мы еще молодые и ранние. Нам по три года до тридцати. Но — на носилках — повторно раненные и разбомбленные на пути.

Когда на три года война затягивается и — четвертый потом возник, шкура солдатская затягивается сетью слепых, сетью сквозных.

У табакура, у бедокура, у балагура почти на треть изрешеченная сталью шкура. На свет лучше ее не смотреть.

Так, под мерный поход прибоя, мы друг на друге считать должны клинопись недавнего боя, иероглифы этой войны.

Владимир Сергеев

ГЕНЕРАЛЫ

Я слышал когда-то, как воин бывалый Рассказывал малым внучатам:
— Убили, ребята, в бою генерала — Он был настоящим

солдатом.

А время летело, подобно метели, И где-то под скрежет металла Внучата несли на солдатской шинели Уже своего генерала.

Сегодня достойных и славных немало, И дело не в чине, ребята, Стояли б на главных постах генералы, Достойные званья

солдата.

Армейская доля кого миновала? И кто-нибудь скажет внучатам: — Служил я, ребята, с одним генералом — Он был настоящим

солдатом!

Марк Соболь

СТИХИ О ПИЛОТКЕ

Ах, солдатская пилоточка! — на семи плывет встрах опрокинутая лодочка, затонувшая в кудрях.

Снисходительно и вежливо козыряя на ходу, молодой, портянки свежие, я иду, иду, иду...

На ветру сирень колеблется. Что дрожишь? Конец войне!

А в сегодняшнем троллейбусе уступили место мне.

Встал сержант — пилотка летняя, щеки в солнечном пушке...

Две полоски разноцветные у меня на пиджаке.

Ах, года,— ступеньки-лесенки: все трудней из года в год!.. Он сошел у «Буревестника» — вот идет, идет, идет...

И плывет пилотка рыжая по июню, по Москве, на мальчишеской, на стриженой, на ученой голове.

Над сержантом небо в золоте, а погоны — два крыла... И сиренью пахнет в городе — той, что в мае отцвела.

Николай Старшинов

Все началось с «Боевого листка», который мы выпускали в прифронтовой полосе, а потом — на фронте. Помещалась в нем обычно краткая информация о делах нашего пулеметного взвода, а иногда — стихи, посвященные конкретным фактам, конкретным людям нашей части. Одно из них, написанное в подражание лермонтовскому «На севере диком стоит одиноко...», я помню:

Под старой сосною, у самой дорожки Стоит на посту часовой. И дремлет, качаясь. И кружатся мошки Над сонной его головой.

И снится ему, будто повар Батуев С большой поварешкой в руке Овсяную кашу, густую-густую, Ему подает в котелке.

И сонный часовой, и повар не были выдуманы. Действительно, после трудных многокилометровых ночных маршей сон валил нас с ног. А новар Батуев был нашим общим любимцем...

Как-то меня вдруг вызвали в штаб батальона. По дороге я все вспоминал, какие у меня могли быть провинности. Но оказалось, что вызывали совсем по другому новоду. Наш «Боевой листок» иопал к корреспонденту дивизнопной газеты, в ней были напечатаны некоторые мои стихи. Вот меня и вызвали для того, чтобы послать на совещание молодых поэтов, которое должно было состояться в прифронтовой нолосе.

Мне и сержанту Носкову из минометной роты выдали сухой паек, объяснили, как

и куда идти, и мы отправились в путь. На совещание. По лесам и болотам...

Только к вечеру пришли мы в деревню, где размещался штаб. Какой — не помню. Нас очень приветливо и душевно встретил полковник, политработник. Но с ходу огор-

- А совещание-то уже закончилось... И поэты-руководители уехали еще утром... Помню, назвал оп двух поэтов — Иосифа Уткина и Антона Пришельца. А потом утешил:

 Ну ничего... У вас есть сухой паек?.. Так поужинайте, отоспитесь на потолке, там и сено есть, - а утром я сам с вами побеседую...

И, уже уходя, добавил:

— Только не курите там, а то и штаб спалите...

Поутру мы явились к нему. Говорил он с нами доброжелательно, по-отечески. Пообещал напечатать наши стихи (и правда, они потом вышли в армейской газете). А мне еще и одно замечание по стихам сделал, правда курьезное:

— У тебя тут написано — «за рекой, на пепелище хаты»... А надо писать «на попелище»...

Видимо, он был украинец.

В тот же день мы вернулись в свою часть.

Вот, собственно, и все воспоминания о совещании молодых фронтовых поэтов. Но теплота, внимание, отзывчивость, с которыми были встречены первые солдатские стихи в такое время, в такой обстановке, не забываются... Это было летом 1943 года под Смоленском...

Ниже — два непубликовавшихся моих стихотворения того времени.

Всю неделю провели в походах, --Пулеметы тащим на себе... Лишь однажды на короткий отдых Разместились в брошенной избе.

Ни стола, ни лавки в ней, пустынной, Но нашли ребята-москвичи

Всю опутанную паутиной Тульскую гармошку на нечи.

Разморило нас жарой июльской, Вот прилечь бы да забыться сном... Но от разливной гармошки тульской Ноги сами ходят ходуном.

И плясали мы и распевали, Может, час всего, и вновь — подъем. Ну а словно дома побывали, Каждый — в доме побывал своем. И под орудийные раскаты С песнею выстраивался взвод: «До свиданья, города и хаты, Нас дорога дальняя зовет!..»

* *

Канонада началась на зорьке. Мины зашуршали надо мной. И смешался запах дыма горький С запахом черемухи лесной.

Даже солнце помрачнело, глянув Со своей нездешней высоты, Как растут разрывы на полянах, Словно черно-красные кусты.

Нам идти на Запад, все на Запад, Отгоняя этот горький дым, Чтобы лишь черемуховый запах Над простором властвовал родным.

Виктор Федотов

О ЛЕТЧИКЕ, НЕ ВЫПУСКАВ-ШЕМ ТОРМОЗНОЙ ПАРАШЮТ

Высокий жилистый парень, как говорится — хват, как бог работает в паре, летает наперехват.

Повсюду на аэродромах, где и бывал раз-два, тотчас заведет знакомых, и каждый — сорвиголова.

Рыцари дальних маршрутов, отчаянный, смелый народ, но без тормозных парашютов не всякий садиться рискнет.

А этот садился. Точно. Хоть мог не собрать костей, чертям бы и тем было тошно от таких скоростей.

Затем и придуманы были надежные тормоза...

«А если не мирный вылет — военная вдруг гроза!

Осколок порежет стропы — вот и попал впросак. Железный тут нужен опыт, как и в пылу атак...»

Что ж, доводы были вески, и, сам не робкой души, строгий во всем комэска пойти на риск разрешил.

За этот полет необычный паказан был тот и другой, хоть кончилось все отлично, могло бы — ценой дорогой.

Полет стал уж днем вчерашним, а всё разговоры идут о летчике, не выпускавшем тормозной парашют.

Федор Фоломин

ПОХОДНАЯ МУЗЫКА

В державе хвойной, в самобытных чашах, где утро просыпается с трудом, мы сохранили свой занятный ящик: мороз не тронул звуки жизни льдом. Четыре взвода сшиблись на привале за синий ящик, полный колдовства. Из цепких рук бойцы пластинки рвали: — Отдайте нам забытые слова! — Открой же душу, песенка смешная! Поет мужчина в мирной стороне о том, как дремлет улица ночная, как огонек горит в одном окне.

Стыдился каждый сдержанной печали: грубел лицом, словами на ходу. А звуки мягко сердце очищали....
— А ну, подвинься, дай-ка заведу! — Чиста улыбка скромного вниманья. Молчанье наше — воинский обряд. Зачем же песня тихо в город манит, поет про то, о чем не говорят?! Любовь жива, ее ничто не сломит: сойдемся, к песне головы склоня! Бойцы проснутся в бане, на соломе, и отогреют память у огня.

Галина Шергова

БАЛЛАДА О ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ

Вот она — степная небылица, — До лесов запахнутая тьма. Очи выжигают кобылицам Звезды бессарабского клейма. Бубенцов столетних перебранка, Да, крылами щупая межи, Ворон урожаи ворожит, И поет ленивая цыганка, Трепетные плечи обнажив. О любви тревожной да дорожной Жалуется, грешная, она, И цыганку слушает захожий Тулячок — безусый лейтенант. А она поет ему, смурная, Нежится и заново поет... — Ну а ты «Метелицу» не знаешь? — Вдруг спросил парнишка у нее. - Про снежок крутой да непочатый, Про студеный месяц молодой, Как идут девчата за водой, Как про то поют мои девчата... Как же так — в цыганской-то истоме, В расписной красавице степи Он тоску внезапную о доме В русской песне хочет утопить? Я тогда его не понимала, Я тогда, тоскуя и любя,

К землям незнакомым ревновала, Мой родной, далекого, тебя. Ты прости, тогда судьбу твою я Мерила по выдумкам чужим, Будто, на чужой земле воюя, Дашь ты ей себя приворожить. Дряхлая молва наклеветала, Что солдатам нравятся легко Женщины из гамбургских кварталов, Песни из баварских кабачков. Но тогда в степи над звездным Прутом, У шатра цыганского присев, Я в ту ночь порывисто и круто Сердцем поняла и кровью всей, Что напрасно верю в эти вести, Ревностью непрошеной греша. Ни земля, ни женщина, ни песня — Будь она во веки хороша — Никаких Румыний и Германий Русского солдата не приманит. Он пройдет, обветренный, бывалый, Как боец, но в сердце затая Песню с необъятными словами: «Ты постой, красавица моя»...

Бессарабия, 1944

Яков Шведов

БЕССМЕННЫЙ ГОРНИСТ

Везло мне на добрые встречи всегда, Храню свято в памяти это: Приехал на дачу Литфонда Гайдар В конце подмосковного лета. Не ради курьеза,

а, видно, всерьез В дом отдыха, в рощи, в затишье Он с книгою

горн пионерский привез, Подарок горнистов-мальчишек. Еще отражалась багрянцем заря На утренних травах росистых, И вдруг заиграли кругом в лагерях Подъем пионеры-горнисты. Был ранний рассвет над Голицыном чист, В молчанье дремали проселки. Горнистам ответил Гайдар

как горнист Из дачи Литфонда в поселке. Трубил вдохновенно счастливый Гайдар Под вязом развесистым, старым... Я слышал,

как будто бы горн повторял В то утро раздумье Гайдара.
— Не спите, друзья! Сердцу жарко в груди! Враги у границы,

не где-то! — В то утро на даче горнист разбудил Двух поздно встававших поэтов. — Клубится над Польшей горячая пыль, Там в пламени плавятся кровли... Что скажет на это товарищ Джалиль 1, Со мною к походу готов ли? А как отзовется поэт молодой, Уместны ль сейчас пасторали? Уже пол-Европы лежит под пятой Тяжелой,

из крупповской стали.— Но после работы, в вечерней тиши, Он пел в комнатенке негромко, От щедрого сердца и чистой души О гордом мальчишке Орленке. На даче Литфонда,

в осеннем саду, Под кленом насквозь золотистым, Расстались мы в том в предвоенном году С Гайдаром, бессменным горнистом.

¹ Татарский поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль одним летом жил и работал на голицынской даче Литературного фонда.

В боях возле Киева,

позже,

потом

Мне слышались в буре пожара В печальное время

за дымным Днепром Сигналы горниста Гайдара. Как будто галоном промчались года, К своим я вернулся пенатам, Вот дача Литфонда:

писал здесь Гайдар, Джалиль тут работал когда-то. Спешу из поселка в простор луговой, Шиповник в огнях беспокойных, Иду, очарованный скромной красой Знакомых земель подмосковных. В полдневной дремоте притих окоем От сизого цвета полыни... Но вдруг в лагерях

заиграли кругом Горнисты у речки Бутыни. Уходит в поход за отрядом отряд К полянам, Речным крутоярам... Я вижу в колонне счастливых ребят Комбата-горниста Гайдара.

Михаил Шевченко

ОККУПАЦИЯ

В тревожном сне Забылся город Россошь — В ту зиму Не было покоя снам... Передо мной Чадит коптилка — Роскошь По тем тяжелым временам; Передо мной Бумаги серой стопка. Я в спальне, Под копирку, Чуть дыша,--Пишу тайком, Пишу в стихах листовку Огрызком школьного карандаша. Окно и дверь Завешены мешками, На улице патруль. Шаги скрипят. И в кухне немцы, Как на шее камень, Вповалку на полу хранят.

Рука устала. Но, склонясь на ящик, Пишу, а у духовки Мама спит. К утру б успеть! Не разбудить бы спящих. Как оглушительно Копирка шелестит!.. Успеть! Пусть навсегда Запомнят оккупанты, Что на земле на нашей Ждет их Смерть! Пускай узнают И родные люди, Что в городе у них Живет поэт!.. . . **. . . .** . . . Уснул я за полночь. А утром мама будит И говорит, Что мне тринадцать лет.

ОБЕЛИСКИ

«СВОЙ ДОБРЫЙ ВЕК МЫ ПРОЖИЛИ, КАК ЛЮДИ И — ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Когда Павел Коган писал: «...впопыхах плохие песни мы сложили о поразительных делах» — это не было излишней скромностью или литературным кокетством. Это было трезвой уверенностью знающего себе цену поэта — уверенностью в том, что лучшие песни еще впереди.

Увы, «впереди» не оказалось. Коган не вернулся из разведки, Георгий Суворов погиб на переправе, Леонид Вилкомир на штурмовике, Алексей Лебедев в подводной лодке.

Пуля или осколок оборвали песни молодых поэтов, голоса которых только-только начали набирать силу...

А так хотелось жить! В апреле сорок третьего, услышав во фронтовом лесу кукушку (настоящую, а не вражеского снайпера!), командир стрелкового взвода Владимир Чугунов по-детски обрадовался: «Хорошая народная примета: нам жить сто лет...» А в июне этого же года он уже числился в списках убитых...

Не все одинаково хорошо в этих солдатских стихах. Но в них есть главное: чувство личной ответственности за судьбу родины, точнее—неотделимости своей судьбы от судьбы России, от ее трагической и прекрасной военной судьбы.

Поэтому в разделе «Обелиски» нет пустых, вымученных, мелких стихов, хотя есть написанные более и менее сильно.

Каждое стихотворение — штрих к портрету, портрету поколения, которое называют «огненным».

«А то, что шлем прострелен у виска, то это ведь обыденное дело»,— спокойно и чуть устало роняет командир самоходки Борис Костров. Это — штрих к портрету.

«Мы двое суток лежали в снегу, никто не сказал: «Замерз, не могу» — эти строки Всеволода Багрицкого тоже штрих к портрету.

И потрясает, переворачивает душу широта и великодушие Василия Кубанева, который еще в первый, тяжелейший период войны (поэт скончался от ран в марте сорок второго) мог так сказать от имени умирающего бойца, от имени поколения:

А кончится битва — Солдат не судите чужих. Прошу, передайте: Я с ними боролся за них...

Война и доброта — понятия, казалось бы, несовместимые. Однако самое, может быть, трудное — остаться Человеком, даже пройдя жестокую школу ненависти.

Такими Людьми, Людьми с большой буквы, навсегда остались — в своих стихах и в наших сердцах — поэты-фронтовики, отдавшие свои жизни за нас с вами.

«Свой добрый век мы прожили, как люди и — для людей», — без пафоса и очень точно сказал в сорок четвертом командир взвода бронебойщиков Георгий Суворов.

Вдумайся в эти слова погибшего лейтенанта, товарищ!

Юлия Друнина

Джек Алтаузен

(Погиб под Харьковом в мае 1942 года.)

РОДИНА СМОТРЕЛА НА МЕНЯ

Я в дом вошел, темнело за окном, Скрипели ставни, ветром дверь раскрыло. Дом был оставлен, пусто было в нем, Но все о тех, кто жил здесь, говорило. Валялся пестрый мусор на полу, Мурлыкал кот на вспоротой подушке, И разноцветной грудою в углу Лежали мирно детские игрушки. Там был верблюд, и выкрашенный слон, И два утенка с длинными носами, И дед-мороз — весь запылился он, И кукла с чуть раскрытыми глазами, И даже пушка с пробкою в стволе, Свисток, что воздух оглашает звонко, А рядом в белой рамке на столе Стояла фотография ребенка...

Ребенок был с кудряшками, как лен, Из белой рамки здесь, со мною рядом, В мое лицо смотрел пытливо он Своим спокойным, ясным взглядом...

А я стоял, молчание храня.
Скрипели ставни жалобно и тонко.
И родина смотрела на меня
Глазами белокурого ребенка.
Зажав сурово автомат в руке,
Упрямым шагом вышел я из дома
Туда, где мост взрывали на реке
И где снаряды ухали знакомо.

Я шел в атаку, твердо шел туда, Где непрерывно выстрелы звучали, Чтоб на земле фашисты никогда С игрушками детей не разлучали.

Всеволод Багрицкий

(Погиб на Волховском фронте в феврале 1942 года.)

ОЖИДАНИЕ

Мы двое суток лежали в снегу. Никто не сказал: «Замерз, не могу». Видели мы — и вскипала кровь — Немцы сидели у жарких костров. Но, побеждая, надо уметь Ждать негодуя, ждать и терпеть.

По черным деревьям всходил рассвет, По черным деревьям спускалась мгла... Но тихо лежи, раз приказа нет, Минута боя еще не пришла. Слушали (таял снег в кулаке) Чужие слова, на чужом языке.

Я знаю, что каждый в эти часы Вспомнил все песни, которые знал, Вспомнил о сыне, коль дома сын, Звезды февральские пересчитал.

Ракета всплывает и сумрак рвет. Теперь не жди, товарищ! Вперед! Мы окружили их блиндажи, Мы половину взяли живьем... А ты, ефрейтор, куда бежишь?! Пуля догонит сердце твое. Кончился бой. Теперь отдохнуть, Ответить на письма... И снова в путь!

1942

Борис Богатков

(Погиб в районе Смоленск — Ельня в августе 1943 года в бою за высоту Гнездиловская.)

Все идет чредой обычной. Будничный, осенний день столичный — Славный день упорного труда. Мчат троллейбусы, гремят трамваи, Зов гудков доносится с окраин, Торопливы толпы, как всегда.

Но сегодня я прохожим в лица И на здания родной столицы С чувствами особыми гляжу, А бойцов дарю улыбкой братской — Я последний раз в одежде штатской Под военным небом прохожу!..

Леонид Вилкомир

(Погиб летом 1942 года в районе Новочеркасска, исполняя обязанности стрелка-радиста на штурмовике.)

Проходит время, и глазами Не охватить дорог, Которые прошел с друзьями По-честному, как мог.

Но самой трудной и весенней Была дорога та, Что привела на новоселье В железные места,

К подножью гор, к подножью Работы той, Которой называться можно И явью и мечтой.

Здесь, над горою, свод окрашен Огнем литья в дыму. И знаю я, что флаг над башней Кремлевской — брат ему.

Попробуй пристальней вглядеться И отличить сумей

Свою работу от наследства Отцов и матерей.

Сумей, всмотревшись хорошенько В созданьях молодых Увидеть здесь свою ступеньку, А там — друзей своих.

Своим трудом — большим

и малым —

Веду я твердый счет, Я знаю, что под флагом алым И мой пример живет.

Но даже с гор единым взглядом Не охватить дорог, Которые прошел солдатом По-честному, как мог.

1937

ЛИРИКА В БОЮ

(О Константине Герасименко)

Поэты и любители поэзии знают это имя — Константин Герасименко. До войны одна за другой успели выйти его книги «Сентябрь», «Память», «Дорога», «Портрет». Они обратили на себя внимание признанных мастеров стиха, а главное — читателей. Внимание переходило в любовь, его стихи стали частью людской жизни, вечные темы о матери, о родной земле, о природе звучали свежо, потому что свежо и самобытно звучал его певучий голос.

Позже Максим Рыльский написал о нем: «Поэт в истинном смысле слова, прирожденный поэт».

В числе первых двадцати украинских писателей Константин Герасименко отправился на фронт. Сорок первый год... Письма домой: «Вчера возвратился из поездки, о которой вспоминаю, как о сне: три раза мы попадали в полное окружение...», «Сегодня вечером у нас были Борис Горбатов и Борис Галин. Вечер прошел как-то необыкновенно... Мы собрались и пели песни. Пели украинскую — казачью, пели журналистскую — задушевную:

Погиб журналист в многодневном бою, От Буга в пути к Приднепровью, Послал перед смертью в газету свою Статью, обагренную кровью…»

Этот вечер помню и я. Было это в редакции армейской газеты «Звезда Советов», где мы встретились с Костей и работали вместе. У нас был строгий редактор, считавший поэзию, особенно лирическую, которую создавал К. Герасименко, не очень важным делом на фронте, а может быть, и совсем ненужным. Костя часто выходил из его комнаты, дрожа от ярости, и, нервно разминая пальцами папиросу, рассказывал:

— Разругались вдрызг! Не будет мне тут жизни, это ясно. Уйду в строй, буду спокойно складывать свои стихи в планшетку. Или улечу к партизанам. Что-то надо делать...

Он понимал, что в строю придется держать в руке автомат и гранату чаще, чем карандаш, но ведь стихи всегда были с ним, он мыслил о жизни стихами, он иначе не мог. Мы часто ездили вместе на передовую, коротали ночи над клочком бумаги, я писал заметки, а он, в беспощадном папиросном дыму, морща лоб, а иногда странно, грустно и тепло улыбаясь, словно стеснялся своей грусти — при всех, писал стихи. До рассвета...

Как-то мы вернулись из легендарного донецкого батальона капитана Браславца, совершившего на редкость — в те времена — удачную контратаку. Редактор потребовал от Герасименко корреспонденции. Никаких стихов! Костя «засел» за стол на несколько ночных часов. Если в комнате поднимался шум, потому что все работали, спорили, переговаривались, Костя просил:

— Не мешайте, я пишу кор-р-респонденцию!

А на следующий день, 15 сентября 1941 года, на газетной странице появились его стихи «Наш капитан Браславец». В них говорилось:

10 дней у двух донецких станций, Минами ломая тонкий лес, Шли на нас в атаку итальянцы Вместе с негодяями СС... Капитан скомандовал: «Гранаты!» И под орудийный гром и звон По почину смелого комбата Вышел в контратаку батальон... Так тогда в районе полустанка, Не страшась ни выстрелов, ни мин, Мы подбили 18 танков,

Взяли 96 машин, Захватили 8 минометов. Мы дрались все крепче, все сильней, Горы трупов вражеской пехоты Полегли за эти 10 дней...

Редактора сразила точность фактов и даже цифр. Над стихами витала тень жаркой схватки, слышалась в них звонкая радость победы. Из частей пришли вести, что газету буквально передавали из рук в руки, бойцов взволновал стихотворный репортаж. И редактор стал мягче относиться к стихам, однажды сам сказал Косте: «Ну, давайте что-нибудь и лирическое...»

Был он добрым, но упрямым, наш Костя. Был с причудами, любил свой изгрызенный мундштук, долго хлопал по карманам, пока не находил его, без этого не мог сесть писать, любил подстилать под чистый лист бумаги старую киевскую газету, которую всегда носил в кармане. Был... В октябре сорок второго года, у Черноморского побережья, во время ночной бомбежки он погиб.

А пока он жил и работал, в нашей газете все чаще появлялись его стихи. Костя преодолел не только суровость редактора к лирике на войне, но и еще одну невольную трудность. Он впервые в жизни писал порусски, без переводчика, потому что газета выходила на русском языке.

«Оказывается, что поэзия очень нужна на войне,— писал он жене,— и неправы те, кто утверждал, что «музы молчат, когда говорят пушки». Стихи были нужны воюющему человеку, когда он думал, ради чего воюет. Об этом Костя писал:

И чувствуешь тогда, как неизбежность, Как волю нашу побеждать и жить, Что рядом с гневом притаилась нежность, Которую ничем не заглушить.

Дм. Холендро

Владислав Занадворов

(Погиб в ноябре 1942 года в Сталинграде.)

РОДНОЕ

В траве по колено леса И стежки, родные для взора, И чистые, словно слеза, За желтым обрывом озера.

И кажется, дремлют они В суровые, трудные дни С вечерней зари до рассвета... По-новому смотришь на это.

И юности вечной родник, Тропа босоногого детства! Посмотришь — сливаются вмиг Удары винтовки и сердца.

Василий Кубанев

(Умер от ран в марте 1942 года в Воронеже.)

По полю прямому В атаку идут войска. Штыки холодеют, Колотится кровь у виска.

Из дальнего леса, Из темного леса — дымок. Один покачнулся, К земле прижался и лег.

— Товарищ, прости нас, Чуток полежи, погоди, Придут санитары, Они там идут, позади.

— Я знаю. Спасибо. Ребята, вот эту шинель Потом отошлите В деревню на память жене.

А кончится битва — Солдат не судите чужих. Прошу, передайте: Я с ними боролся за них.

Михаил Кульчицкий

(Погиб в декабре 1942 года.)

CAMOE TAKOE

Но если бы кто-нибудь мне сказал: сожги стихи — коммунизм начнется,— я только б терцию промолчал, я только б сердце свое слыхал, я только б не вытер сухие глаза, хоть, может, в тумане, хоть, может, согнется

плечо над огнем.

Но это нельзя. А можно —

А надо думать -

долго

мечтать

про коммуну.

только о ней,

И необходимо падать юным и — смерти подобно — медлить коней! Но не только огню сожженных тетрадок

освещать меня и дорогу мою: пулеметный огонь песню пробовать будет, конь в намете над бездной Европу разбудит, и хоть я на упадничество не падок, пусть не песня, ая упаду в бою. Но если я прекращусь в бою, не другую песню другие споют. И за то, чтоб, как в русские, в небеса французская девушка смотрела б спокойно --согласился б ни строчки в жисть

не писать...

РЯДОВОЙ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

(Новые материалы о Павле Когане)

За свою короткую жизнь Павел Коган не увидел в печати ни одного стихотворения, подписанного его именем. Творческий путь талантливого поэта, студента Литинститута, только начинался.

Ныне стихи Когана получили широкую известность. Они выпущены отдельными книгами, входят в многочисленные сборники и антологии. Не раз публиковались и письма поэта с фронта.

«В оставленном немцами селе, в разбитой школе пол на метр был устлан разорванными томами Пушкина, Гёте, Шекспира,—говорится в одном из этих писем.—Я поднял листок — Генрих Гейне подмигивал мне с портрета. Вот они, две смерти фашизма,—автоматы моих товарищей и издевательская улыбка Гейне». И в следующем письме: «В госпитале один раненый (он никогда, наверно, не читал Гёте) кричал, как Гёте перед смертью: «Свету! Свету!» И прав — в мире должно быть светло. И будет! Я никогда не знал, что так люблю жизнь…»

На фронт Павел попал в январе 1942 года, после окончания военной школы переводчиков. Он был направлен переводчиком, но сразу же попросил зачислить его в полковую разведку.

В феврале, после сильной контузии, он оказался в госпитале и только через месяц вернулся в строй.

Материалы, обнаруженные сравнительно недавно, рассказывают о последних месяцах жизни автора «Бригантины».

В июле 1942 года Павлу исполнилось 24 года. Он пишет другу: «3-го был бой, а 4-го — день моего рождения. Я шел и думал, что остаться в таком бою все равно, как еще раз родиться... Помнишь, в 39-м году мы с тобой встретили день моего рождения в самолете Москва — Симферополь. В каком веке это было?

Верст за 10 отсюда начинается край, где мы с тобой родились. Должно быть, мы умели крепко любить в юности. Я сужу об этом потому, какой лютой ненависти я научился. Я часто думаю о том, что мы первое поколение за многие тысячелетия, первое поколение евреев, имеющее свою родину. Наверно, я и люблю поэтому эту землю, как любят в первую любовь...»

Летом 1942 года гитлеровцы приступили к операции «Эдельвейс», целью которой было захват Кавказа. Войска Южного фронта с ожесточенными боями отступали на юг. Полк, в котором был Павел Коган, отходил из Новочеркасска. Командир полка приказал Павлу пробраться в батальон, который остался прикрывать отход наших войск, и передать маршрут движения.

Павел разыскал батальон и передал распоряжение уже в тот момент, когда танки немцев появились на окраине города, а пехота вышла в расположение батальона. Нужно было сдержать немцев, принять бой. Павел с бойцами засел в одном из домов и открыл огонь...

Пробились к своим, вышли к переправе через Дон. По мосту двигался поток отходящих частей нашей армии. И вдруг откуда-то сбоку вынырнуло несколько танков врага... Среди солдат, которые заставили вражеские машины повернуть назад, был и Павел Коган. За это он был представлен к медали «За отвагу».

11 сентября враг овладел Новороссийском. Но дальнейшее продвижение его в южном направлении было остановлено. Стрелковый полк, в котором был Павел, занимал оборону на цементном заводе. Его развалины были как бы приплюснуты к Черному морю и мешали немцам двигаться дальше по побережью. Они совершали по нескольку атак в день, пытаясь пробиться на юг.

В один из таких дней, 23 сентября, Павел Коган получил задание: проверить, почему были оставлены две огневые точки и пулемет (как потом

выяснилось, там никого уже не осталось в живых). С несколькими бойцами он пошел в разведку. Местность простреливалась. Немного не доходя позиций, у сопки Сахарная голова, он был убит пулей снайпера в голову.

Так погиб лейтенант 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии, поэт Павел Коган.

В своем последнем письме к другу он писал: «Родной, если со мной что-нибудь случится,— напиши обо мне, о парне, который много хотел, порядочно мог и мало сделал».

Друзья выполнили эту просьбу поэта. Их воспоминания о Павле Когане дополняют наше представление о нем.

Как-то Марк Щеглов сказал: «В поэзии есть «вечные юноши», на которых она стоит и растет...» Молодые поэты, павшие на полях сражений, принадлежат к их числу. Эти «вечные юноши» своей поэтической исповедью, самой жизнью дают нам великий пример мужества, честности и бескорыстия «мальчиков невиданной революции», юношей 41-го года.

Б. Куликов

Борис Костров

(Погиб в 1945 году при штурме крепости Крейцбург в Восточной Пруссии, командуя самоходной установкой.)

> Когда в атаке отгремит «ура», В ночи звезда скользнет по небосводу,— Мне кажется, что ты еще вчера Смотрела с моста каменного в воду.

О чем, о чем ты думала в тот миг? Какие мысли сердце полонили? Окопы. Ночь. Я ко всему привык, В разведку мы опять сейчас ходили.

Но как до счастья далеко! Река Бежит на запад по долине смело, А то, что шлем прострелен у виска, Так это ведь обыденное дело.

1944

Борис Лапин

(Погиб в сентябре 1941 года под Киевом.)

ОТЪЕЗД

Из белой ограды, задолго до дня, Я вывел гнедого коня. Железный засов на стене загремел, Полкан завопил на меня.

И я оглянулся на каменный дом С тоскливым высоким стыдом — Итак, это все, что я в жизни имел И вывез теперь на гнедом.

Осталась, быть может, и верно одна Моя молодая жена— Как ты был короток, мой мирный удел, Зато моя воля длинна. Холодное дуло винтовки блестит, Сшибаются тени копыт, Луна рассыпает свой призрачный мел На темные ветви ракит.

Вокруг — зацветающий шорох земли Да бульканье кочек вдали. И я вспоминаю о всем, что я пел, О всех, кто навеки ушли.

И мысль, что уж мне не вернуться назад, Жжет, жжет мой рассудок седой, Как давний, привычный и вяжущий яд, Разбавленный теплой водой.

Алексей Лебедев

(Погиб в ноябре 1941 года на Балтике, выполняя боевое задание на подводной лодке.)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Превыше мелочных забот Над горестями небольшими Встает немеркнущее имя, В котором жизнь и сердце — Флот!

Идти над пеной непогод, Увидеть в дальномере цели И выбрать курс, минуя мели, Мысль каждая и сердце — Флот!

В столбах огня дай полный ход, Дай устремление торпеде. Таким в боях идет к победе Моряк, чья жизнь и сердце — Флот!

Всеволод Лобода

(Погиб под городом Добеле в Прибалтике в октябре 1944 года.)

НАЧАЛО

Лес раскололся тяжело, Седой и хмурый. Под каждым деревом жерло Дышало бурей...

Стволам и людям горячо, Но мы в азарте. Кричим наводчикам: — Еще, Еще ударьте!.. Дрожит оглохшая земля. Какая сила Ручьи, и рощи, и поля Перемесила!

И вот к победе прямиком За ротой рота То по-пластунски, то бегом

Пошла пехота. Сентябрь, 1944 г.

Николай Майоров

(Погиб под Смоленском в феврале 1942 года.)

ПАМЯТНИК

Им не воздвигли мраморной плиты. На бугорке, где гроб землей накрыли, как ощущенье вечной высоты, пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано, ведь каждый небо видевший читал, когда слова высокого чекана пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был, хотя мотор и сдал на полпути, остановись, взгляни прямее в небо и надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили! Чтоб на могилу им взамен плиты, как память ими взятой высоты, их инструмент разбитый положили и лишь потом поставили цветы.

Иван Рогов

(Погиб в 1942 году.)

ПАРЕНЬ ДВАДЦАТИ ДВУХ ЛЕТ

Там, в бессонной тишине, вдали От селений, на краю земли, Где кругом огня родного нет, Там стоит он — двадцати двух лет.

Ночь идет — он не смыкает глаз, День идет — он думает о вас. Думает и ночи он, и дни, Будто в мире только вы одни.

Все дожди в волынской стороне Побывали на его спине, И пески от треснувшей земли Ветры прямо на него вели.

Но стоит он, отвергая их Именем товарищей своих. А когда к нему из-за куста Полетят, качаясь и свистя, Грузные гранаты
И во мгле
Травы станут припадать к земле,
Он тогда протянет руку — вся
Мощь земли его родной, неся
Гнев и гибель, ринется в ответ.
И стоит он — двадцати двух лет.

И стоит он, смуглый и прямой. Если выпадет вам час такой — Тень беды на сердце вам падет,— Если к вам тревога подползет, Вспомните тогда его — нигде, Никогда и никакой беде К вашей радости прохода нет Там, где парень двадцати двух лет.

1938

Георгий Суворов

(Погиб при переправе через реку Нарву в феврале 1944 года.)

Еще утрами черный дым клубится Над развороченным твоим жильем. И падает обугленная птица, Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся, Как вестники потерянной любви, Живые горы голубых акаций И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим, Что будет день — мы выпьем боль до дна, Широкий мир нам вновь раскроет двери, С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг. Последний меткий выстрел. И первый проблеск утра, как стекло. Мой милый друг, а все-таки как быстро, Как быстро наше время протекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем,— Зачем туманить грустью ясность дней,— Свой добрый век мы прожили как люди И — для людей.

Вадим Стрельченко

(Погиб летом 1942 года.)

ЧЕЛОВЕК

Мне этот человек знаком? Знаком. А как же! Часто сходимся вдвоем У радиотрубы, в дверях трамвая. Он часто молод, а порою сед. Порой в пальто, порой в шинель одет. Он все спешит, меня не замечая. Мы утром у киоска ждем газет: Ну, как в Мадриде? Жертв сегодня нет? А что китайцы — подошли к Шанхаю? А как В Полтаве ясли для детей? (О, этот семьянин и грамотей На всю планету смотрит... Я-то знаю!) Куда ни повернешься — всюду он! Его в Туркмению везет вагон, Его несет на Север в самолете. Пусть снизу океан ломает лед... Он соль достанет, примус разведет,-Как дома, приготовится к работе. Он обживется всюду и всегда. Сожженный солнцем камень, глыба льда — Все для него квартира неплохая. Где б ни был он — там вспыхнет свет... И хлеб, и чертежи, и кружка чая. А как поет он песни! Всё о том, Как водит караваны, любит дом И в облаках плывет. Сидит в Советах. Так на рояле, в хоре, на трубе Он распевает песни о себе И улыбается, как на портретах. Он толст и тонок, холост и женат, Родился сорок, двадцать лет назад. Родился в Минске, в Харькове, в Тюмени. Вот он идет по улице, гляди:

Порою только веточка сирени.
Он любит толпы людных площадей,
Стакан вина и голоса друзей,—
Такой уж он общительный мужчина...
Над буквами газетного столбца
И в зеркале моем —
Черты лица
Знакомого мне с детства гражданина.

Порою орден на его груди,

Владимир Чугунов

(Погиб под Белгородом в июне 1943 года.)

КУКУШКА

Над головою пуля просвистела, Шальная иль прицельная она? Но, как струна натянутая, пела Пронизанная ею тишина.

Меня сегодня пуля миновала, Сердцебиенье успокоив мне, И в тот же час в лесу закуковала Веселая кукушка на сосне.

Хорошая народная примета: Нам жить сто лет, напополам деля Всю ярость бурь и солнечного света, Чем так богата русская земля.

15 апреля 1943 г. Северный Дон**е**ц

Неизвестный поэт из Заксенхаузена

(Тетрадь его стихов найдена при раскопках на территории конулагеря.)

Я вернусь еще к тебе, Россия, Чтоб услышать шум твоих лесов, Чтоб увидеть реки голубые, Чтоб идти тропой моих отцов.

Не был я давно в густых дубравах И не плыл по глади русских рек, Не сидел под дубом величавым С синеокой — другом юных лет.

Но я каждый день и миг с тобою, И лишь дрема веки мне смежит, Я иду с подругой дорогою Тропкой, что у озера лежит...

Я как сын люблю тебя, Россия, Я люблю тебя еще сильней — Милые просторы голубые И безбрежность всех твоих морей!

Я вернусь еще к тебе, Россия, Чтоб услышать шум твоих лесов, Чтоб увидеть реки голубые, Чтоб идти тропой моих отцов. В сентябре 1974 года исполнилось 35 лет с того дня, как группа студентов Литературного института имени А. М. Горького добровольно ушла на финский фронт.

1939 год!..

В этом сборнике помещена старая фотография. На ней — бывшие студенты Литинститута. Те, кто вернулся с т о й войны. У всех — одинаковая форма, одинаковые шинели и подшлемники, теплые, из чистой шерсти. В первом ряду — поэт Михаил Луконин, драматург Иван Куприянов, поэт Борис Заходер; во втором — поэт Иван Бауков, прозаик Георгий Власенко, поэт Платон Воронько, прозаик Георгий Цуркин, парторг Литературного института критик Семен Хайкин. На фотографии нет нашего комсомольского вожака Тотырбека Джатиева — он в то время находился в госпитале. Нет и Сергея Наровчатова, который был в другом батальоне, со студентами ИФЛИ.

С непреходящей горечью говорю сейчас о том, что среди нас нет двух замечательных товарищей, прекрасных поэтов—Арона Копштейна и Николая Отрады-Турочкина. Осталась лишь строчка в военной сводке штаба: «Погибли при выполнении боевого задания». За несколько считанных дней до мира...

Мы похоронили их на высоком холме среди рослых сосен. А когда кончилась война и было подписано перемирие, их прах был перенесен на Советскую землю, где они и поныне лежат в братской могиле неподалеку от пограничной заставы.

Никому из нас не было и тридцати лет. Не было и творческих биографий — они только начинали складываться. Но Семен Хайкин утверждал, что война всем нам даст право говорить в полный голос о жизни, о людях фронта.

Начиная со сборного пункта в Подольске, у нас в отделении шли горячие споры о поэзии, о ее подлинном назначении. В центре наших дискуссий, консчно, были Маяковский и Блок, Есенин и Пастернак, Асеев и Сельвинский, Тычина и Светлов, добрым словом вспоминали Ярослава Смелякова... Наши споры были как бы продолжением институтских творческих семинаров.

1939 год!..

Смотрю на фотографию, и мне снова и снова вспоминаются не вернувшиеся с войны Николай Отрада и Арон Копштейн. Не потому, что мне нечего сказать о Платоне Воронько — храбром воине и замечательном поэте, —или о Михаиле Луконине, чей голос сегодня звучит весомо и мощно, о талантливом лирике Иване Баукове, об одном из интереснейших детских писателей

Борисе Заходере или осетинском романисте Тотырбеке Джатиеве... Я не говорю о живых потому, что мы сами успели что-то сказать «о времени и о себе», о своей боевой юности, о 12-м легко-лыжном батальоне. Убежден, что кое-кто из нас еще не раз вернется к этой теме.

Слова В. Маяковского — «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» — для нас были не просто поэтической строчкой, а содержанием нашей жизни.

1939 год!.. В иные ночи ртутный столбик падал до минус 45 градусов. Посты сменялись каждые полчаса. В одну из таких ночей я был разводящим.

- Стой, кто идет? окликнул меня часовой Николай Отрада.
 - Разводящий.
 - Разводящий ко мне, остальные на месте! Подхожу к нему, а он говорит:
- Очень прошу, смени меня, Иван, еще через полчаса. Смотри, какая ночь! Елки, словно мужики в зипунах. Понимаешь, Иван, стихи идут!

Я не имел права выполнить просьбу, но в самом деле, что может быть лучше, чем когда стихи идут? К тому же мы были не только солдатами, а еще и литераторами, и я скомандовал: «Кругом!»

Потом Николай прочитал нам стихи, придуманные в сорокапятиградусный мороз.

Удивительным человеком был Николай Отрада! Как-то до сих пор не хочется говорить о нем в прошедшем времени. Молодой, веснушчатый, я бы сказал — спортивный, он и впрямь был отличным спортсменом. В Сталинграде, работая на тракторном заводе, он, по словам Луконина, неплохо играл в заводской футбольной команде.

Характерной чертой его была, пожалуй, строгость. К себе, к товарищам. Он не любил лезть на глаза начальству. Не сразу вступал в дружбу. При этом был скромным до застенчивости и, как подобает солдату, честно нес нелегкую службу. Эти черты характера отчетливо сказывались в его стихах.

Арон Копштейн, наоборот, был общительным, доверчивым, быстро сходился с товарищами, умел от души радоваться каждой хорошей строке. Весь он, что называется, светился. В отличие от Николая, Арон был массивным, грузным, ничего в нем не было спортивного.

Да и на лыжи он стал впервые в Финляндии, хотя и писал:

Ворожи не ворожи, мне миленок ближе — он такие виражи делает на лыжах!

В один из свободных дней мы с Копштейном решили сходить в редакцию дивизионной газеты, установить, как говорится, живую связь. Нас охотно отпустил командир взвода. Встретили нас очень дружески, тут же появился горячий чай, бутерброды. Вспоминается: Арон, держа в одной руке кружку с горячим чаем, в другой — бутерброд, диктует машинистке, а закончив диктовать, подходит к наборной кассе и сам набирает свои стихи...

Счастливым вернулся он в родное подразделение.

— Веришь, Иван, я очень люблю запах типографской краски. Мне он напоминает о Харькове, Херсоне, о моем детстве, о первых стихах в заводских многотиражках.

В нашем полку на переднем крае был ленинградский поэт Борис Лихарев. В один из вечеров он пригласил нас с Ароном к себе в гости на чашку чаю. Борис Лихарев был командиром саперного взвода, за боевые дела награжденным орденом Красного Знамени. До поздней ночи мы проговорили о поэтах и поэзии. А перед уходом он достал из полевой сумки стихи Александра Прокофьева, присланные с Ухтинского направления, и прочитал их нам. В стихах было много юмора, мы от души хохотали.

Эту встречу мы вспомнили с Лихаревым после войны, как-то я был в Ленинграде и зашел к нему. И весь вечер проговорили про Арона Копштейна, про наши финские баталии...

Еще по дороге на фронт у нас в отделении родилась идея написать песню о лыжном батальоне, но написали ее ребята уже в блиндажах неподалеку от переднего края. В ее создании принимали участие все поэты — Платон Воронько, Николай Отрада, Михаил Луконин, Иван Бауков, Борис Заходер, но, пожалуй, самым активным был Арон Копштейн. Я не помню всю песню, помню только такие строки:

По дорогам снежным и бескрайним мы пройдем в решительном бою там, где шел товарищ Антикайнен, защищая Родину свою.

Мы увидим сквозь морозный воздух, что вокруг свободная земля. В небе светят северные звезды золотыми звездами Кремля! Пусть дороги будут каменисты, но к победе путь для нас открыт. С нами Ленин, с нами коммунисты, и звезда на знамени горит!

С каждым днем приближалось время активных боев. Наши дороги разошлись. Я был назначен в группу особого назначения, которой предстояло совершать рейды по тылам врага. Товарищи мои были переброщены в другие полки и батальоны. Мы встретились только после 13 марта, после того как было полнисано перемирие. Но среди нас уже не было ни Арона Копштейна, ни Николая Отрады. 4 марта подразделение, в котором служили Арон и Николай, проводило разведку боем. В этом бою они погибли как подлинные герои. В этом бою был ранен Джатиев. Чудом уцелел Цуркин. Но наши артиллеристы засекли все огневые точки противника, рота успешно выполнила боевое задание командования. Полк был готов к наступлению.

Гибель Арона Копштейна и Николая Отрады потрясла всех нас.

Утром у озера я встретил Семена Хайкина, впоследствии погибшего в первые дни Отечественной войны. Солнце грело по-весеннему тепло и ласково.

— Настоящие были ребята! — сказал Семен.— И поэты настоящие. Но что поделать? Нашему поколению еще предстоят огромные испытания. Надо быть готовым к ним.

Нужно ли говорить, насколько пророческими оказались эти слова?..

Вот малая толика того, что я вспоминаю сегодня, глядя на старую фотографию 1939 года.

И в а н К у п р и я н о в, бывший командир отделения литинститутовцев 12-го легко-лыжного батальона

В ТЯЖКИЙ ЧАС ЗЕМЛИ РОДНОЙ...

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ О А.Т. ТВАРДОВСКОМ

Евгений Воробьев

НА ТРЕТЬЕМ БЕЛОРУССКОМ

В конце апреля 1944 года на Третьем Белорусском фронте началась скрытная, деятельная подготовка к летнему наступлению, к операции, которая позже стала известна под названием «Багратион».

А месяцем позже «Красноармейская правда» начала печатать очередные главы поэмы «Василий Теркин». Я пришел к редактору Якову Михайловичу Фоменко с предложением написать передовую статью под заголовком «Василий Теркин». Перед тем я успел заручиться поддержкой майора Льва Хахалина, ответственного секретаря редакции.

В какой бы спешке и напряженной сутолоке ни рождался завтрашний номер газеты, в работе редактора случались «окошки» и он ухитрялся сыграть в шахматы. Шахматист он был закоренелый. Жизненный опыт научил нас, что к редактору рискованно обращаться с просьбой, когда он партию проигрывает или уже сдался. Больше шансов на успех имели те, кто просил о чем-то после редакторского выигрыша. Я терпеливо выждал подходящий момент и обратился к редактору.

Поначалу Яков Михайлович отнесся к моему предложению скептически:

— Где это видано, чтобы фронтовая газета напечатала передовую статью, посвященную литературному герою?

И здесь мне неожиданно помогла запись речи вновь прибывшего командующего фронтом генерал-полковника И. Д. Черняховского на его встрече с разведчиками, где он говорил о возвышенном духе солдат-освободителей.

- Твардовский в своем «Теркине» как раз и выразил возвышенный дух советского солдата!
- Согласен, сказал Фоменко, человек творческий, смелый и любящий литературу.

Но как говорить об освободительной миссии нашего солдата, если мы не имеем права напечатать самого слова «наступление»?

— Слова «наступление» в статье не будет, товарищ полковник. И знаете, кто мне поможет? Сам Теркин. Помните то место, где он призывает освободить родную землю?

Проигравший партнер уже нетерпеливо расставлял шахматные фигуры, надеясь взять у Фоменко реванш. Я решил не испытывать судьбу и задернул за собой дверь редакторского купе.

Передовая статья попала в бережные руки сотрудника редакции Инны Ивановны Кротовой и под заголовком «Василий Теркин» появилась 23 мая 1944 года:

«4 сентября 1942 года, когда в «Красноармейской правде» была напечатана первая глава поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», Советское Информбюро сообщало, что немцы рвутся к Сталинграду.

В тяжкий для Родины час появился Василий Теркин, труженик-солдат, с горячим сердцем, с народной сметкой и хитрецой, мастер на все руки и мечтатель, влюбленный в свою родную землю, святой и грешный русский чудочеловек.

В его непреклонной вере в победу, неиссякаемом юморе и неистощимой бодрости отразился характер русского солдата, дух народа-воина, ведущего святой и правый бой ради жизни на земле.

Таким полюбили Теркина бойцы-читатели, такой Теркин живет в землянках, пылит по фронтовым дорогам с матушкой пехотой, балагурит в походной кухие, греется у костров на привалах, мокнет под дождями, мерзнет в сугробах, эло и яростно бьет немцев и день ото дия учится бить их еще лучше.

Кто же он, наш друг, наш сослуживец, наш земляк смоленский, наш старый знакомец Василий Теркин? Где найти его? В какой роте он воюет? На какую полевую почту ему писать? Да и есть ли такой на самом деле?

Может быть, в Красной Армии и нет солдата по имени Василий Теркин. Но многие тысячи таких, как он, русских солдат, носящих другие имена, живут и воюют. Их характерные черты собрал в образе своего героя автор поэмы «Василий Теркин» поэт Александр Твардовский.

Василий Теркин — литературный герой. Его создал поэт. Но такова сила настоящего искусства, что он стал для нас, для всех читателей, живым и подлинным человеком, у которого учатся, слова которого повторяют, которому хотят подражать. Герой поэмы вошел в наш быт, как постоянный спутник, как умелый друг и советчик.

Сегодня мы начинаем печатать третью часть поэмы. Читатель вновь встречается со своим любимым героем. Вместе с читателем прошел Теркин большой и многотрудный путь войны. Он пережил горечь отступления, он сумел выстоять в самые трудные дни, он накапливал в боях мастерство, и настал день, когда он пошел

на Запад. Теркин первым входил в деревни родной освобожденной Смоленщины, из которых когда-то он уходил последним.

Третья часть поэмы рассказывает о новом этапе войны, когда завершается освобождение родной земли, когда

...от Подмосковья И от Волжского верховья — До Днепра и Заднепровья Вдаль на Запад сторона — Прежде отданная с кровью, Кровью вновь возвращена.

Вместе со всей армией вырос Василий Теркин, вместе со всей армией стремится на Запад, ощущая дыхание близкой победы. Вместе со своим читателем-воином он будет праздновать эту победу».

Ровно через месяц после памятного номера «Красноармейской правды», на рассвете 23 июня, над нашими позициями взвились две зеленые ракеты. Радисты и телефонисты стали буревестниками наступления, какого еще не знал Третий Белорусский фронт, а многострадальная белорусская земля еще не слышала такого артиллерийского грома, не знала такого землетрясения.

Ольга Кожухова

ОБЛИК ТЕРКИНА

В нашей армейской газете «За правое дело» на должности поэта — а в редакциях была и такая должность — служил Василий Глотов, невысокий, плечистый сибиряк, улыбчивый, открытый, курносый... Был он в армии знаменит своей песней о разведчике; постараюсь ее припомнить.

Василия Глотова солдаты знали в лицо, уважали его, любили его улыбку, еще не зная, что вскоре она станет известной всему Советскому Союзу, а потом и всему миру.

Мы — редакция — весной 1943 года стояли на Смоленщине, в деревне Полднево, на ро-

дине Соколова-Микитова, как я потом узнала. Рядом — Всходы, родина Исаковского. А когда двинулись вперед, когда Всходы остались далеко позади и Михаил Васильевич Исаковский на восстановление разрушенной школы отдал всю свою Государственную премию, в нашу армию прибыл поэт Александр Твардовский, чья родная деревня находилась еще по ту сторону фронта, «под немцем».

«Впереди — моя деревня. Как ты мыслишь, политрук?» — помните эти строчки из «Василия Теркина»? В те дни поэт продолжал работать над «Книгой про бойда». Наверное, он как-то по-своему видел нас — как мы сами не видели себя. Его очень привлек Василий Глотов, два поэта крепко сдружились. Вскоре по просьбе Александра Трифоновича к нам приехал художник Орест Верейский. И на бумаге появилось лицо Теркина, лицо Васи Глотова, освещенное тонким, я сказала бы — добрым умом, солдатской смекалкой, юмором, жизнестойко-

стью, молодое, но уже тронутое следами пережитого. Как знакомо оно теперь каждому читателю прославленной поэмы!

Не могу забыть, как на заболоченной пойме Сожа, где сгрудились сотни машин, орудий, танков, вдруг из какой-то полуторки, из разбитого, висящего на железных скобах кузова раздался тоже надтреснутый звук гармони — и песня: «Закури, дорогой, закури...» Хриплый, прокуренный, а может, простуженный в смоленских болотах голос грустил и грустил, повторяя такой незатейливый солдатский мотив:

...Ты сегодня до самой зари Не приляжешь, уйдешь опять В ночь сырую врага искать.

Казалось, это поет Василий Теркин — так родственна эта песня той, другой, о шинели, той, что спел сам Александр Трифонович Твар-

довский однажды у нас в редакции. Родственна потому, что автор «Теркина» и человек, воплотивший в себе черты вымышленного героя (тоже поэт!), — одинаково знали войну, мыслили и чувствовали вместе с народом, переживали все солдатские тяготы, всю беду народа.

Для меня наступление в 43-м на Смоленщине навсегда связано с «Теркиным» и Твардовским. И дожди под Починком, и долгие вечера в заброшенной деревеньке Гришине, где Александр Трифонович жил у нас, где привычной были его рослая, чуть сутуловатая фигура в гимнастерке с погонами, его русые волосы, его голос. И колдовская магия слов, от которой холод, грязь, бомбежки, временные наши неудачи, переправы через Десну или Сож — все при нас становилось предметом поэзии, ее главной сутью, ее естеством.

Юрий Гордиенко

КОСИ, КОСА, ПОКА РОСА...

Страшная в замахе своем, ходила с шелестом летящего над тобой снаряда коса Войны и обивала кровавую росу на широком прокосе. Широк был этот прокос и страшен тем, что по ту сторону его, отступая, оставлял солдат в доме у дороги родных и близких. И что с ними там — живы ли, под своим ли кровом или угнаны в чужбину, — неизвестно, да и не будет известно, пока не вернется боец с фронта, прогнав захватчиков. Да и тогда, на послевоенном пепелище своем, не всегда встретит тех, о ком думал все эти годы. Но так глубока и необратима его вера в торжество жизни, в возвращение близких, что, отложив костыль, еще прихрамывая, возьмется он за плотничий топор и на выжженной земле тюк да тюк - возведет под крышу, на месте старого, разрушенного войной, новый сруб и будет ждать, верный древнему поверью, будто срубленный для кого-то дом ускорит возвращение тех, для кого он рублен:

Коси, коса, пока роса, Роса долой — и мы домой.

Не знаю почему, среди других больших вещей Александра Твардовского, вышедших изпод его пера, поэма «Дом у дороги» особенно близка и дорога мне. Может быть, потому, что ни в какой другой поэме не сказалась так пронзительно любовь поэта к жизни во всех ее проявлениях, причастность его всему живому — от

гудящего в росной траве отяжелевшего шмеля до наших пленных солдат, идущих в сборных ротах, до рожденного в неволе мальчика, сына крестьянки, оказавшегося уже под стражей со дня своего рождения.

Может быть, близка эта поэма и потому, что место действия ее знакомо тебе и ты видел эти образцовые поместья и бараки — тоже образцовые — для батраков, русских, угнанных сюда на трудовую повинность из России, потому что сам шагал по Кенигсбергскому шоссе, уже в наступлении, преследуя врага огнем и колесами.

А может быть, и потому, что в годы войны, в доме у дороги, где-то на подступах к Восточной Пруссии, в Литве, ты встретился однажды воочью с автором этого удивительного повествования.

Да, так оно и было!

Впервые Александра Трифоновича Твардовского, тогда подполковника, я увидел на литовском хуторе, близ местечка Гришка-Буда. Местечко это запомнилось мне своей тишиной и как бы отдаленностью от войны, гремевшей гдето за околицей. Впервые после двухлетней службы орудийным номером и артиллерийским разведчиком, после сумасшедших рейсов за снарядами на «интерах» и «студебеккерах», я очутился на тихом хуторе, в расположении дивизионной газеты «Во имя Родины», куда, как бывшего журналиста, да к тому же попи-

сывающего стихи, перетянул меня с прежней службы Аркадий Сахнин, редактор.

Стояла осень сорок четвертого. Твардовский в открытом «виллисе», потрепанном, как все «виллисы» на фронте, завернул на этот хуторок, возвращаясь с передовой, из оконов Штурмовой комсомольской бригады, занимавшей позиции впереди наших артиллеристов. Уже вечерело, и Аркадий Сахнин, сопровождавший Твардовского в этой поездке, видимо, уговорил его заехать — передохнуть и перекусить. Не знаю, о чем шел у них разговор, но Сахнин, желая показать, что и наша многотиражка не лыком шита, мог упомянуть и о том, что кроме всего прочего и у него в газете есть свой поэт. Меня позвали, и я прочел своистихитого времени. Не помню, чтобы это вызвало особый восторг нашего гостя. Некие одобрительные слова, сказанные тогда, скорее относились к тому общему хорошему настроению, которое сопутствует - как я заметил по себе - людям, вернувшимся с переднего края, вышедшим из-под огня. Это чувство полноты жизни, несмотря на усталость, и оживляло беседу за столом. При довольно ярком свете коптилок из латунных орудийных гильз, которых нам, артиллеристам, было не занимать, неожиданно запомнились распахнутые и блестящие, должно быть, многое повидавшие за этот день, глаза Твардовского. Это потом они, через многомного лет, станут белесоватыми, как бы выцветшими от всего увиденного, словно ушедшими в себя, глядящими куда-то в неведомую тебе даль. Но в то время, о котором идет речь, глаза Твардовского глядели вокруг с живым интересом, булто вбирая все окружающее, булто откладывая мгновенные оттиски увиденного в кладовых памяти, про запас.

Отложился, должно быть, в намяти нашего гостя и этот хуторок, и стол с двумя латунными светильниками, и сержант, мальчишка по возрасту, в изрядно потасканной солдатской гимнастерке, туго перехваченной, для бравости, офицерским ремнем, читавший свои довольнотаки неуклюжие стихи. Потому что, спустя какое-то время после этой встречи, уже в Кибартае, на границе с Восточной Пруссией, зимой, наша полевая почта вручила мне открытку следующего содержания:

«Тов. Гордиенко! Вы включены в список участников фронтового совещания поэтов и писателей, о чем еще получите специальное извещение. Привозите новые стихи. Потолкуем обо всем здесь. Привет.

А. Твардовский».

Хранящаяся у меня до сих пор, как память об Александре Трифоновиче, открытка эта замечательна была тем, что на обороте изображен

был художником В. Горяевым не кто иной, как Василий Теркин, развернувший от плеча до плеча гармонь. А через мехи этой гармони шли печатные строки:

Праздник близок, мать-Россия, Обрати на Запад взгляд: Далеко ушел Василий, Вася Теркин — твой солдат.

Написанные по следам событий, строки эти касались каждого из нас. Ведь это мы, солдаты Белорусских фронтов, разгромив группу немецких армий «Центр», в ходе летнего наступления, через Белоруссию и Литву, вышли к границам Восточной Пруссии. Далеко ушли мы! Уже наглядно, зримо ощущалась близость нашего торжества, нашей победы. Как негативная сторона событий — по ту сторону реки, за литовскими домиками Кибартая, поднимались обугленные, задымленные остовы домов прусского города Эйдкунена. Островерхие, припорошенные снегом кровли и шпили этого города на фоне ночного неба своей призрачностью и вправду казались проявленными в негативе.

Холодом и каменной пустыней веяло на тебя среди этих руин; перекошенные и сорванные со своих мест над витринами, раскачивались под ветром начертанные готическим шрифтом вывески колбасников, и мерцали бесконечной россыпью на узких мостовых осколки стекла и хрустели под кирзовым твоим сапогом, как растоптанные елочные украшения несостоявшегося рождества.

В переулках и дворах, между свежих сугробов, еще не сплошь, не до конца засыпанные снегом, вразброс лежали трупы гитлеровцев. И грозен и широк был этот прокос войны. Только теперь уже косила наша коса...

А по бревенчатому мосту, наведенному нашими саперами прошлой ночью, шли и шли колонны машин со снарядами к переднему краю накапливался боезапас для нового зимнего наступления.

По тому же мосту, миновав мертвый город, через Кибартай и дальше в глубь Литвы, к тыловым складам, возвращались они порожняком, так что не составляло труда с такой попутной машиной добраться хоть до Каунаса.

Именно туда, в Каунас, и предписывал явиться мне в самый канун Нового года упомянутый в открытке Твардовского официальный вызов на совещание поэтов и писателей Третьего Белорусского фронта.

И вот обмундированный с миру по нитке (кто дал новую гимнастерку, кто — сапоги новые, кто — свежие погоны), налегке, затянутый в не положенную мне по чину портупею, с попутной машиной, добрался я наконец до го-

рода на Немане, по нашим фронтовым понятиям жившего уже почти мирной жизнью.

Совещание писателей Третьего Белорусского фронта собрано было газетой «Красноармейская правда», на страницах которой каждый из нас, участников, успел уже до этого опубликовать стихи, рассказ или очерк.

Совещание это собралось и проходило в большом пустоватом зале с обшарпанными стенами и наспех составленными, как в сельском клубе, скамьями. Так же просты и непритязательны были стол президиума с красной кумачовой скатеркой и фанерный ящик докладчика. Но было электричество — настоящее, городское. Была, обрадованная передышкой и всей этой необычной для нас мирной обстановкой, молодая товарищеская компания, разместившаяся общежитием тут же, в соседних, тоже пустых, комнатах. И было, тщетно скрываемое напускным равнодущием, нетерпеливое желание услышать о своих писаниях слово старшего летами, званием и опытом товарища. Докладчиков,как я узнал теперь, порывшись в старых подшивках, --было три. Но в те дни мне, по тогдашнему моему молодому эгоизму, запомнился, разумеется, один доклад, а именно тот, в котором шла речь о моих стихах, - доклад Тварповского «Фронтовая поэзия». Впрочем, не только мне — каждому из поэтов казалось, что доклад был о нем, что похвалили именно его стихи. Это стало ясно из туманных, по скромности, заявлений участников совещания после доклада, когда мы собрались в нашем общежитии, накоротке. Еще яснее читалось это по сияющим лицам поэтов. Особенно повезло Борису Карпенко. Похвала Твардовского его стихотворению «Лось» — и с этим согласились все была особенно убедительной. Стихотворение действительно было необычным. В нем рассказывалось о том, как два солдата в чаще прифронтового леса наткнулись на лося, не услышавшего, не почуявшего их приближения:

Здесь тропы тайные и все дороги Покрыла мхом седеющим земля. Припав к ручью, расставив прочно ноги, Он жадно пил, ноздрями шевеля...

Солдат, от лица которого ведется повествование, вскидывает автомат, но его напарник — снайпер — останавливает своего товарища. Ему, еще вчера из засады хладнокровно бравшему на мушку каждого оплошавшего гитлеровца, жаль убивать зверя. И вот уже оба — тот, что остановил непужный выстрел, и другой, опустивший оружие, — оба, сдерживая дыхание, любуются первозданной мощью и красотой, горячим током самой жизни, струящейся, пульсирующей в каждой жилке лесного великана. Наглядевшись и дав напиться, сол-

даты вспугивают его тихим свистом, и лось, прянув, срывается с места, чтобы исчезнуть, растаять, как видение, в предутренней дымке.

И деревцем безлистым пролетали В туман его ветвистые рога...

Чтобы понять необычность для нас этого стихотворения, так высоко оцененного тогда Твардовским, нынепінему читателю необходимо знать, когда и в какой обстановке были написаны эти стихи.

А написаны они были тогда, когда мы впервые вступили в логово врага, в логово зверя — как тогда говорили и писали, — в дни возмездия гитлеровцам за все, что совершили они во время оккупации на нашей, попранной их нашествием, земле, в дни великого и понятного каждому ожесточения. Стихотворение казалось необычным своей добротой, человечностью. Оно не то возвращало к довоенному времени, не то уводило в послевоенное.

Мы забывали о пощаде и жалости. Твардовский помнил. Помнил о завтрашнем дне, о возвращении — и скором уже — к мирному труду, к земле, к саду, к семье, к детям, когда особенно нужна будет доброта к лесному зверю и птахе, не говоря уже о человеке...

Коси, коса, пока роса, Роса долой — и мы домой...

Совещание писателей, длившееся несколько дней, закончилось, и мы разъехались по своим «хозяйствам». Началось последнее для нас на Западе наступление, и догонять своих пришлось на попутных машинах уже где-то под Инстербургом. Война подходила к концу, так что вновь увидеть Александра Трифоновича Твардовского довелось мпе уже в послевоенное время.

Известно, как важны первые шаги на литературном поприще, как окрыляет, заставляет работать первая похвала умудренного годами, мастерством и опытом художника, его доверие.

В напу последнюю встречу на фронте Твардовский был подполковником, я — сержантом. Это соотношение или дистанция оставались и позже — в литературе. Но, будучи старшим товарищем, он умел ободрить, поддержать, продвинуть — разумеется, когда видел, что в ранце сержанта припрятан до поры если не жезл маршала, то, во всяком случае, все же какой-то жезл!

Так было со многими моими сверстниками. Так было со мной. После Победы и демобилизации, из Сибири, я послал Твардовскому свою первую книжку стихов «Звезды на касках» и в ответ получил такое письмецо:

«Спасибо за книжечку. Я ее просмотрел — она производит хорошее впечатление.

Почему Вы вдруг очутились в Новосибирске?

Что делаете там, что пишете? Привет!

А. Твардовский».

Тогда же в адрес Новосибирского отделения Союза писателей на мое имя пришла телеграмма Платона Воронько, из комиссии по работе с молодыми писателями, председателем которой в то время, кстати сказать, был А. Т. Твардовский. В телеграмме говорилось о том, что я зачислен в Литературный институт имени Горького, на Тверском бульваре, куда и должен прибыть к началу учебного года.

Жилось тогда скудно, и писатели-сибиряки, войдя в мое положение и расщедрившись, выделили мне из казенных фондов ордер на ботинки и пятьсот рублей теми, еще дореформенными деньгами, с чем я и отбыл в столицу.

В Москве, на улице Воровского, в Союзе писателей, я сразу же отыскал Платона Воронько. Больше того, все как-то так удачно и даже превосходно складывалось, что тут же я увидел и Александра Трифоновича, впервые в штатском.

Твардовский, как упоминалось уже, кроме всех прочих дел по Союзу ведал еще и комиссией по работе с молодыми писателями. В основном это было поколение пришедших с войны. Так что под штатской одеждой у всех у нас колотились еще солдатские сердца. Всего два года отделяло нас от победного салюта. Война оставалась главной темой наших писаний. Мы еще не по конца простились с павшими товарищами, не вполне осмыслили минувшие события. И было лаже как-то неловко, что автор «Дома у дороги», «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война...» и других, еще не написанных, еще ожидавшихся нами стихов, что Твардовский столько времени, урывая у себя, тратит на нас, молодых. Но, видимо, он считал это нуж-

Вот и на этот раз предстояло обсуждение рукописи, присланной начинающим автором. И поскольку я в глазах комиссии наглядно олицетворял эту самую «молодую поросль», да к тому же явился, как нарочно, к самому началу обсуждения, меня пригласили принять в нем участие.

Из моих скороспелых записок может показаться, что Александр Трифонович был эдаким опекуном молодых да начинающих, только и делал, что хвалил, вызывал в Москву, рекомендовал журналам и издательствам. Отнюдь нет. Суровее пастыря в деле поэзии я не знал. Более жестокого редакторского карандаша, пожалуй, и не было. И недаром требовательность его многими считалась чрезмерной. Довелось эту жестокость почувствовать и мне и, может быть, больше, чем другим, потому что мои рукописи попадались ему под руку чаще, пожалуй, чем рукописи других, слишком боявшихся его суждений и не желавших рисковать своей репутацией, прочно установившейся в иных местах, у иных редакторов. Говорилось и о его пристрастиях, которые конечно же были. Но суждения Твардовского-редактора в конечном счете диктовались не личными пристрастиями, а подлинно высокой заботой о судьбах поэзии, о ее чистоте, незахламленности. Для него в стихах не существовало мелочей. Существенным было буквально каждое слово.

Немало всяческих и разных словесных «мелочей» встречалось, кстати сказать, и в рукописи, на обсуждение которой я неожиданно для себя попал в день приезда в Москву из Сибири.

Кроме Тварловского и Платона Воронько были еще и критики, фамилии которых за минувшие с тех пор годы как-то расплылись в памяти и выветрились. Отчетливо помню, однако, что начинающему деревенскому поэту досталосьтаки от них на орехи. Поэт, писавший на сельскую тему, нарочито коверкал слова, подгонял их, как ему казалось, «под народный говор». Были в его стихах и «березонька белоствольная», и «девоня-чернавка», и, очевидно, казавшиеся автору очень свежими и емкими такие находки, как «заплачки», «новоледье», лисица у него смотрела «в сугробную щелку», а сам он любил «по веселой пройтиться земле», вдыхая «родимый запах торфа и навоза». Очень злоупотреблял поэт и окончаниями па «во», рифмуя, к примеру, слова «покудово» и «худово».

В лице Твардовского, когда он поднял глаза от рукописи, промелькнуло, как мне показалось, нечто озорное. Заключая обсуждение и как бы сразу снимая сугубую серьезность и удручавшую самих критиков суровость суждений о деревенском подававшем надежды поэте, Твардовский выразил свое отношение к псевдонародности в двух, вызвавших общий смех, словах:

— Худово покудово!

Его строгость к себе и другим проистекала, как мне кажется, из чувства ответственности — неизбывной и вечной — перед мертвыми, павшими на войне. Все написанное он как бы отдавал на их суд, строже и безапелляционнее которого не было и не могло быть. Высшая эта инстанция не потерпела бы ни формальных ухищрений, скрывающих пустоту души, ни словесной эквилибристики, обличающей скудость мысли, ни ложного пафоса или неискренности, ни даже полуправды. Незримые судьи эти требовали от художника отдаться своему делу безоглядно.

Никаких обстоятельств, смягчающих отступничество в слове, не могло быть, как не существовало оправдания отступничеству в бою на той войне, с которой они не вернулись. Это чувство фронтового братства жило во многих из нас, но, думаю, ни в ком так остро, как в Твардовском. Эхо артиллерийских залнов все еще докатывалось до нас и звучало под сводами дубового зала в Доме литераторов, в аудиториях и студенческих общежитиях, в пассажирских поездах, в пути — всюду, где читались фронтовые стихи старым друзьям и первому встречному. Мы еще возвращались с войны и не могли вернуться...

В скором поезде, удобства которого все еще сравнивались невольно с бытом теплушки из эшелонов военного времени, ехал я в свою первую творческую командировку в Винницу. В Киеве, куда наш состав прибыл утром, выяснилось, что поезд на Винницу уходит вечером.

Побродив по городу, поглазев на воздетую булаву сидевшего в седле бронзового Богдана Хмельницкого, я зашел в киевский Дом литераторов и там случайно, от партнера по бильярду, оказавшегося известным прозаиком, узнал, что Твардовский в Киеве. Мы тут же решили пойти к нему в гостиницу.

И снова, как в мой первый приезд в Москву, все складывалось так удачно и даже превосходно, что, поднявшись в номер к Твардовскому, мы застали его у себя; к тому же он был один, не занят и довольно радушно приветил нас. Между прочим, Александр Трифонович любил это слово «приветить» и нередко употреблял его в письмах.

Войдя в номер, мы поняли, что Твардовский занимает его не один — с соседом, что было не удивительно, поскольку через день-два ожидались торжества по случаю тридцатилетия Советской Украины и гости прибывали отовсюду и в немалом числе. Приходилось потесниться.

Удивило и осталось в памяти другое. На спинку одного из стульев был наброшен выходной костюм нашего хозяина, на спинку другого — китель полковника Воздушных Сил, соседа, так же отглаженный, приготовленный для выхода. На штатском костюме золотились в ряд три лауреатские медали, на военном — три Звезды Героя Советского Союза. Расположенные близко, почти рядом, костюмы эти не то чтобы соперничали, но равно соседствовали друг с другом. Удивительно и прекрасно было то, что под общим кровом сошлись как былва мастера своего дела, два аса, владевшие — один небом поэзии, другой — фронтовым небом, оба Александры — Александр Твардовский Александр Покрышкин, кстати, сибиряк, уроженец Новосибирска. Вскоре Покрышкин и сам появился в номере и присоединился к общей компании, значительно увеличившейся с приходом Андрея Малышко и других украинских писателей.

Не только я, но и остальные — что было заметно по перехваченным мною взглядам — обратили вимание на это, так шедшее обоим, соседство. И хотя регалии и звания не всегда соответствуют трудам, подвигам и величию человеческого духа, тут не было сомнения в соответствии. Это радовало и вселяло гордость, особенно за нашего хозяипа — мастера, ибо главенство в компании принадлежало ему, а мы принадлежали к его цеху, к цеху поэтов.

Андрей Малышко принес рукопись только что завершенного перевода на украинский язык поэмы Твардовского «Дом у дороги», чтобы познакомить автора со своей работой...

Нет, воистину война, хотя и стала нашим прошлым, все еще шла за нами по пятам и не хотела отстать.

Едва успели гости освоиться, Твардовский распорядиться об угощении, а Малышко развернуть рукопись и приступить к чтению своего перевода, как послышался стук в дверь и в комнате явилось новое, судя по всему важное, лицо.

В молодости внимание наше бывает острым и цепким даже к малозначительным, казалось бы, деталям. Так что вошедший помнится мне до сих пор со всеми подробностями. Прежде всего бросились в глаза его черные, с квадратными носами, блестящие ботинки; костюм тоже был строгим, черным, с широкими плечами. Вообще весь он казался чрезвычайно устойчивым и как бы квадратным.

Александр Трифонович пошел ему навстречу, а мы, чувствуя некоторую напряженность и внутренне и внешне подтянувшись, незаметно для себя выстроились шеренгой у стены строем, вдоль которого, сопровождаемый нашим хозяином, и шел, останавливаясь и пожимая руки, высокий гость. Твардовский, представляя нас, называл фамилии. И опять меня да и других, наверное, — порадовала и ободрила внутренняя стойкость, независимость и даже как бы обособленность нашего хозяина от суетности минуты; он ни в чем не изменил себе, ни в осанке, ни в голосе, ни в словах, с которыми обращался к новому гостю, ни в ответах на его довольно поверхностные, впрочем, вопросы. В Твардовском как бы олицетворилась в эти мгновения сама русская литература, русская поэзия, с ее традициями стоять распрямившись и говорить нелицеприятными, прямыми словами...

Высокий гость отбыл. И мы, рассынавшись из шеренги по комнате, вернулись к рукописи Малышко, снова развернутой для чтения. Тут, кстати, подоспело угощение, еще более оживившее всю компанию.

Поэзия перевода была высокой и вызвала одобрение многих, в том числе самого автора. Не только метрика и крепость стиха, но и образы, и детали, хотя и несколько измененные в украинской трактовке, соответствовали оригиналу и трогали необыкновенно. И снова мы возвращались к войне, к ее началу:

Малышко читал по-украински:

Коси, коса, поки роса, Зіб'ем росу — клади косу. І сад ловив тонку луну, А з пятки й до носочка, Підмивши збитош трав'яну, Текли роси струмочки...

И для сравнения — по-русски, в оригинале, опустив рукопись, на память:

Коси, коса, пока роса, Роса долой — и мы домой. Таков завет, и звук таков, И по косе вдоль жала, Смывая мелочь лепестков, Роса ручьем бежала...

Слушая тогда эти и другие строки из «Дома у дороги», мы еще не знали, что в душе Твардовского роились уже новые, послевоенные образы, зрел замысел и складывался план другой, с иными пространствами, с иным рефреном, с иными человеческими судьбами, поэмы. Но поскольку эти воспоминания мои относятся к событиям фронтовых и примыкавших к ним первых послевоенных лет, я ограничусь в них лишь временем создания и выхода в свет «Дома у дороги». не касаясь поэмы «За далью — даль».

Кстати, Даль Владимир Иванович в Толковом своем словаре живого великорусского языка приводит пословицу, ставшую рефреном и так углубившую и расширившую течение поэмы Твардовского «Дом у дороги», в несколько иной редакции. У Даля пословица звучит так:

«Коси, коса, пока роса, Роса долой, и ты домой!»

Лишь особое озарение могло подсказать художнику эту незначительную на первый взгляд замену местоимений. Бытовой, ограниченный крестьянским двором смысл ее раздвинулся необыкновенно. Теперь она выражала надежды и чаяния огромного количества людей, не только угнанных на чужбину или эвакуированных в тыл, но и занятых ратным трудом на тысяче-

верстных фронтах. Это «мы», поставленное поэтом в строку вместо «ты», явилось широчайшим обобщением человеческих судеб на войне. Теперь художник говорил не от себя, как ни велика и значительна его личность, но от лица народа.

Мне довелось не раз и позже бывать около Твардовского — в московском Доме литераторов, в столичной гостинице «Москва», у Расула Гамзатова, поэзию которого он уважал, в квартире Алексея Фатьянова, у которого, живя по соседству, он часто бывал в пятидесятые годы.

В последний раз я видел Твардовского в его кабинете, в редакции «Нового мира», на Пушкинской. Он поднялся навстречу и приветил меня радушнее прежнего. Печать усталости лежала на его лице, и нечто старческое было уже в морщинках по углам губ. Светлее обычного, как бы выцветшими от виденного, были его и всегда-то не густого, а как бы рассеянного цвета глаза. Посветлела еще больше и проредилась седина, раньше как-то и не замечаемая вовсе.

Речь шла о моей сибирской поэме «Там, за большим перевалом», две главы из которой, «Босую власть» и «Мотькин пихтач», он одобрил. В остальных главах остались его пометы.

Он спросил меня о моей жизни и делах. Я сказал, в осуждение себе, что много перевожу. Но он возразил, утверждая, что писатель должен работать в разных жанрах и видах литературного труда, не только в поэзии и прозе, но и в переводе, и в очерке.

— Как говорил старик Маршак, хозяйство наше должно быть многопольным...

И задумался.

Может быть, слово это, отпочковавшееся от емкого, связанного с крестьянскими работами и ратным трудом слова «поле», напомнило ему о полях сражений минувшей войны, а может быть о вспаханных плугом или колосящихся хлебами десятинах его детства и юности, на Смоленщине, в Загорье, среди косогоров, березовых перелесков и лугового разнотравья — на земле отцов и дедов...

Щедрым и высоким в лугах России был покос его жизни, его поэзии.

> Коси, коса, пока роса, Роса долой — и мы домой.

Семен Кирсанов

(1906 - 1972)

1

Десять лет назад наши сыновья ходили в один детский сад. Кирсанову тогда было больше лет, чем мне сейчас. И общие интересы на почве детского сада были случайной, первой, но не единственной причиной нашего сближения, которое быстро вылилось в дружеское общение.

Для меня Кирсанов существовал всегда, с той поры, сколько я себя помню. На фронте попадались его стихи, напечатанные в газетах, с неба сыпались листовки, принося в окопы «Доброе слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата». Я был солдатом, и это слово было мне необходимо.

Мог ли я тогда думать, что когда-нибудь встречусь с Кирсановым, буду беседовать с ним, бывать у него дома и принимать его у себя? К тому времени я увидел лишь одного живого поэта — Марка Соболя, и то только потому, что он был сержантом, сапером да к тому же моим однополчанином.

Кирсанов и на седьмом десятке лет был молод, задорен, подвижен, ершист. Он бурлил, кипел, петушился. Его энергия была изобретательна и неудержима. В то время уже был создан реактор, позволяющий направить энергию атома в нужном направлении. Реактор своей души Кирсанов создавал всю жизнь. В эти годы он был уже давно и безнадежно болен. И он знал об этом. Он торопился высказаться, выплеснуться и много писал.

Каждое его новое произведение было по-кирсановски неожиданным, будь то венок сонетов «Весть о мире», или стихотворение «Ад», написанное в форме ромба, или «Лесной перевертень» — стихотворение, которое одинаково читается и слева направо и справа налево. Или полные чувства, лиризма, философской мысли, фантастики поэмы «Зеркала» и «Дельфиниада».

«Дельфиниаду» я подсмотрел на его рабочем столе. Стол был с размахом. На таком столе и словам не тесно и мыслям просторно. Кирсанов очень волновался за ес судьбу. Казалось бы, Кирсанову-то что волноваться! Но, передавая мне поэму, он просил никому ее не показывать, если я не буду стопроцентно убежден, что ее следует печа-

Наверное, о «Дельфинпаде» можно спорить. Конечно, дельфины — это не людп, которые во время всемирного потопа были залиты водой и по фатальной необходимости приспособились к жизни в водной стихии. Это сказка. Но какая прекраспая! У Кирсанова много спорного, почти все. Бесспорно только одно: Кирсанов есть Кирсанов. О нем говорили, что сам он в спорах нетерпим и безапелляционен. Как же безапелляционен, нетерпим к чужому мпению, если тогда так переживал за поэму: вдруг не понравится.

Кирсанов не всегда был таким, каким он мог показаться. Он выглядел неуязвимым, а был легко раним. Постороннему взгляду казался здоровым, а был смертельно болен.

От формы стиха до, как говорят в армии, формы одежды все у него было свое, особое, кирсановское. Чей взгляд скользил по поверхности, тот отмечал буйство красок его костюма, яркость галстука, походку гоголем, стремительность движений, резкость жестов, громкость голоса, гром. Был гром, но «гром, в котором есть сердцебиенье!».

В последние годы, месяцы и даже дни своей жизни Кирсанов написал много прекрасных стихотворений. Вспомните его предсмертное заклинание: «Смерти больше нет!..»

Применительно к его поэзни это звучит пророчески. Его стихи, его слова работают на людей, как будто он и впрямь заговорил слова своими «Заговорными стихами»:

Поработайте, слова, на людей! Чтоб не никла голова, как осенняя трава, ни в какой беде, поработайте, слова, на людей.

В архиве поэта осталось много неопубликованных стихов разных лет. Сегодня, накануве 30-летия Победы, мы предлагаем читателю два стихотворения Семена Кирсанова, написанных в дни войны.

Александр Николаев

СИМФОНИЯ

Из музыки, из всех ее сокровищ, из раковин природно-звуковых. из всех громов, что мог бы Шостакович взять от ударных, струнных, духовых,

из тысячи согласий и созвучий бесчисленных симфоний и сюит — в душе людей симфонией могучей сегодня эта музыка стоит.

Сам Ленинград ее исполнил. Воздух оцепенся. Эфир передавал, как шел по небу, задевая звезды, доледниковых ледников обвал.

Казанского собора колоннада сошлась под свод — укрыться от грозы. Как записать тебя, о канонада, твои верхи и грозные низы?

Сама планета стала барабаном, гранит и то литаврами крошат!

МЕДАЛЬ

Босц лежал в траве примятой, в знобящей сырости рассвета. фашистский танк разбив гранатой, он не считал, что подвиг это.

Он в гуле вспышек красноватых слыхал приказ — отбить атаку, и командир ему на ватник медаль привесил «За отвагу».

С кружком серебряным на сердце боец решил, что сделал мало,

В симфонию вступил Ораниенбаум, по Пулкову настроился Кронштадт.

Раскат к раскату и снаряд к снаряду все выше, громче, яростней, грозней! О, музыка, прорвавшая осаду, в атаку как не кинуться за ней?

О, вдохновенье бури наступленья! Дрожание взволнованных торцов! О, гром, в котором есть сердцебиенье бойцов, великой музыки творцов!

Звучи, звучи звучи невыносимо для тех, кто окровавил нашу жизнь, и в грудь врага, и ни на волос мимо, железная мелодия, вжужжись!

Цепляйтесь, ноты бури, за канаты! Пока не поздно — сесть и записать! Мечтают у роялей музыканты уметь так побеждать, так потрясать!

Ленинград, дни прорыва блокады.

решив, пополз навстречу смерти к фонтанам огненного вала.

Что держит он в ладонях потных и почему горят машины, как он свершил солдатский подвиг такой цены, такой вершины?

Мы слышали раскаты грома, мы вспышки дымные видали, и равной подвигу такому на свете нет еще медали.

1942

Алексей Недогонов

(1914 - 1948)

19 октября этого года лауреату Государственной премии СССР Алексею Недогонову исполнилось бы 60 лет.

При жизни Недогонова отдельными изданиями выходила только его поэма «Флаг над сельсоветом» (спачала — в Библиотеке «Огонек», затем — в Костромском областном издательстве). За 26 лет, прошедших со дия смерти поэта (13 марта 1948 года), вышло 15 сборников его стихов. И стало ясно, что Недогонов — удивительное явление в нашей поэзии, что его талант — немеркиущий.

Отмечая 60-летие со дня рождения Алексея Ивановича Недогонова, мы публикуем в этом выпуске «Дия поэзии» два стих отворения поэта, в свое время печатавшихся, но «затерявшихся» на страницах газет и поэтому не включавшихся ни в один из пятнадцати сборников его стихов.

Стихи подготовлены к нечати Константином Поздняевым.

ЧЕЛОВЕК *

Красноармеец в поле умирал, он мутными глазами озирал кусок земли, где две руки его лежали чуть поодаль от него.

Гул нарастал. Под натиском врага подразделенье отошло назад. Красноармейца мертвая рука по-прежнему сжимала автомат.

К бойцу в тот миг сознание пришло. И он решил оружье в руки взять. Почувствовал, что тронул, но поднять свой автомат не смог он, как назло.

Не верилось, что он не будет жить, умрет — и долг он не исполнит свой: в нем каждый нерв играет, как живой, и то, что он без рук,— не может быть!

Не может быть, что он сейчас умрет, что кровь до капли вытечет в траву. Он выживет! Он проползет вперед! В мужские руки автомат возьмет! И это не в бреду, а наяву!..

Он стал ползти под пулями — сквозь ад...

Как сердце колотилось у виска!

Дополз. И видит — мертвая рука, его рука сжимает автомат...

Враги лежали мертвые вокруг. И автоматчик улыбнулся вдруг. Красив он и величественен был. Пред тем, как впасть мгновенно в забытье, поцеловал оружие свое. И тихо умер, и глаза закрыл...

...Не нынче-завтра кончится война: раскаты боя сменит тишина, и где-нибудь в селенье под Москвой усталый воин встретится с женой.

Какая встреча! Под вечер к нему нахлынут постаревшие друзья. Он будет молчалив в своем дому. И я хочу, чтоб этот ОН был Я.

Друзья о мертвецах заговорят. Мой друг начнет о брате вспоминать:
— Эх, если б знать, какую смерть мой брат нашел в бою?!

Ему не нужно знать!

И вдруг я вспомню крови черноту, обрубок тела... Мне невмоготу...

— Окно откроем — что-то сердцу жарко!..

ТАНКИСТЫ *

Герои боев — водители, башенные стрелки, вас мы в сраженьях видели у Волги — большой реки.

Бесстрашны, сильны, напористы, в громе, в дыму, в пыли, на самой стремительной скорости вы через битвы шли!

Вашей отваги стяги добрый Белград хранит, на постаменте в Праге челябинский танк стоит.

Горды мы, что силой воли убили вы зло земли. Вдоль танковых вмятин в поле зерна побед легли.

Храните ж страны просторы, Родины рубежи!..

Мы славим наши моторы, спасшие жизнь, которой комбайном гудеть во ржи...

Павел Шубин

(1914 - 1951)

Некоторое время назад, составляя книгу стихов поэта-сибиряка Георгия Суворова, погибшего под Ленинградом, я оказался в нарвском городском музее. Там я обнаружил полевую сумку поэта-воина. В ней, скрученные в рулон, лежали узкие и длинные, как солдатские обмотки, ленты газетной бумаги. Так называемый «срыв» с газетного рулона. На этих листах-обмотках Суворов писал стихи. Одни из них были написаны простым илп синим, «командирским», карандашом, другие — зелеными чернилами. Все — одним, еще не устоявшимся, однако имеющим свою. какую-то трудно уловимую, но ясно проступающую особенность, почерком. Этих слипшихся друг с другом листов-обмоток было много. Несколько десятков.

Среди них я обнаружил листки иного формата, исписанные другим, не принадлежащим Г. Суворову, почерком. Таких листков было семь. Один из них оказался стихотворным посланием тоже молодого тогда поэта, воевавшего под Ленинградом, Сергея Наровчатова «Утро на Неве». Стихотворение это я передал его автору, и оно вскоре было опубликовано в одном из предыдущих выпусков московского «Дня поэзии».

Шесть остальных листов были исписаны другим почерком, не похожим ин на почерк Г. Суворова, ни на почерк С. Наровчатова. На двух последних листках я обнаружил подпись: «Павел Шубин». На листках были написаны стихи «Из сердца в сердце»,

«У-2», «В прорыв», «Верность», «О единственной» и «У истоков легенды».

Как попали опи в полевую сумку Георгия Суворова? Очевидно, так же, как и стихотворение С. Наровчатова,— с письмом, послапным Г. Суворову под Ленинград с Кольского полуострова, где тогда воевал Павел Шубин. Он, как и С. Наровчатов, на каком-то этапе войны познакомился— скорее всего заочно— с молодым поэтом-воином Г. Суворовым, который время от времени публиковался в газетах Ленинградского фронта, и вступил с ним в переписку. Очевидно, по просьбе Г. Суворова он и прислал ему с одним из писем названные стихи. Писем Павла Шубина я в полевой сумке Г. Су-

ворова не нашел, а стихи его переписал.

Сличив эти стихи с вышедшими во время и после войны книгами Павла Шубина, а также с публикациями, появившимися после его смерти, я обнаружил, что все они, кроме стихотворения «У истоков легенды», были впоследствии опубликованы. Мне кажется целесообразным познакомить со стихотворением «У истоков легенды» читателей «Дня поэзии». Тем более что оно представляется мне интересным с нескольких точек зрения. Во-первых, оно принадлежит перу одного из напболее талантливых поэтов, заявивших о себе на рубеже тридцатых и сороковых годов. Во-вторых, оно характеризует фронтовую работу этого поэта, работу — несмотря на трудности фронтовой жизни — добросовестную и даже взыскательную, что вполне подтверждается этим стихотворением. И, в-третьих, стихотворение это примечательно тем, что в нем, как видно, запечатлен конкретный подвиг конкретного исторического лица, воина-казаха, рядового Эрджигитова, повторившего на северном фланге нашего необъятного фронта подвиг русского солдата Александра Матросова.

Леонид Решетников

У ИСТОКОВ ЛЕГЕНДЫ

...Тогда рядовой Эрджигитов телом своим закрыл амбразуру немецкого дзота.

«Фронтовая правда», 13-X-43 г.

Огонь пред тобой, Эрджигитов, Друзья пред тобой молодые. И рощи — в стальной круговерти, И куст облетает ракитов. Ни поля, ни друга не выдав, Ни русские рощи святые, Навстречу победе и смерти Поднялся Туйги Эрджигитов.

Века пред тобой, Эрджигитов, Часы за тобой— прожитые. И вечны мгновения эти Пред логовом злобных бандитов, Когда заворчали сердито Свинцовые струи крутые, Когда ты гасил их в предсердьи, В горячей крови, Эрджигитов!

Россия с тобой, Эрджигитов; Леса за тобой — золотые, И розова даль на рассвете, И губчатый мох — малахитов, И поле, что дымом повито, Уходит в туманы седые, К бессмертной и чистой легенде О славе твоей, Эрджигитов!

Василий Кулемин

(1921 - 1962)

Тогда еще не было сложено несни о мгновениях-пулях, пролетающих у виска. Но он говорил о них...

Уголок вечного города на Неве у квартиры Пушкина пощадило время. Та же брусчатка — под ногами, а свет старинных фонарей отблесками в черной Мойке. Словно кто-то брызнул на нефть расплавленным золотом.

Мы выходим из музея. Мокрый снег бьет по лицу. А Василий Кулемин, еще пере-

живая увиденное, не застегивает пальто. Останавливается у решетки.

-- Вроде бы ничего и не произошло. А я, знаешь, счастлив. Как в гостях у Александра Сергеевича побывал. В жизни больше трудного, - неожиданно ход его размышлепий изменился. — Но, наверное, самые трудные мгновения и есть самые счастливые... Но много ли их насчитаешь!..

У Василия Кулемина были счастливые мгновения.

Когда стоял насмерть черный, обуглившийся Севастополь, а он писал стихи и репортажи о его защитниках.

Когда мы прилетали, как корреспонденты «Комсомольской правды», на стройки, ко-

торые иначе не назовешь — подвиг!.. И даже там, у смертной черты, были они, эти мгновения: творчество — счастье, а Василий не мог не знать, лежа в больнице, где ломал его, как черное небо, неожиданно подкравшийся недуг. Василий не мог не знать, что созданное им в эти часы и дни, пожалуй, лучшее, вышедшее из-под его пера. Но если есть у человека такие звездные часы,— значит, жизпь прожита не даром.

Он оставил нам несколько книжек нежных и мужественных стихов. И еще — пример самоотречения: драться на своем посту до последней минуты.

Стихи всегда были завещанием живым.

Если это — настоящие стихи.

Анатолий Елкин

Есть у меня два сына — Два упругих крыла. Два будущих человека Продолжат мои дела.

Бьются два маленьких серпна: Слышу их, как обниму. И мое бьется уверенней --Втроем хорошо ему!

Они обо всем расспрашивают, Им все интересно во мне. Подскажет маленький Саша: Расскажи, как был на войне...

И я опять рассказываю О давних своих делах, Как подрывал штольни, Во вражеских был тылах...

Конечно, во всех рассказах Моя — лишь частица дел, Но мне перед ними не стыдно Сказать, что и я был смел.

Мне перед ними не стыдно Себя показать наяву:

Ведь я же за много жизней Мучаюсь и живу...

И если я что-то придумаю, Прибавлю, чего и нет, Я каждым сердцебиением Оставлю в их сердце след.

Мне хочется перекинуть К новой отваге мост — Ведь гаснут луга без ромашек И небо гаснет без звезд.

Мне их золотая доверчивость Так помогает жить! И пусть не свершил я подвига, Я мог его совершить...

Есть у меня два сына — Два упругих крыла. Два маленьких человека Продолжат мои дела.

Мне хочется, чтобы сказка Тронула их сердца. И пусть она им представится Просто жизнью отца.

Александр Ойслендер

(1908 - 1963)

БЕССОННИЦА

Всю ночь
На крайнем правом фланге,
Где камни двигает прибой,
В насторожившейся землянке
Не спим, товарищ,
Мы с тобой.
А шторм гудит —

и друг усталый

Все пишет, пишет,

взяв свечу.

Блестит пенсне его. Пожалуй, Я знаю, что с ним, но молчу. Все отложив, Что жглось когда-то, Все поделив — Табак и грусть,-Друг друга, Старые солдаты, Давно мы знаем наизусть. То писем нет, То рана ноет. То друг отчаянный убит. Судьбой завьюжены одною, Своих не прячем мы обид. Что этот ветер, Рвущий сходни, Слепая эта круговерть, Глухая тьма, Как в преисподне, И даже воющая смерть, Коль изнутри Сухое пламя Испепеляет, Как в аду, И пересохшими губами Мы прижимаемся ко льду. Он остудить Уже не может, Но, может быть, К исходу дня Ту горечь вытравить поможет Сплошное море артогня.

1—15 апреля 1946 г.

Владимир Львов

(1926 - 1961)

...Вскоре после выхода первой своей книги «Без отдыха» (1957) Владимир Львов говорил приятелю: «Пишу новую книгу, там будет поэзия». Летом 1961 года жизнь Владимира Львова оборвалась. Книга оказалась посмертной. Лучшие стихи первого сборника вошли и в пее. Таким образом, эта книга подвела итог краткой жизни, подвела самим названием своим — «С начала жизни до конца...». Это поэзия и книга о поэте, о становлении поэта, у которого было все впереди.

Жизнь его складывалась исприкаянно: скитания, переживания встают перед нами в его стихах. «Так и проживу неотогретым...» Но он любил свое время. Он был человеком этого времени. Разочарования никогда не было. Он любил тепло человеческого общения. Любил мир, где желтым светом светится на рабочем столе лампа. Любил жизнь в самых, казалось бы, обыденных се приметах и проявлениях. Об этом не забывал и в войну.

Владимир Полетаев

* * *

...И вздрагивают полустанки, когда с оглушительным ревом несутся в ночи эппелоны и рельсы поют. То на запад идут и идут пополненья.

И тысячи мертвых усталых лежат на израненном поле, над ними холодное небо и ветер пост. А на запад всзут и везут пополненья.

Солдатские песни угрюмы, как дождик за ворот шинели,

как комья размытой дороги на грубых ботинках солдата.

Солдатские песни свирены, как пламя во рту пулемета, дрожащего от нетерпенья последнюю выплюнуть ленту.

Идут и идут пополненья и шутки соленые шутят, а ветер на спинах просторных топорщит колом гимпастерки, солдатским дубленные потом.

1942

Дорога, дорога пустая, влекущая сердце вперед.

Вверху голубиная стая высокий, просторный полет.

Торжественной осени лины, скрипучие оси телег, дождя бесконечные всхлины, усталый, тяжелый ночлег.

То ветер листву хороводит, то штык задевает, звеня, и молодость наша уходит в свирепую силу огня.

Деревья летят, отцветая, и дождик без умолку льет...

Дорога, дорога святая, влекущая сердце вперед.

1942

Тепло и сыро. День течет Обычной сонной чередой. Ведет в лесу кукушка счет, Ошибкой пискнул козодой.

Плывут большие облака Сквозь эту тишину. Течет усталая река По илистому дну.

Как прежде, жарко, тяжело, Как прежде, небо голубое. Как прежде — все. И ничего Не говорит о бывшем бое.

Тепло и сыро. Солнце сжал Наплыв лиловых туч. Лишь догорающий пожар И дымен и живуч:

Там, далеко, там, на краю Земли,— еще горит, крыля. Тебе покой передаю— Освобожденная земля.

1943

Пройдет гроза, орудий смолкнет гром, И снова мы сойдемся в добрый час. Усядемся за стол

и вдруг поймем,

Как этот стол

велик теперь

для нас...

1944

Публикация Е. Ю. Львовой.

СТИХИ АНАТОЛИЯ ЛЕНСКОГО

Был у меня моряк-друг. Был он немного старше меня. Я его очень любил. Я его любил так, что когда я шел с ним рядом по улице южного города, я прыгал от радости, как девчонка. Он был очень красивый. Мне нравилось в нем все — и то, как он жил, и как он писал. А писал он так:

Сорокалетье бродит у причала. Иных фрегатов на подходе пет!

Фамилия у него была Ленский. Анатолий Ленский.

При жизни его у него вышла одна-единственная, маленькая, тоненькая книжечка стихов о море. Вышла она небольшим тиражом в Крыму, в Симферополе, где мы тогда жили, и тогда же привлекла к себе внимание столичной критики.

Писал Ленский всю жизнь.

Когда он умер, в ящике его письменного стола оказались три совершенно законченных повести, кпига рассказов и книга стихов. Все было отделано им так, что запятой нельзя было переставить.

Он не торопился отдавать свои проивведения в печать. Считал, что еще успеет, что еще придет срок. Он был очень требователен к себе. Да и умирать так рано, я думаю, мой друг не собирался.

Он умер молодым, в 1961 году, в Москве. Александр Николаевич Макаров, наш замечательный, тоже рано ушедший из жизпи критик, писал о Ленском, которого он знал пофлоту, по службе на флоте в годы войны: «В прозе и в стихах Ленского живет «романтика высоких порывов». Его пробудившаяся еще в детстве любовь к морю была любовью всепоглощающей».

Анатолий Николаевич Ленский родился вблизи западных границ, среди августовских лесов западного края, а детство провел в Крыму. Молодым человеком он сражался с басмачами в горах Памира, участвуя в боях с басмаческими бандами Ибрагим-бека, начинающим газетчиком объездил весь Памир, изучил язык и полюбил людей этого края. Но и в горах его влекло к родному Черному морю. Он переезжает в Батуми, работает здесь в газете. Война

застала его на флотской службе. Всю войну он провел на судах на Черном море, в осажденном Севастополе, в Керчи и в Новороссийске. Здесь, в Севастополе, сразу после войны, я и познакомился с ним.

Последние годы жизни, как и всю жизнь, он работал во флотской печати.

Только теперь, через двенадцать лет после смерти Ленского, я разобрал на правах друга переданный мне его вдовой архив. И теперь я более чем когда-либо способен оценить то, что сделано им, и те возможности, которыми оп

располагал, — совсем другие, чем у многих из нас.

Я разобрал эти тетради — стихи, записанные в больших толстых тетрадях синим, как море, карандашом. Все было закончено, как всегда у Ленского. Так работают только истинные художники и большие талапты. Некоторые из этих стихов здесь прилагаются.

Все они — о море, о моряках...

Василий Субботин

Анатолий Ленский (1908—1961)

ДЕСАНТ

Волна летит — прямая, злая. Садимся в шлюпки без вопросов. Земля Большая посылает На землю Малую матросов.

Прибой о берег бьется тяжкий. Идем. Сейчас. на гребне боя, омытые волной тельняшки возникнут грозно у прибоя.

Все в этом дорогом уборе знакомо и обыкновенно: полоски синие, как море, полоски белые, как пена.

Они летят огнями молний навстречу выстрелам и мраку, и вместе с ними волны, волны идут на берега в атаку!

1943

АДМИРАЛ

Посвящается Ф. Октябрьскому

Поход окончен; пушки не гремят; еще вчера они рычали гневно... Вчера был бой; сегодня — есть доклад о том, что бак до самого форштевия в бою снарядами разбит и смят.

Да, мы открыли счет потерям строгий. При свете дня, неумолимо зном, мы разглядели на бортах ожоги, пробоины, и копоть, и разлом.

В тот день мы триста раз омылись потом, морской порядок наводя с утра,— но не смогли: командующий флотом в двенадцатом часу вошел на трап.

Когда над палубами коноть носится, о корабле известный разговор... Команду боевого миноносца бросает в холод адмиральский взор.

И молчаливый строй стоит у носа, тревогу чистую тая свою,— недвижный строй; усталые матросы с глазами, потемневшими в бою.

Вступает он, придерживая кортик, в железные чертоги корабля... Грустит матрос: все вид сегодия портит — и рыжая окалина на борте, и мостик, почерневший, как земля.

Нахмурит брови или улыбнется? По ветру плещет флаг. Матросы ждут. Суровыми очами флотоводца на рубки смотрит он, на бак, на ют, на светлые борта стальных соседей, чьи палубы чисты и широки... И говорит:

— Не вижу блеска меди, вы законтились...
Но противник — бледеп! Поэтому — спасибо, моряки!

СТАРЫЙ МОРЯК

Когда спадет жара полдневная, и, холодея, спикнет ртуть, и солнце перестанет гневпо вершины кленов книзу гнуть,—

я натяну свой старый китель: в мой тихий сухопутный кров придут сегодня посетители с морских тяжелых танкеров.

Я встречу их, открою ставни, и горизонт блеснет в окне, и капитаны дальних плаваний расскажут о походе мне.

И вновь увижу жадным взглядом я моря знакомые. От них свежо дохнет большой прохладою в спокойных комнатах моих.

1946

КОРАБЕЛЬНЫЕ СКЛЯНКИ

В море штилевая полоса, тишь, которой долго не слыхали мы. Только через каждых полчаса в сипей бухте, где-то за причалами, светлые трепещут голоса.

И покуда склянками прилежно времени матросы счет ведут, спрашивает гость: «Откуда тут может зазвучать такая нежность — в городе, суровом, как редут?»

Мой гражданский гость и друг! Заметь: несмотря на нежное название, это не хрусталь сейчас позванивал, а могучая, литая медь.

В час грозы ей свойственно греметь.

1947

* * *

Юноша у дерева весениего, и в руках — трепещущая книга, и в глазах взволнованности свет. Сколько раз он мысленно оценивал протяженность маленького мига, о котором помнят много лет!

Юноша у молодого дерева боевое принимает знамя на готовпость к битве и борьбе,— «Молодая гвардия» Фадеева перед непасытными глазами, из которых бьет большое пламя размышлений о себе.

1947

* * *

Дороги наши, друг мой, одинаковы. Теперь нам только грезится земля. Мы знаем: каменные губы раковин всю жизнь целуют днище корабля.

Теперь мы знаем: глубина бездонна, где шквалов рождена большая дрожь.

Мы держим курс под знаком Посейдона — его над сушей в небе не найдешь.

Нам раковина помнится недаром. Она, свершая свой любовный труд, до самой смерти борт целует старый, пока от корабля не оторвут.

ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ—ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«ОБНИМАЯ НЕБО КРЕПКИМИ РУКА-МИ...»

Когда меня справинвают: есть ли стихи, непосредственно относящиеся к моей летной биографии, я непременно вспоминаю Константина Симонова.

Не кого-то, а себя я представлял лезущим в небеса, «упрямо сжав штурвал», читая его довоенные стихи. Меня не очень беспокоило в них, что машина, «ломаясь и гремя», может пойти к земле, что «...столб взбешенного бензина поднялся над кабиною стоймя». Меня больше привлекало другое. «...Сжимая руль в огне последней вспышки» — означало борьбу. Значит, и в мирные дни можно быть как на войне. Надо только, как и он, пятнадцать лет лезть в небеса, упорно и твердо. А цифру пятнадцать я ассоциировал для себя как пору действия, потому что успел к тому времени полюбить авиацию, перечитал о ней, кажется, все, и Валерий Чкалов давно улыбался мне с портрета, вырезанного из иллюстрированного журнала «СССР — на стройке». Страна в это время песней провожала в далекий край улетающего товарища, и мне казалось, что я вижу таявший в синей дымке любимый город. Он улетал, чтобы «пройти все бои и войны». Это будет очень нелегко - не знать сна. не слышать тишины. Но романтика звала и отзывалась в мальчишеском сердце завистью и готовпостью улететь вслед родным ветрам. Мы еще не подозревали, что скоро, очень скоро страна позовет нас, и. не дожидаясь, шли в аэроклубы. Потом, спустя многие годы, уходя от земли, я часто ловил себя на мысли, что наяву вижу в дымке знакомый дом, зеленый сад и, как всякий раз казалось, нежный взгляд. Не раз я радовался улыбке любимого города, возвращаясь к аэродрому сквозь облака, после какойнибудь передряги, когда надо было крепко сжимать штурвал.

Нередко после «того», наедине с собой. я напевал на импровизированный мотив симоновские слова:

Когда его тяжелая машина Перед посадкой встала на дыбы...

Жена относилась к этим стихам иначе, улавливая для себя в них тревогу, а не презрение к опасности профессии летчика-испытателя. А я «...твердо лез в небеса», и уже мир знал

о завоеванных рекордах. Они были результатом упорного труда многих коллективов, за ними стояли мои друзья, которые, «...сжимая руль в огне последней вспышки», не успели дожить. Идти на риск стало моей профессией. Тогда я не думал об этом, ибо знал, что не струшу, если доведется бороться за неодушевленную жизнь самолета, и выходил из «боя» хотя и с шишками, по закаленным и уверенным, что «...любимый город может спать спокойно...». Пока... пока однажды не оказался бессильным, когда, до боли стиснув заклиненный штурвал, в дыму кабины я впервые почувствовал себя не пилотом, а пассажиром терпящей катастрофу машины. Я не кричал потом от боли п страданий, «разбитый и притиснутый к земле...», и не стонал, пока подвязывали к свежесрубленным деревьям то, что было частями моего тела. но вид людей, печально склонившихся надо мной в вертолете, был мне не по нутру. Я понимал, что одержал еще одну победу, и не собирался умирать, а потому запел:

> ...Когда его тяжелая машина Перед посадкой встала на дыбы И, как жестянка, сплющилась кабина, Задев за телеграфные столбы...

Позднее, с тревогой ожидая результатов трепанации черепа, кто-то заметил, что Мосолов, дескать, уже в вертолете был «того», когда, будучи разбитым. что-то пел.

«Не припомните ли, что именно? — спросила жена и, услышав ответ, радостно воскликнула: — Ведь это его любимая песня!»

Да, это моя любимая песня. И неважно, что никто не писал к ней музыки. Я знал ее слова еще мальчишкой и напевал их всякий раз, когда было трудно, когда, побитый, выходил из беды, когда был наедине с собою. Я пронес ее через годы, как ту, благодаря которой чувствовал «...родные ветры» и «веселый взгляд». Ведь я же был и остаюсь летчиком. Я горжусь своими небесными братьями и, как точно сказал о них поэт послевоенного поколения Феликс Чуев, вижу, как, «спрыгнув с корабля, они идут, отталкивая землю,— поэтому и вертится земля».

Георгий Мосолов, Герой Советского Союза. заслуженный летчик-испытатель СССР Казалось бы, в кровопролитном сражении — грубом труде — во время боя не до лирики.

Однако поэзия, выражая всего лишь несколькими словами целое историческое событие, роль народа в этом событии, вселяет уверенность миллионам людей в достижении политических целей в единоборстве с врагом за свободу и независимость своей родины.

Мне не забыть, да и вряд ли это забыли те солдаты и офицеры всех родов войск, скопившиеся на Курском вокзале. То были дни, когда враг подходил к Москве. Среди военного люда появилась пожилая женщина, уборщица в синем халате и с метелкой в руке. Она остановилась, повела вокруг взглядом, как будто искала знакомого, и как-то требовательно спросила:

— На фронт или с фронта?

Кто-то из красноармейцев ответил, что приехали на фронт, под Москву.

— Тогда слушайте и запоминте. — сказала ода по-матерински и прочла одно лишь четверостишье:

Родина смелым гордится, Смелого любит парод, Смелого нуля боптся, Смелого штык не берет. И лобавила:

— Вот так, сынки... Будете смелее бить фашиста, тогда он перед вами трусом окажется.

Ее слова, простые и мудрые, прозвучали в наступившей тишине, как заклипание, как требование матери и как благословение на тот священный и решающий бой за Москву, которого ждала родина. Я уверен, что все, кто слышал ее слова, процес их кто до конца войны, а кто и до последнего шага в атаке.

А вот как оценивает в стихах совесть бойца поэт Михаил Луконии:

Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой.

И ему отвечает с чувством права и гордости Александр Николаев, поэт, который пришел с пустым рукавом, стихотворением «Моя рука»:

И я смотрю спокойно вдаль, постигнув гордых слов значение. Смотря за что, а то не жаль и две руки на отсечение.

И снова в этом многозначительном четверостипье звучит призыв патриота, обращение к новому поколению защитников нашей социалистической родины.

А. Кожевииков, Герой Советского Союза

СТИХИ — БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ

Охватывает досада, когда встречаешь в кингах и в кинофильмах разведчиков, которые, получив приказ, браво выпячивают грудь и радостно говорят:

— Я счастлив, что мне доверили такое ответственное задание!

Едва ли были такие разведчики. Доверие родины окрыляет, но разведчики не бросают громких слов, они никогда не бравируют своей смелостью и любовью к родине. Они, как все смертные, хотят жить, у них есть мать, отец, любимая, дети, друзья. Уходя на задания, я с тайной горечью расставался не только с близкими людьми, но и со стихами.

А. Твардовский публиковал главы «Василия Теркина» по мере их написания. Каждую из них на фронте ждали с нетерпением.

Теркина любили и разведчики, с которыми я служил. Иногда, уходя на задание в тыл врага, я с сожалением думал: «Может случиться — живым не вернусь, жаль, что не придется прочитать новые похождения и мудрые слова Васи Теркина». Но фронт есть фронт, и после возвращения с задания мы не хватали с нетерпением газеты и журналы с продолжением поэмы Твардовского. Нет. мы отдыхали, ели «от пуза», мылись, спали. Только после

того, как в груди спадало напряжение, когда наступало ощущение, что и на этот раз «обошлось», все самое страшное уже позади, душа оттаивала и требовала стихов. Вот в эти минуты Василий Теркин был самым лучшим собеседником, потому что был он понимающий, честный, открытый, веселый, свой парень. Перечитав не раз и не два в компании и в одиночку новые главы, мы долго хранили потертые вырезки из газет вместе с письмами от родных, а потом опять сдавали их старшине с теми же письмами и документами, уходя на очередное задание. И опять расставался я с Теркиным, втайне думая: доведется ли встретиться?

Стихи на фронте были не каким-то успокоительным бальзамом, не «цветочками-василечками», а настоящими боевыми друзьями, с которыми «в холодной земляшке тепло», можно «закурить по одной» и которые, сверкнув очами перед атакой, гневно говорили: «Убей ero!»

В стихах — фронтовая душа, потому что и сами поэты в ту трудную годину сидели с нами в тех же окопах, в таких же, как и мы, шинелях и разили врагов пе только пером, но, как и мы, боевым оружием.

Владимир Карпов, Герой Советского Союза

Раиса Аронова

Герой Советского Союза

* * *

Вечер. Сад. И луч заката. Тополя у нашей хаты. Деревенские ребята, Голосистые девчата...

И не верится, что рядом,— Километров пятьдесят,— Рвутся бомбы, бьют снаряды, Трассы пуль в зенит летят. И не верится, что ночью В пекло адово пойду. Что сгорю звездой полночной И с заданья не приду.

И не верится, что после, Как при мне и без меня. Будет так же: в окнах отсвет, Песни, сад... И тополя...

Наталья Кравцова

Герой Советского Союза

ПЕРЕД БОЕМ

Еще светло. Еще не спится. Еще видны вершины гор. Белеют домики в станице, вечерний слышен разговор.

А за околицею в поле — полынный запах горьких трав. И самолеты на приколе стоят, носы свои задрав.

Погас последний луч заката. Взошла луна в туманной мгле. Под гул далекого раската уснул кузнечик на крыле.

ПЕРЕПРАВА

Не скоро кончится война, не скоро смолкнет гром зениток. Над переправой — тишина, и небо тучами закрыто.

Зовет мотор: вперед, скорей! Лети, врезаясь в темень ночи! Огонь немецких батарей размерен и предельно точен.

Но лишь зажгутся в небе звезды, ракеты вспыхнут над рекой и трассы пуль прочертят воздух, нарушив призрачный покой,

а мой «ПО-2» уже рокочет, на цель привычно курс берет и под покровом темной ночи летит уверенно вперед.

Летит, готов любой ценою прорвать завесу черной мглы. Спешит туда, где перед боем зенитки подняли стволы...

1942

Еще минута — и тогда взорвется тьма слепящим светом... Но, может быть, спустя года во сне увижу я все это —

Войну и ночь. И свой полет. Внизу — пожаров свет кровавый. И одинокий самолет среди огня над переправой.

1943



...Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть, так Гейне, наверно, любил.

Он вырастет, станет известным, покинет пенаты свои. Окажется улица тесной для этой огромной любви.

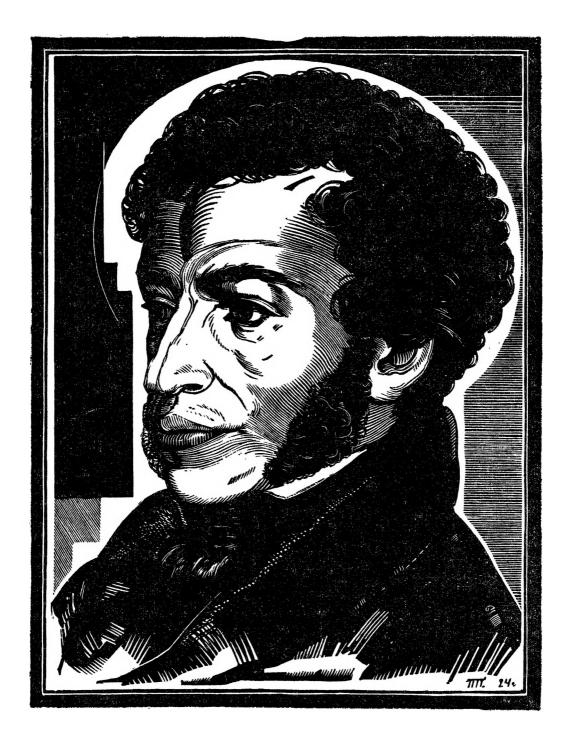
Преграды влюбленному нету: смущенье и робость — вранье! На всех перекрестках планеты напишет он имя ее.

На полюсе Южном — огнями, пшеницей — в кубанских степях, на русских полянах — цветами и пеной морской — на морях.

Он в небо залезет ночное, все пальцы себе обожжет, но вскоре над тихой Землею созвездие Лиды взойдет.

 \mathcal{A} рослав Смеляков, «Хорошая десочка Лида»

1			



Александр Сергеевич Пушкин К 175-летию со дня рождения

Гравюра на дереве И. Я. Павлинова. 1924 г.

Сергей Поделков

КНИГИ

В тихом доме о д н и эти старые кпиги, эти полные силы и музыки мысли, эти переплетенные кожею су́дьбы, пепел времени их немотой покрывает. Меж обложками замерли песни и трубы, спят дожди. цепенеют цветы и трава, в заточенье игра изречений Монтеня, и свиреные очи истории сжаты: струги Разина оледенило безмолвье, и застрял выкрик Ричарда: «Всё... за коня!»

Эти старые книги хозяина помнят. Как их брали счастливые первные руки, как листали их топкие длинные пальцы и касался их перстень — угрюмый огонь талисмана... Как пытал он, выведывал. ставял пометы, легкий знак на странице — оставленный взгляд!

Если вечность — мгновенье, то, право, недавно он стоял в сюртуке и смотрел в заоконье — ...вороные три лошади ждали питья. Средь двора конюх в шубе саврасой усердно бил, выкалывал лед из корыта пешнею, и ползло леденящее рыхлое небо влажно-сизого Санкт-Петербурга. И снег, редкий, сомнамбулически медленно шел.

От окна суеверно он вдруг отвернулся, и глаза его по столу ясно прошлись, осветила улыбка чернильницу вмиг вместе с рожицей бронзового арапчонка, что свободно веселые ноги скрестил и лукаво свой локоть на якорь поставил. А в стакане светали гусиные перья. А сквозь долгую память скакал Петр Великий, конским потом пропахший и дымом Полтавы... А в тоскливой, заржавленной клетке на казпь через сердце его провезли Пугачева!

Разве знали они, эти старые книги, что шаги отзвучали навеки, он вышел, чтобы встретить Данзаса в кондитерской Вольфа... Разве знали они, что беда подступила, ненавистная, непоправимая, - и в черный час, при свечах, оплывающих слезно, принесут и положат его на диване, где он за полночь с ними беседовал часто, отворял им дыханье. Тут мысли играли, взгляд, и голос, и смех, и стихи — нараспев. 11 вот острый, закушенный стон — эхо боли. «Смерть идет!» — он сказал и рукою махнул. Обессиленный подлостью, тайнами зла и силками сановного высокомерья, он кудрявую голову поднял с подушки, он в глаза книгам глянул: «Прощайте, друзья!» Забытье. Гаснет время. И вновь: «Это ты... Даль, мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх, вверх по этим вот книгам и полкам, высоко-о... и голова закружилась». Люди. Тени. Шуршание женского платья. Мерк последний его еле слышимый выдох. Это, может быть, шепот: «Проща-айте, друзья...» Это, может, ответное, вечное — шелест: «Проща-ай...»

Лев Озеров

ПУШКИНСКИЙ ГОД

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Сегодня «Фигаро» играют. Попробуй-ка — достань билет! И Пушкин в ложу вдруг вбегает, Когда уже погашен свет.

Ему напевы эти любы. Опи лукавы и легки. И в темноте мерцают зубы И глаз огромные белки. Сперва в письме он невзначай Помянет Тверь или Опочку И, отстранив дорожный чай, Для памяти запишет строчку 1.

Потом он чьи-то завитки Бездумно набросает сбоку,

Оставит рядом три строки,— В которых нет покуда проку,—

Для пьесы или впопыхах Рванет страницу из тетради. Сперва в письме, потом в стихах, И все стремительно и — кстати.

* * *

Сказал Данзасу он:

— Предупреди жену,
Что ранен я легко и неопасно, в ногу...—
Закрыв глаза, он видит санную дорогу
И льющуюся в бездну белизну.

Он поднят на руки слугою — дядькой старым. — Не грустно ли тебе нести меня? — спросил. Диван и книги.

Да, он кажется усталым. Он полежит часок и наберется сил.

А у ворот меж тем толпа неугомонна:

— Не легче Пушкину?..—
Заиндевел гранит.
Печальный спег летит— не помешать!— без
стона:
Здесь он еще живой, пока живой лежит.

* * *

Далекий отсвет пушкинской плеяды,— Нам вряд ли увидать другой такой. Не своды, не колонны, не аркады. А правда чувств в строке и за строкой.

И между строк пробелы и просветы, Как между звезд, как в сонмище планет, Откуда говорят со мной поэты Не огошедших, а грядущих лет.

Александр Никифоров

ЧИТАЯ ПУШКИНА

Коль захромал твой стих, оставь усилья И к Пушкину ступай. Там каждая строка Волшебные тебе подставит крылья И, как во сие, взовьет под облака...

И ты опять в воздушном оксанс, И за тобой незримых сил эскорт,— Хватай луну и уноси в кармане, Как простодушный гоголевский черт.

¹ Не в «Капитанскую» ли «дочку»?

Алексей Марков

ТОРЖОК

— Чем вас, милый поэт, ублажить? В нашем старом Торжке небогато! — Тройку вас попрошу заложить, И, как Пушкин, по речке когда-то В родовое именье! Да-да, Прямо к Ание Петровне, к обеду! Неужели былого следа Пе осталось?

Н-но, милые! Еду...

Речка вьется, как встарь. Не зевай! Понадежнее действуй вожжами! Перекатов заснеженных край, Снегирей незакатное пламя! — Н-но, ленивые! — Искрами снег, Да скрипят журавлями полозья.

Молодой председательши смех Нас из прошлого в нынче увозит! Что ей томная, нежная Керн, Промелькнувшая давнею тенью? Тут от духа предмартовских верб Пробегает по телу томленье!

...Из нетесаных глыб погреба.
Там хранились заморские вина!
К погребам не воскреснет тропа,
В пих густая висит наутина.
И моченые яблоки нам
Не поставят с хрустящей капустой!
Только иней седой по углам,
В доме холодно, сыро и пусто!

В старых рамах резных — зеркала. Страшновато немного глядеть в них! Вот графинечка выйдет сама: — Кто пустил к нам в имение «этих»?!

Дальше, дальше, в глухую красу! Чуть в сторонке от графского дома, Где худая церковка в лесу, Разнесенная ветром солома, Где надгробные крестики сплошь, Затаились прошедшего тени.

...Постоишь и нежданно поймешь Неразменную цену мгновенью!

Игорь Кобзев

В МИХАЙЛОВСКОМ

Вот три сосны — Как три сестры, А рядом их густая молодь, А там прибрежные кусты Ныряют с головою в Сороть...

А дальше— поле, копен ряд, Усадьбы ветхая ограда Да заповедный сумрак сада— «Приют задумчивых дриад...» Здесь все как встарь, все по-былому. И можно с заднего крыльца Сбежать, вскочить на жеребца—И, как Онегин, мчать на дому...

Вот он — опальный дом поэта... Над ним два журавия кружат. Они тоскуют и кричат. Зовут кого-то. Нет ответа!

Павел Антокольский

ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ

Статистики в такой-то час и день Установили, сколько нас. И только. Вставай, девятизначной цифры долька, Раздуй огонь, комбинезон надень!

Вставай, шахтер, конструктор, космонавт, Учительница, музыкант, геолог! Наш путь ухабист, труден был и долог, Но озарен прожекторами правд.

Мы гибли, но не сгинули. Гляди, На всей планете шаг наш отпечатан. Отцы и деды наши не молчат там, Сыны и впуки ждут нас впереди.

Нас двести пятьдесят мильонов — под Тем самым, молоткастым и серпастым.

Нам любо, мускулистым и вихрастым, Со лба стирать соленый, едкий пот.

Нас ТЬМЫ п ТЬМЫ и ТЬМЫ с тех самых пор, Как стали мы не тьмою темь, а светом, И вышли с лозунгом: ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ На правый бой, па первый старт, на сбор.

Мы — эстафета дальнего гопца. Мы — поколенье сильных и умелых. Мы — перевыполненье планов смелых. Нам пет числа, нет краю, пет копца.

Жизнь вырастает, движется, течет. Вся в брызгах света, в жженье и броженье. Лети же вслед за ней, воображенье! Не кончен путь. Не подытожен счет.

ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ...

1

Конец двадцатого столетья. Вокзалы. Аэропорты. Любовь... Так как же не затлеть ей От жалости и доброты,

Не полыхнуть костром багряным В краю чужом, в дому родном, Одно отчаянье даря нам, Захлебываясь в нем одном,—

Как в унижении глубоком Не заглядеться на пожар! ...Но если бы я не был богом, То и тебя не обожал. 2

Я должен стать скалистой крутизной И под ноги ей вырубить ступени,— Пускай идет за мной в метель и в зной В отважном отроческом нетерпеньи.

Я должен, должен звать ее и влечь В сверкающие бездны мирозданья, И это Чудо от колен до плеч Обожествить задолго до свиданья.

Я должен, должен, должен изваять Ее черты из музыки и муки. Я все, что должен, сделаю на ять Без промаха, без помощи науки. Но это обожанье, а не долг Трубит мне в уши песенку все ту же. Так, может быть, седой голодный волк Выл-завывал, пока не сдох от стужи.

Так, может быть, бог созидал миры И сам ослеп от хлынувшего света. Он тешился причудами игры, Но позабыл, что песня его спета.

3

Столкновенье двух возрастов. Только вспомнишь о нем нечаянно, Обрывается речь и — стоп! Договаривает молчание.

Есть закон у старых людей: Не сдаваться, что бы там ни было. Ну так царствуй и всем владей, Что двоим нам на долю выпало! 1

Не знаю, безумье иль разум Иль среднее нечто меж ними, Но без разрешенья и сразу Шепчу твое милое имя.

Шепчу иль кричу — неизвестно. Живу или гибну — не знаю. Спустилась ты с кручи отвесной, А добрая ты или злая,

А послана богом иль чертом,— Понять очень трудная штука! И вот ухажером потертым К тебе я врываюсь без стука,

Вторгаюсь и тут же наказан, И тут же навек осчастливлен. Но что это — казнь иль соблазн, Весенний, осенний ли ливень?

Но все, что несбыточно было, Но все, чему сбыться нельзя... ...Послушай, а ты не забыла, Что вместе мы выйдем в князья?

Белла Ахмадулина

CTPOKA

...Дорога не скажу куда...

Анна Ахматова

Пластинки глупенькое чудо, проигрыватель — вздор какой, и слышно, как невесть откуда, из недр стесненных, из-под спуда корней, сопревших трав и хвой, где закипает перегной, вздымая пар до небосвода, нет, глубже мыслимых глубин, из пекла, где пекут рубин и начинается природа, исторгнут, близится, и вот донесся бас земли и вод, которым молвлено протяжно, как будто вовсе без труда, так легкомысленно, так важно: «...Дорога не скажу куда...»

Меж нами так не говорят, нет у людей такого знанья, ни вымыслом, ни наугад тому не подыскать названья, что мы, в невежестве своем, строкой бессмертной назовем.

ПОДРАЖАНИЕ

Грядущий лень намечен был вчерне, насущный день так подходил для пенья, и четверо, достойных удивленья, гребдов со мною плыли на челне.

На непаглядность этих четверых все бы глядела до скончанья взгляда, и ни о чем заботиться не надо: душа вздохнет — и слово сотворит.

Нас пощадили небо и вода, и, уцелев меж бездною и бездной, для совершенья распри бесполезной поплыли мы, не ведая — куда.

В молчании достигли мы земли, до времени сохранные от смерти.

Но что-нибудь да умерло на свете, когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион. Мои спаслись от этой лютой доли. Но лоб склоню — и опалит ладони сиротства высочайший ореол.

Всех вместе жаль, а на меня одну — пускай падут и буря, и лавина. Я дивным пеньем не прельщу дельфина и для спасенья уст не разомкну.

Зачем? Без них — не надобно меня. И проку нет в упреках и обмолвках. Жаль — челн погиб, и лишь в его обломках перасторжимы наши имена.

* * *

Ю. Королеву

Собрались, завели разговор, долго длились их важные речи. Я смотрела на маленький двор, чудом выживший в Замоскворечьи.

Чтоб красу предыдущих времен возродить, а пока, исковеркав, изнывал и бранился ремонт, исцеляющий старую церковь.

Любоваться еще не пора: купол слеп и весь вид не осанист, но уже по каменьям двора восхищенный бродил чужестранец.

Я сидела, смотрела в окно, тосковала, что жить не умею. Слово «скороспиватель» влекло разрыдаться над жизнью моею.

Как вблизи расторопной иглы, с невредимой травою зеленой, с бузиною, затмившей углы, уцелел этот двор непреклонный?

Прорастание мха из камней и хмельных маляров перебранка становились надеждой моей, ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов, объявляю: мой срок не окончен. Посреди сорока сороков не иссякла душа-колокольчик.

О, запекшийся в сердпе моем и зазубренный мной без запинки белокаменный свиток имен Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камни, жива. Дождь веков нас омыл и иромаслил. На клею золотого желтка нас возвел незапамятный мастер.

Как живучие эти дворы, уцелею и я, может статься. Ну, а нет — так придут маляры. А потом приведут чужестранца.

* * *

Предутренний час драгоденный. Спасите, свеча и тетрадь! В предсмертных потемках за сценой мне выпадет нынче стоять.

Взмыть голой циркачкой под купол! Но я лишь однажды не лгу: бумаге молясь неподкупной и пристальному потолку.

Насильно я петь не умею, но буду же наверняка, мучительно выпростав шею из узкого воротника.

Какой бы мне жребий ни выпал, никто мне не сможет помочь.

Я знаю, как грозен мой выбор, когда восхожу на помост.

Погибну без вашей любови, погибну больней и скорей. коль вслушаюсь в ваши ладони, сочту их заслугой своей.

О, только б хвалы не восстраждать, вернуться в родной неуют, не ведая — дивным иль страшным — удел мой потом назовут.

Очнуться живою на свете, где будут во все времена одни лишь собаки и дети бедней и свободней меня.

Петрос Антеос

ΕΕΓΑ Β ΛΟΡΕΛ

Благородный, мужественный конь, Ужаленный духом состязанья, Весь в мыле, словно взмокший в боренье с течением, брызжа Багровой пеной и пламенем из раздутых ноздрей,— глаза

Успели увидеть линию финиша, На своей трепещущей гладкой шкуре Ты ощутил жгучий дух догоняющего храпа, И ты рванулся, уже бездыханный, На финишную ленту. Ты выиграл Знаменитые лорелские скачки. Мертвый. Как поэты

выигрывают

бессмертье. Перевел с греческого Д. Самойлов

IIE.Tb

Памяти афинских студентов, расстрелянных военной хунтой 17 ноября 1973 года

В далекие, в близкие ли времена — Цель у расстреливавших была одна. Сильные мира сего безошибочно Всегда эту тайную цель угадывали, Виновной считая ее от века, — Сердце мятежное Человека.

Перевел Ю. Левитанский

Евгений Антошкин

* * *

Когда вечерняя луна Заросшего коснется тына, В окошко кажется она Из веток соткана, Из дыма.

Крутящийся во мгле клубок Алмазной опушен порошей. И легок небосвод, глубок С такою драгоценной ношей.

Разгадывая суть веков, Над водью И материками Летит луна меж облаков. Как брошенный Вселенной камень.

Пылает огненно из тьмы. Где тайной бредит Мирозданье. Как будто Это смотрим мы Через века И расстоянья.

Эдуард Асадов

ДОРОЖИТЕ СЧАСТЬЕМ, ДОРОЖИТЕ!

Дорожите счастьем, дорожите! Замечайте, радуйтесь, берите: Радуги, рассветы, звезды глаз — Это все для вас, для вас, для вас!

Услыхали трепетное слово — Радуйтесь. Не требуйте второго. Не гоните время. Ни к чему. Радуйтесь вот этому, ему!

Сколько песне суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз... Разве будет это тышу раз!

На бульваре освещают вечер Тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем Ни надежды, ни любви, ни встречи!

Лупит гром из-под небесной пушки, Дождик, дождь! На лужицах веснушки! Крутит, пляшет, бьет по мостовой Крупный дождь в орех величиной!

Если это чудо пропустить, Как тогда уж и на свете жить?! Все, что мимо сердца пролетело, Ни за что потом не возвратить!

Хворь и ссоры — временно отставьте, Вы их все до пенсии оставьте. Постарайтесь, чтобы хоть сейчас Эта «прелесть» миновала вас.

Пусть бормочут скептики до смерти. Вы им, желчным скептикам, не верьте. Радости ни дома, ни в пути Злым глазам, хоть лопнуть,— не найти!

А для очень, очень добрых глаз Нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость к вам сама протянет руки, Если сердце светлое у вас.

Красоту увидеть в некрасивом, Разглядеть в ручьях разливы рек! Кто умеет в буднях быть счастливым, Тот и впрямь счастливый человек!

И поют дороги и мосты, Краска леса и ветра событий, Звезды, птицы, реки и цветы: Дорожите счастьем, дорожите!

Антонина Баева

СОЗВЕЗДИЕ ЛЕБЕДЬ

Созвездие Лебедь я очень любила. Его я глазами и сердцем Ловила. Его я к себе много лет Приручала. А Лебедь летел. Все вершилось сначала. Опять я вставала с вечерней постели И, еле дыша от восторга И еле Взглянув на него, Я немела и долго Еще, поглядеть не осмелясь, Без толку. Бывало, стою, пораженно и немо... Потом запою потихоньку про небо, Про то, как мне нужен Мой Лебедь ручной... Но пуст без него этот купол

ночной...

Лети же, лети! Я тебя не ловлю: Я только летящего в небе люблю.

Иван Бауков

У ДАУГАВЫ ВЕЛИЧАВОЙ

У Даугавы величавой, Примкнув граненые штыки, Овеянные вечной славой, Стоят Латышские стрелки.

Вокруг цветы. Играют дети, Звенят, как чайки у реки. Чтоб мир торжествовал на свете, Стоят Латышские стрелки.

Не только здесь — По всей России Их слава громкая живет. И под московским небом синим Они не дрогнув шли вперед.

Стояли у кремлевских башен, У входа в кабинет вождя,

Под Ярославлем В рукопашный Шли власть Советов утверждать!

Плечом к плечу шли с русским братом, Вливаясь в красные полки. Не помышляя о наградах, Шли в бой Латышские стрелки.

Ничто не пропадает в жизни, Коль в битве не пошел ты вспять, Тебя Твои сыны отчизны В гранит и мрамор воплотят.

И я, шагавший в бой в Берлине, Сейчас в молчании стою Перед гранитными, Пред ними— Склоняю голову свою.

ЛИСТВЕННИЧНАЯ АЛЛЕЯ

Студентам и преподавателям Тимирязевки посвящаю

Небо чуть-чуть заалеет — Дрозд под окном поет. Лиственничная аллея Меня к себе вновь зовет.

Лиственницы вековые — Совсем что твоя Сибирь! Кроны их золотые Раскинулись ввысь и вширь.

Милые.

незабвенные Юношеские года! Воскресло все сокровенное, Что билось в груди всегда.

Здесь встретишь лен и пшеницу, Подсолнух стоит на меже... Здесь все есть, что часто снится Крестьянской моей душе.

Девушки пышноволосые, С очами вчерашнего детства,

Томимы одним вопросом: «Куда нам от счастья деться?»

Красивые, синеглазые— Юность моя вчерапіняя! Все как одна прекрасные, Проходят с прическами-башнями.

Юность идет, хмелея, Дипломы прижав к груди. Лиственничная аллея, Как мать, им вослед глядит.

Ученики Тимпрязева! ...Как я себя жалею, Что жизнь не начал сразу С Лиственничной аллеи!

Жил бы сейчас в деревне, Работал бы агрономом, Не поседел бы без времени Вдали от родного дома.

Яков Белинский

ОПАСНЫЕ ДЕВЧОНКИ

Похожие на маленьких зверей, прекрасных, быстроногих, остроглазых, бегущих из распахнутых дверей—взлетать с трамилинов и по скалам лазать,

или в бассейнах голубой воды дельфинами весельми резвиться, или на кортах, врезанных в сады, бросками лани восхищать столицу...

Себе присвоив красоту зверей и женственным ее стократ умножа, царят наяды солнечных морей и властелинки беговых дорожек...

У всех дверей мальчишки жадно ждут свою Лауру или Беатриче, не замечая длящихся минут, не зная, что являются добычей...

Александр Бобров

* * *

Перекликаются журавли, Чтобы летелось им правильным клином, Чтобы ветра помешать не могли им Преодолеть притяженье земли. Перекликаются журавли.

Как неподвижно птицы парят, Словно бы нехотя в путь отправляясь, Словно разлука приносит усталость. Несколько взмахов тяжелых подряд — И неподвижно птицы парят. В долгом раздумье: что там вдали? — Над пожелтевшим родимым поречьем С болью, пронзительно, по-человечьи В солнечном свете и звездной пыли Перекликаются журавли.

Чем эти крики вам помогли? Молча,

уставясь в незримую точку, Хищные птицы летят в одиночку. Вместе, в цепочку они б не могли.

Перекликаются журавли...

Виктор Боков

* * *

Что-то женское живет в березе белой, Что-то нежное исходит от ствола. Подхожу стыдливо-оробелый И боюсь, что скажет: — Не звала!

Попрошу застенчиво прощенья, Потихоньку стану отходить. И взгляну на недоступное виденье, И начну на расстоянии любить.

Песни буду петь ей постоянно, Женскую в ней славить красоту, Только бы березка осиянно Подымалась гордо в высоту!

ЗАВИСТЬ

Не увел, не увел я от зависти Бескорыстную душу свою! Вот стою и завидую аисту, Что садится на крышу твою.

Вот стою и завидую реченьке, Оросительнице полей,

Что она твои нежные плечики Нежно гладит рукою своей.

Вот стою и завидую месяцу, Что похож на ладонь и ладью, Что ему разрешается свеситься С веткой яблони в спальню твою!

ЖИЗНЬ — РЕКА

Жизнь — река. Она течет. Запруди — исчезнет что-то. И тебя не привлечет Богомерзкое болото.

Жизнь — живая тетива, Вся натянута до звона, Каждой клеточкой жива И знакома до озноба.

Жизнь — раскат больших саней, Где два друга сшиблись лбами. Я могу сказать о ней То гармонью, то губами.

То нежнейшим словом — друг, То сладчайшим словом — дети! Шире, шире, шире круг. Шире круг — по всей планете!

Николай Букин

ВЕЛИК И ТРУДЕН БЫЛ НАШ ПУТЬ

Все это было так давно, Еще жилось несладко людям, И звука не было в кипо, Велосипед казался чудом.

Дворняги выли по ночам — К покойнику или к пожару, — И падал скот, а по полям Хлеба́ в полыни, как в угаре.

Глазел кержак из-под руки, Как на чертей, на трактористов. И из обрезов кулаки В упор палили в коммунистов.

Но не забыть того мне дня, Хоть был он хмур и слезно плакал, Как мать, благословив, меня Везла в безвестный мне Сарапул.

— Учися,— молвила она,— Чё проку ноне сидя дома, Достатка нет, земля скудна, Бог даст, дождемся агронома...

Пять ртов нас было, у нее В мозолях руки, ломит крыльца. И, вдовье проклянув житье, Везла последнего кормильца.

Родимая! Ни ты, ни я Не знали, что из-за кордона Уж кто-то целится в меня И скоро мне вручат патроны.

Не чуяла в ту пору, нет, Ты всем чутьем своим сердечным, Что сына ты на много лет Проводишь, может, и навечно.

Что ждут тебя, меня, всех нас Такие в жизни испытанья. Что вздыбится земля не раз И содрогнется мирозданье.

И море лиха мы хлебнем, Но выстоим пред грозным валом И недругу башку снесем Мечом, откованным Уралом.

Велик и труден был наш путь, Не сосчитать могил-курганов, Порой забыться бы чуть-чуть, Но не дают забыться раны.

Да, было все это давно... Я выжил и вернулся, мама, Послушай, как через окно Нам рукоплещет наша Кама.

Нина Бялосинская

* * *

У поздней встречи свет двойной, двоякое сеченье. Горячей с теплою волной неслитное стеченье. И удвоенья простота. И дважды непреложность. И эта бережность и та — еще неосторожность. На получасе сведены неведенье и опыт.

Далеким голосом звенит и ломким полушепот. И, час на годы не дробя для времени иного, слов не находишь, и судьба вмещается в два слова. И оглашает тишиной. И тешит промедленье... У поздней встречи свет двойной, как знак неутоленья.

Сергей Васильев

НАПРЯМИК

Ты тему решил с кондачка. Не так. Вполсилы.

Неряшливо.

Бестолково. Истратил способностей на пятак, а делаешь вид, что извел целковый. И так мне прочел свой поспешный труд, с такою бравурностью бесноватой, как будто он был извлечен из руд, а не с новерхности взят лопатой.

ДАВНЫМ-ДАВНО

Крепко мне запала в сердце рослых елей благодать. Говорят, здесь юный Герцен по утрам любил гулять.

Слушал плеск волны прибрежной на виду у зеленей и своей мечтой мятежной уносился вслед за ней.

Вдоль рябой горы отвесной от ракит издалека Но в пафосе слышал я не металл, а вопль неудачи

под стать убытку.

И все потому,

что ты наметал действительность лишь на живую нитку. Я знаю, ты лепишь мне знак брюзги и видишь во мне самого Иуду. Нет!

Пусть тебя хвалят твои враги, а я тебе друг, и хвалить не буду.

грустный звук мужицкой песни не спеша несла река.

Был в той песне лад старинный, сладких ландышей настой и тяжелый дух полынный горькой доли крепостной.

Мысль бурлила. Зрело слово. Звал к себе запретный Труд. И быть может, часть Былого зародилась в Думах тут.

Лариса Васильева

ЭВАКУАЦИЯ

(Воспоминание детства)

Бегут, как овечки, теплушки, коровой ревет паровоз, летят серебристые стружки с пристанционных берез.

Какое хорошее лето, смешное поют провода. Я еду, я еду, я еду и даже не знаю куда!

Как низко летят самолеты, над поездом вьются они, я, кажется, вижу пилотов:
— Эй ты, дурачок, догони!

А ну, поднажми-ка немножко, меня не догнать все равно! —

* * *

Что такое современность? Подчиненье автомату, вековая соплеменность, ускользнувшая куда-то, и ума нивелировка, разъедающая души, как серийная обновка, безразмерная к тому же?

Что такое современность? Равнодушье поколений, сердца неприкосновенность, легкость всех прикосновений или мысли лапидарность в каждой высказанной теме?

Высшая неблагодарность — хаять собственное время.

Веселое слово «бомбежка», с картошкою схоже оно.

Вся в дырочках крыша, как спто. Не страшно мне — мама со мной. Неведеньем детства прикрыта я, как неприступной стеной...

Недавно одна кинолента войной опаленного дня с отчетливостью документа вернула в то время меня.

И время разверзлось, как яма, и ночи волна наплыла, и страшно подумать, что мама на волос от смерти была.

Современность — это чудо, разве ты не понимаешь, что, явившись ниоткуда, вдруг причастье ошущаешь к свежевспаханному полю, к голой высохшей березе, это счастье, что от боли слезы стынут на морозе, это счастье -- силу чуя в сердце или в бренном теле, жизнью собственной рискуя, показать себя на деле; сам — столетия примета отражаешь безусловно все, чем держится планета так непрочно и неровно.

Современность — это чудо, то отринув, то приемля, появившись ниоткуда, лечь в свою родную землю.

Петр Вегин

HTA

(Хроника одного лета)

1

Дюны — на километры... Корабли вдалеке... Сигаретку от ветра зажму в кулаке —

словно школьное детство, когда куришь тайком... Корабли терпит бедствие с ревом, люди — молчком.

Рухнет мачта косая, клочья от парусов... Человека спасает человечья любовь.

Будь здоров, если выгребешь, нахлебавшись воды!

Будь здоров, если выплывешь из беды!

Круг спасательный, шлюпка... А на суше — вдвойне: две ладошки — две шлюпки в штормовой тишине.

В этой буре осенней, где ладони в крови, если будет спасенье, то спасенье — в любви.

Она теплится где-то на ветру до утра огоньком сигареты в рукаве школяра...

2

Море утихло, ушло в себя, оставив на бесконечном песке, как следы своего гнева, гнедые гривы водорослей, кору и обломки деревьев, обглоданное весло. Белый парус дышал вдалеке. Бесцельно рассматривая извилистые, отполированные морем корни и ветки, я шел берегом, и язык чаек становился попятней и ближе.

«Горе, — кричали они, — бремя...» «Море, — слышалось мне, — время...»

Медленный хруст ракушечника сопровождал мои шаги, и маятником потустороннего качалась в последней волне мертвая рыба. Солнце было щедрым, как и в пезапамятные времена, и лишь звук реактивного напоминал о сегодняшнем дне.

Желтый камень заставил меня обернуться, и под косым лучом солнца я увидел, что это не камень — янтарь. Величиной с кулак, он хорошо был обкатаи морем и сердце напоминал по форме. Через секунду пальцы ощутили его тепло. Соль и наросты затуманивали его; ножом осторожно я начал освобождать его от наростов, представив, как сердца касаются руки хирурга. Он становился прозрачным, к нему возвращалась прозрачность, как возвращается зренье к незрячим. Сколько я просидел на поваленной ветром сосне, счищая затменье со второй его стороны? Внутри что-то мерещилось, темный сгусток внутри напоминал что-то, это уже можно было увидеть, перевернув на ладони. Но я не спешил. Наконец я поднял его к солнцу и, щурясь, взгляпул:

ВНУТРИ ЯНТАРНОГО СЕРДЦА БЫЛА ЖЕНЩИНА!

«Ну, какая-нибудь веточка или цветок, ну, стрекоза в лучшем случае. — думал я, счищая затменье. — Ну, все может быть...»

Но — женщина?

Так бывает, когда в темное сердце мужчины вселяется женщина. Тогда,

ощущая, как в сердце его светлеет, мужчина говорит «я люблю тебя», п его руки сплетаются с ее руками. Так в сердце Данте янтарна была Беатриче!

Тогда чье Э Т О сердце?

Все было реально, как все подвижное и неподвижное под солнцем: в янтаре была женщина. Я видел явственно ее лицо, остановившиеся в паденье волосы и застывшую на взмахе руку. Платье ее было разорвано и полуприкрытые веки выражали боль. Голова была высоко закинута, как при быстром беге, и стебли ног бессильны, как у распятых. То ли янтарные зерна, то ли кровь на плече — уже я не различал. Камень теплел в моих пальцах, медленно она повернулась ко мне, застывшая на взмахе рука потянулась навстречу, и слабая, почти через силу, улыбка осветила ее лицо. И если бы расплавился янтарь, стекая по моим пальцам, и оставил ее у меня на ладони, меня бы это удивило меньше, чем то, что янтарь продолжал сохранять форму сердца.

3

Капелька янтаря боже, какая преграда! Большего в жизни не надо освободить бы тебя.

Лопни, янтарное сердце! Можно ли быть не вдвоем? Трудно с любимой молчком, тайно, как в школьном детстве.

Капелька светлого яда от одиночеств моих, волею волн морских я назову тебя — Янта.

Янта, находка, легенда, как это все перенесть? — в сердце уже ты есть, в жизни тебя еще нету...

Как, почему, когда? — все остается тайной, морем рожденной дайной, прошлого — ни следа.

Не перекрутит рыбак стрелок назад на ходиках. Как же, моя находка, дальше мы будем, как?

Просишь освобожденья, руки почти заломив... Ночью диктует прилив правила стихосложенья.

Но не содержат, нет, правила стихосложенья способа освобожденья от золотых тенет. Ночью пойду на маяк, даст закурить смотритель. «Ояр,— скажу,— посмотрите: сердца янтарный светляк!»

Ояр бинокль с груди снимет, посмотрит на яхты... «Время придет, твоя Янта выйдет к тебе, погоди...»

Стоит ли жить, чтобы жить? Скрипнут маячные дверцы... Как мне янтарное сердце, господи, оживить?

Чтобы на гребне беды, если закрутит скорлупкой, две ладошки — две шлюпки выросли среди воды...

4

Море, море... «Майн готт!» Сорок первый страшный год.

Море бьет в соленый пирс. Баржу тянут в Саласпилс.

В барже стонут латыши — девяносто две души.

Будет берег, будет пирс, под конвоем в Саласпилс!

Номер, пайка и барак... Вход — для всех. А выход как?

Выход — старым, молодым — превратиться в черный дым,

черный пепел опадет... «Море, может быть, спасет?»

«Я был моложе и крепче многих, большинство было подавлено безнадежностью, другие обессилели... Плавал я прекрасно. Только бы вырваться из трюма, а там поможет море. Вода шелестела по обшивке, от воды меня отделяли сантиметры, вот как тебя от Янты. — Ояр чиркает спичкой и, прикуривая, смотрит на янтарь. — Девяносто человек отказались, — может, они надеялись выйти из Саласпилса живыми... Скорее всего, моя идея побега выглядела безумием. Только одна девушка сказала: «Я с тобой, я очень хочу жить... Выплыву — не выплыву... Лучше море, чем топка...»

Прости, я не знаю ничего о ней. Даже имени не знаю. Тогда мне показалось, что она - из ливов...

Договорились, что прыгаем в разные стороны: она—в сторону берега, я— в открытое море. Я постучал в люк и сказал часовому, что в трюме появилась течь и вода прибывает. Мы стояли с ней по обе стороны трапа. Едва приоткрылся люк и показалась голова часового, я схватил его двумя руками и рванул вниз. Он загремел вниз головой по железному трапу, и раньше, чем он заорал, мы были на палубе. Как я предполагал, рассвет только начинался. Я видел, как она прыгнула в море. Еще секунда — и я был в воде. Нырнул, стараясь проплыть под водой не в сторону, а назад, по ходу баржи. Выныриул метров через тридцать — сорок. Стреляли, но беспорядочно, очевидно еще пе разглядели нас в утренних сумерках. Я нырял до тех пор, пока не затихла стрельба и баржа не ушла метров на пятьсот вперед. Лег на спипу, отдохнул несколько минут. Облако, висевшее надо мной, я запомнил навечно... Я был на свободе...

Надо было плыть к берегу, пока совсем не рассвело. Баржа уже темнела далекой точкой. Море было спокойным, я плыл, высматривая по сторонам, но девушку не видел. Звать было рискованно, но я трижды прокричал «я здесь» и поднял руку над водой.

На берегу, когда я вышел, увидел большие куски янтаря, не меньше твоего, но не до этого было...»

Я слушаю Ояра и ловлю себя на мысли, что отношу все это к ней. Значит, красное зернышко янтаря на плече — рана.

Но море не хотело, чтобы она умерла, и спеленало ее янтарем. Много лет море держало ее в своей синей свободе, пока не поняло, что эту женщину ждут, ходят по берегу, ищут.

Тогда встали высокие волны и вынесли ее на берег.

«Она тебе нужна — освободи ее», — сказали волны и отступили.

6

Нужна, нужна, нужна! Зачем и почему, не объяснит душа себе и никому.

Три века иль три дня ждать? Только ты явись, пусть даже от меня понадобится жизнь!

Ты есть уже, ты есть! В своем небытии — уже не там, а здесь — я чувствую твои

ладони по ночам... Как просыпаться жаль! Однажды, как свеча, расплавится янтарь

и ты возникнешь из холодного огня... Тогда скажу — моя понадобилась жизнь!

Андрей Вознесенский

ФРАГМЕНТЫ ИЗДЕТЕКТИВНОЙ ПОЭМЫ

Сюжет моей новой поэмы взят из реальности — не так давно я был на процессе банды, организовавшей похищение икон из церквей. В поэме мне хотелось дать несколько слоев — детективный, народийно-сатирический, музыкально-лирический и т. д. Поэма строится в жанре оперы, состоит из сценических картин и явлений. Впрочем, думается, сюжет серьезнее: не среди папшх ли современниц скрывается Вечная Красота, Божество, Мэдонна? Если она не в ших, так где же? Вот некоторые куски поэмы.

YBEPTHOPA

Шесть церквей повычищали под метелку. Шесть овчарок повели по алтарям. Сколько?

Сколько?

Сколько?

Весь урон не сосчитать колоколам.

Сколько, сколько, сколько разворовано веков по простоте? Скорбно вместо Сергия и Ольги ставим свечи мы безликой пустоте.

«Всем, всем» — колокольни-балаболки! «Воры взяты и суду дают ответ». — Сколько?

Сколько?

Сколько?

- Шесть, семь, восемь лет.

Все иконы по местам вернулись, найдены, кто в киот, кто в красный угол, кто в ларец. Лишь одна не вернулась —

Богоматерь,

Утешительница сердец.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ РОЗЫСК:

«Богоматерь, Утешительница сердец. Лик розов. Из особых примет: лишены слезников византийские нарисованные глаза, потому и в глазах разыскиваемой не задерживается

слеза.

Льют слезы за ней по пятам». Овчарки ведут по слезам.

ПРОЛОГ - ПОСВЯЩЕНИЕ

Где ты шествуешь, Утешительница, утишающая сердца? На великих всемирных Тишинках кто торгует Тебя у слепца среди плача и матерщины, Утешительница?

Под Москвою, Сургою, Уфою, на шоссе, прижимая дитя, голосующею рукою осеняешь не взявших Тебя. Утешенья им шлешь и покоя.

Утешение блудному сыну, утешенье безвинной вине, утешенье злобе́ ненасытной, утешения нужно земле.

Все другие — Твои филиалы. Не унижусь до пошлых диалогов с домоуправом или статьей — знаю только диалог с Тобой. Пу их к дьяволу!

Волк мочой отмечает владенья. А олень окропляет — слезой, преклоняя копыта

в волненье перед травами каждый сезон. Ты прости, что не смею в поэме вновь назвать Твоих главных имен. Край Твой слезами обнесен. Я стою пред Тобой на коленях.

Овчарки ведут по слезам. Стучатся. Похоже, что к нам. I

Полобриджиде надоело быть снимаемой. Лолобриджида прилетела

> вас спимать. Іеределкино колоколами

Бьет Переделкино колоколами на Благовещенье и Божью мать!

Она спимает автора, молоденькая фотографиня.

Автор припадет

к кольцу

с дохристианскою эротикой, где женщина берет запретный плод.

Благослови, Лолобриджида, мой порог. Пустая слава, улучив предлог, окинь мой кров, нацель аппаратуру! Поэт полу-Букашкин, полу-Бог.

Благослови, благослови, благослови. Звезда погасла— и погасли вы. Пустая слава, в шубке баснословной, Как тяжки чемоданища твои!

«Зачем Ты вразумил меня, Господь, несбыточный ворочать гороскоп, подставил душу страшным телескопам, окольцевал мой пальчик безымянный сгипетской пиявкою любви?

Я рождена для дома и семьи».

За кладбищем в честь гала-божества быот патриаршие колокола. «Простоволосая Лолобриджида, я никогда счастливой не была».

Как чай откушать с блюдца хорошо! Как страшно изогнуться в колесо, где означает женщина

начало

и ею же кончается кольцо.

Но поздно. Пора по домам. Овчарки ведут по слезам.

II

Моя бабушка, Мария Андревна, Баба Маня, проживаень ты в век модерна над Елоховскими куполами.

Молодая Мария Андревна была статная— впрямь царевна. А когда судьба поджимала, губки ниточкой поджимала. Девяносто четыре года.

Ты прости мне, что есть плохого. Бок твой сказывается к погоде. И все хуже она, погода.

Но когда под пасхальным снегом патриархи идут вкруг храма, то возносят глаза

не к небу — а к твоей чудотворной раме, где тайком через тюль подсматривает силуэт в золотом тумане. уже с той стороны бумаги — Баба Маня...

III

Уборщица, мо́я вокзалы, в ночном отразилась ведре как в пимбе себя увидала. Но в том не призналась себе.

IV

«Покажите мне сына! Не кладите мне шины. Дайте матери сына...» Через стены роддома, где не вхожи мужчины, слышу шепот мадонн: «Покажите мне сына!»

«Приземлился, мой родный. Как купол погас, мой живот парашютный... Высота тошнотою отогвалась. Покажите, прошу вас...

Покажите мне сына!» «Ори!» — сиделка просила. В склянке у изголовья роза с белым бутоном, как с младенцем мадонна пеленалась с любовью.

Так пойдет до кончины — Покажите мне сына! Мой пропащий багажик...

Расступитесь, осины, и Голгофы и стражи он еще вам покажет!

Кто пророка носила, видит дальше пророка, он ей сын беспокойный... «Покажите мне сына! Как опасна дорога... Богу надо быть двойней».

\boldsymbol{V}

Мама, кто там вверху, голенастенький,
руки в стороны — и парит?
Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

VI

МОЛИТВА МАСТЕРА

«Благослови, господь, мои труды. Я создал Вещь, шатаемый любовью, не из души и плоти — из судьбы.

Я свет звезды, как соль, возьму в щепоть и осеню себя стихом трехперстым. Мои труды благослови, господь!

Через плечо соль брошу на восход. (Двуперстье же, как держат папироску, боярыня Морозова взовьет!)

Уходит в люди дочь моя и плоть ее тебе я отдаю как зятю,— искусства непорочное зачатье.

Пусть позабудет, как меня зовут.

Сын мой и господин ее любви, ревную я к тебе и ненавижу. Мои труды, господь, благослови.

Исправь людей. Чтоб не были грубы, чтоб жемчугов ее не затоптали. Обереги, господь, мои труды.

А против бога встанут на дыбы — убив создателя, не погуби Созданье. Благослови, господь, мои труды».

VII

Реви, Ольга Корбут, по всем телевизорам! Будь только собой. Спортивных правителей терроризируют косички запретною запятой.

Пусть нищие духом сдадутся блаженно. Великие духом ревут в три ручья. Будь личность в прожекторном пораженье, а если ты личность — победа твоя.

Тебе запретили смертельные брусья. Почуяв, как в Лондоне худо одной, бобры и медведи твоей Белоруссии рыдают с тобой!

Рыдай, Оленька, что там боль за команду? Все золото мира и льстивое зло?

Когда ты маленькая богоматерь, а чудо — ушло?

Когда твоя вера, надежда и слава, тобою рожденная, снявшись с креста, простив твои страшные пьедесталы, в иные уносится небеса?

Увы, еретички — косички ледащие! Ты наша запретная слава летящая! Таких мы не знали среди чемпионов, лисичка лесная среди шампиньонов.

(Того перерезало финишной ленточкой, как питкой натянутой режется хлеб, и верхняя часть его под аплодисменты, как бюст, установлена в клуб или склеп.)

Лети, еретичка, вне схем Менделеева, не для печати, не для литавр. Не запрещайте — это смертельно! — Не запрещайте Ольге летать.

Суть — в каждом из нас,— это стоило выстрадать. Пусть в панике мир от попытки второй. Так что же есть Истина?

Это есть искренность!

Быть только собой!

На русском, арабском или санскрите — не врите, не врите, не врите!

Вам яблочков хотца? Возьмите, нарвите. Не врите, не врите, не врите.

Не делайте вида, не прячьтесь в стандарты, завидуйте, плачьте, страдайте.

Себе, в стенгазете или кульбите, не врите — ревнуйте, любите,

но Сути в себе не предайте, из прыти. Не врите, не врите...

Да сгинет лукавое самозванство! Она проиграла? Она бессмертна.

Занавес

Продолжительные свистки и аплодисменты, переходящие в буфет. Антрактная публика в кольцах и браслетах.

(Продолжение следует)

P. S.

Обижаться, читатель, не следует на оборванный мой зачин. Ведь и жизнь — «продолжение следует», только нам не узнать — зачем?

Игорь Волгин

* * *

Нас по грудь занесло листопадом, скоро вовсе мы сгинем под ним, ты грозишь мне то раем,

то адом, то забвением страшным своим.

Ты грозишь мне то счастьем,
то мукой,
то бессонницей долгой ночной.
Самой горькой на свете разлукой,
самой черной своею виной.

...Я напрасно не верил пророкам, оттого и накликал беду.

Я не выдам тебе ненароком, что написано мне на роду.

Отчего не сказал тебе сразу, что ни разу я не был влюблен, что от порчи

и бабьего сглазу я прабабкою заговорен.

Окажи мне последнюю милость: попроси у судьбы за двоих — чтобы только сбылось, чтобы сбылось хоть одно из заклятий твоих.

Ирина Волобуева

МОГИЛА УЧИТЕЛЯ

Над обелиском звездочка.

Прикрыв Могильный холм, пестрят цветы июля. Высокий колос — представитель нив — Стоит, склонясь, в почетном карауле.

И никнут сосны с четырех сторон — Безмолвные свидетели событий. Здесь Жаворонков Павел погребен, Фашистами расстрелянный учитель.

Как трогательны птичьи голоса Здесь, у опушки, где прохладой веет, Где молча сочетаются леса С певучею фамилией твоею.

Где сердцем видишь трав густую дрожь, И тишину, и этот полдень ясный. А ты,

а ты не знаешь, что живешь, Взойдя меж сосен звездочкою красной.

АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА

Гора махала мне крылом орлиным, Зубцом в небесный врезавшись простор. Внезапно Алазанская долина Внизу сияньем обожгла мой взор.

Она, меня притягивая далью, Свое торжествовала бытие, И даже слезы к горлу подступали От солнечной певучести ее. И в пору зим, и в пору долгих ливней, Свой колдовской не изменяя вид, Долина,

Алазанская долина, Всю жизнь во мне трепещет и зв**учит.**

И все зовет и не дает покоя, Томя своим сияньем голубым, Затем, что мне ни кистью, ни строкою Ее красы не передать другим.

Николай Глазков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

Насколько будут прочны Стеклянные листы, Ответит гиря точно С метровой высоты. Вот гиря та упала — И лист стеклянный вдрызг Разбился от удара На сотни мелких брызг.

* * *

Кого-то прочитать, пойти в музей, И что-то написать мпе нынче надо, И вечер провести в кругу друзей — Все хочется успеть, а трудновато.

Пойду в музей — кого-то не прочту, Сыграю в шахматы — не напишу чего-то.

* * *

Поэт пути не выбирает: Диктуют путь ему года. Стихи живут и умирают И оживают иногда.

Забыться может знаменитый Из уважаемых коллег,

Разбился не напрасно: Затем и нужен бой, Чтоб сразу стало ясно, Что сорт стекла — второй. Жаль, что в подлунном мире (Подумал я, Глазков) Нет объективной гири Для качества стихов! Гусь-Хрустальный

С друзьями встречусь — оставляю ту Иль эту очень важную работу.

А что важней? Задам себе вопрос И сам ответить на него сумею: Важнее то, что мне не удалось, Важнее то, чего я не успею!

И может стать поэт забытый Незабываемым вовек.

Случиться может так и эдак, И неизвестно потому: Кому смеяться напоследок И не до шуточек кому?

Татьяна Глушкова

* * *

Ах, в моей соловьиной глуши все ручьи, все кусты хороши: бескорыстным осыпаны пеньем! Взмах черемух, кривая ветла да река, что травой поросла, вороненка лазурные перья! Не нужна щеголиха свирель: это май, это поздний апрель овевают веселое горло.

Как свою раскаленную трель контрабасит обугленный шмель, как черешенный лепет метель над землей сыроватой простерла! И опять — удалой соловей над притихшей подругой своей, приподняв худощавые плечи, сыплет жемчуг с высоких ветвей, все вольней, все щедрей, все нежней соловьем повторяясь далече.

Владимир Гнеушев

У ШТИЛЕВЫХ ШИРОТ

Капитану 1-го ранга Тимуру Гайдару В делах невеликих и важных пускай хоть беда: «Начальство подводят однажды. Друзей — никогда».

Мы флотскую заповедь эту везде и во всем на гафелях чести по свету как флаги несем.

Белеют от соли регланы и сталь якорей. Мы вышли уже в океаны из устьев морей.

Усталых машин обороты авенят у виска. Уже штилевые широты виднее слегка. А годы обвисли, как снасти, слабее трубят. И сами мы стали пачальством для новых ребят.

Но вдруг и в таком постоянстве, в покое его, как в дни ослепительных странствий, блеснет озорство.

И кровь закипит. И от ветра заплещется флаг. И мы не боимся ответа за каждый свой шаг.

И сила не убывает, как в море вода... Себя мы подводим, бывает, друзей — никогда!

Александр Гольдберг

С тех пор, как побелела голова, Я глохнуть стал. Такое наказанье! Вблизи не слышу Громкие слова, А тихие — Ловлю на расстоянье.

ЗЛАТОУСТ

Златоуст, Это чудо-места! Златоуст — Золотые уста Стародавних и новых запевок. Золотого умельца рука. Золотая насечка клинка, Лезвие справедливого гнева. А еще — Таганай и сосна, «Громотухи» короткое лето, А еще — вышина и волна Заводского широкого света, А еще — и в тебе, и во мне Золотые его отпечатки — Тяготеньем К земной вышине Чудотворца Иванка Крылатки.

Николай Грибачев

МЕНЯ УЧИЛА УЛИЦА

Не говорите мне, пожалуйста, Что я жесток. И нет, и нет! С людьми, как мир да лад, безжалостно Не может поступать поэт.

Пусть всяк в особости и разности И двух похожих не найти, Их часть, я с ними в деле, в праздности, В застолье, в песне и в пути.

От них уйти — как в омут с берега, Где жрет улиток сонный сом, А я все страсти света белого Люблю в кипении людском.

Но если кто на драку просится, Так и не ной и не скули, Когда пылает переносица И чуб растрепанный в пыли.

В какой еще мне жить законности? Выкидывая белый флаг, Клониться в страхе и покорности Под всякий вскинутый кулак?

Ну, нет! Меня учила улица, Война, потом еще война— Когда ударят, не сутулиться, А сдачу выдавать сполна!

НА ЗЕЛЕНОМ КОРОМЫСЛЕ

Говорила бабушка моя, Старосельской доверяясь мысли, Что приносит радуга в поля Воду на зеленом коромысле.

Животворной доброты полна, Где, поглубже ведра окуная, Из озер берет ее она, Из живой реки лесного края. Нам природа радуг не в секрет, Не от них дождит и льет. Так что же! Мир, что мудрым вымыслом согрет, Всем, как есть, милее и дороже.

И сегодня повторяю я, Как сияют самоцветно выси: — Это радуга несет в поля Воду на зеленом коромысле!

CYTB

В свой срок, для критиков незримый, В тревожной духоте ночей Терзался я, гонясь за рифмой, Чтоб половчей да побойчей.

Я слова каждого особость Стократ исследовал сполна— Играй ворсистостью, как соболь, Звени, как струйка и струна,

Будь самоцельно, самоправно, Когда твоя придет пора, Витым дымком, клочком тумана Стекай с неспешного пера,

Аукайся из дальней дали, Шепчи былинкой у реки, Чтоб после «Ну, мастак!» сказали Ценители и знатоки. Потом, что в общем-то не ново, Узнал, как стал покруче путь,— Для смысла существует слово, Для созиданья. В том и суть!

Его деяньем стать усилья, А не в подпевку бубенцам, Дают мечте и песне крылья, Язык— любви, огонь — сердцам!

Оно, порой от мук кричащее, Идет под пули и ножи, Оно в суде лежит на чаше При иске правды против лжи.

И, не приемля сожаленья, Признаться должен, что втройне Мучительней и тяжелее Теперь слова даются мне!

Виктор Гончаров

* * *

Опять пришла пора дождей Листвы, летящей в воду, Когда спокойней, но острей Мы чувствуем природу.

И сожаленья нет во мне, Что лето миновало, Оно расплавилось в огне И чем-то прошлым стало.

Во мне осеннею порой Спокойно зреют чувства, И это ближе к грани той, Где властвует искусство.

И этот моросящий дождь, И лес в рассвете раннем — На полотно легли, как дрожь Пред вечным увяданьем.

Матвей Грубиян

(1909 - 1972)

* * *

Выдумки поэтов всегда бесполезные, но не о том речь, я мог бы под поезд своей поэзии на рельсы лечь.

Ведь думы мои были четкими гранками, оттиск с сердцем сличи, чернила— черный кофе с лунными баранками — мерцают в ночи.

Деревья веют тишью переулочной, вечность судьбы, когда город розово пахнет булочной, целую дым трубы.

Перевел с еврейского Спартак Куликов

Игорь Грудев

КОРОЛЬ ЛИР

Я видел — по лицу
Прошла гроза:
Сверкал безумный взгляд,
Слезами полный,
Рот — громом грохотал,
Ломались брови молний,
Потом с лица сбежали
Гнева волны,
И голубым
Проглянули глаза!..

* *

Она звенела
На опушке,
Травинки наклонив
Конец...
В той капельке,
Как в погремушке,
Катался
Солнца бубенец!..

Евгений Долматовский

БАЛЛАДА О ТРУБКЕ

Курить я начал в восемнадцать лет. Не знаю, это поздно или рано. Завел себе и трубку и кисет, Обрел надменный профиль капитана. Была шедевром марки «Главтабак» Та люлька из вишневого наплыва. Она пускала звездочки во мрак, Своей прямолинейностью красива.

Дышал я с хрипотцою горьким ртом, Как истинный курильщик и мужчина, И был влюблен... И выяснил потом, В чем неудачи хитрая причина. Поведала согбенная вдова, Что у нее тогда от дыма трубки Ужасно разболелась голова И сделались разумными поступки.

Мундштук не выпуская из зубов, Распаливал табак я то и дело. И прогорела первая любовь, А вместе с ней и трубка прогорела. Вернулся из Испании в те дни Печальный Эренбург, Илья Григорьич. Все трубокуры — на правах родни. Он дал мне трубку — в ней гнездилась горечь.

И мне казалось, будто бы с войной Дышу я из горячего обрубка. Война пришла и к нам. На фронт со мной Отправилась тетрадь стихов и трубка. Был страшный бой у волжских берегов, Тремя осколками в меня он метил: Одним — в бедро, другим — в тетрадь стихов, И в эренбурговскую трубку —третьим.

Зарубцевалась рана... Я тетрадь Еще одну завел... Припомнил строфы, Но где мне трубку новую достать? Мир без нее — на грани катастрофы. Но я счастливец иль счастливцем был: Плененный, выбираясь из подвала, Фельдмаршал Паулюс трубку обронил, И в тот же час она ко мне поцала.

Потом, на Эльбе, повстречался мне Американец. И, победы ради, В знак дружбы и на память о войне Мы с ним махнулись трубками не глядя. Достался мне отличный экземиляр, И качества и формы благородной. Едва погаснул мировой пожар, Настали времена войны «холодной».

Но в трубке той пожар еще пылал, А я предметам и приметам верю. Когда сломалась трубка пополам, Я тяжело переживал потерю. Восстановить бедняжку удалось, Скрепив кольцом растрескавшийся корень. Но линии пошли немного вкось, И сизый дым стал почему-то черен.

Да, дело было все-таки табак! И я лишился этой горькой музы. Потом в Хайфоне подарил рыбак Мне трубку из початка кукурузы, Один любитель предлагал сменять Ее на черешок, обшитый кожей, Но трубка остается у меня, И память горя остается тоже.

Конечно, жизнь опасно коротка, Но эту никотинную балладу, Как лекцию о пользе табака, Прямолинейно понимать не надо. Я вот уже три года не курю, Но мой рабочий стол украшен трубкой. Я о забаве этой говорю, А сам-то думаю о дружбе хрупкой.

Владимир Дагуров

ФОТОСНИМОК

Я обнаружил фотоснимки, которым двадцать с лишним лет. Я вижу там, в туманной дымке, своих родителей портрет.

Тот кадр любительский, нечеткий запечатлел— рука в руке— отца в заломленной пилотке и маму в ситцевом платке.

Таилась в их открытом взоре, в тяжелых складках возле рта вся глубина людского горя, людского счастья высота.

И было мне представить страшно сам факт открытья своего:

ужель я девушки той старше и старше юноши того?

У них обоих за плечами непобедимая страна, два сына и однополчане и отгремевшая война.

И можно ль мне сравниться с ними, хоть я в их возрасте давно, коль видят то они на снимке, что мне увидеть не дано?

Над фото мама загрустила и даже слезы пролила: «Ах, как же я была красива и как я счастлива была!»

Юлия Друнина

БАЛЛАДА О ЗВЕЗДАХ

Среди звезд заблудился ночной самолет, Полетели запросы в кабину пилота. И тогда услыхали, как летчик поет, Что спускаться на землю ему неохота...

И схватился за голову бледный комэск — Не поможешь безумцу, бензин на исходе... Только взрыв. Только звезд торжествующий блеск.

Только горло товарищей судорга сводит.

Да, конечно, был попросту болен пилот, Допустили напрасно его до полета... Снова крутится пленка, и летчик поет, Что спускаться на землю ему неохота.

Отдадут, как положено, пленку в архив, Сослуживцы уйдут на заслуженный отдых, И забудут со временем странный мотив— Песню летчика, вдруг заплутавшего в звездах...

Николай Доризо

* * *

О, как ты поздно, молодость, пришла. Почти на тридцать лет ты опоздала. Всю жизнь мою тебя мне на хватало... О, как ты поздно, молодость, пришла! Зачем пришла ты именно теперь, Зачем так жадно чувствую тебя я, Не только обретая, но теряя, Как самую большую из потерь! Я вроде был когда-то молодым, Но мог ли быть я молодым когда-то,
Так истово, так полно, так богато,
Как в эти годы
ставши молодым.
Познавши цену радостям земным,
Изъездивший почти что всю планету,
О молодость,
лишь только мудрость эту
Могу назвать я

Могу назвать я
Именем твоим!
Готов я бить во все колокола,
Приветствуя строкой
твое явленье,
Моя ты гибель

и мое прозренье, О, как ты поздно, молодость, пришла!

Благополучными Не могут быть поэты, И разлюбив И снова полюбив. Стихи

* * *

напоминают взлет ракеты: Чтобы взлететь ракете, Нужен взрыв. К тому ж она ступенчата,

ракета,

Лишь потому ракета и летит. Ступени бед, Потерь твоих, Обид, Ее носители. Поэт, Запомни это. Но вот она достигла высоты, И отделились от нее ступени. Сгорели

и исчезли в дымной пене. Летит ракета. Значит, счастлив ты!

Глеб Еремеев

На севере народ не говорлив, В безлюдной тундре звуки так негромки, И лишь олени, вьюгу просверлив, Порой промчатся в белые потемки.

Однако есть у северян закон, Придуманный каким-то звероловом, Да так и повелось уж испокон— Со встречным перемолвиться хоть словом.

А за слова чего благодарить. И кажется, что северяне грубы. Но это просто замерзают губы, И нелегко «спасибо» говорить. Попробуйте произнесите сами «Спасибо» задубелыми губами.

Жале

Звезд предрассветных белый караван бредет сквозь заросли дрожащих лилий. Восходит солнце, от его усилий ввысь уплывает призрачный туман. И новый день с улыбкою глядит на мир мечтаний, радостей, обид.

А мы порой в кругу своих забот, веселья, повседневных дел, невзгод так заняты, что этого величья в сердцах у нас стираются следы:

в груди своей не слышим песни птичьей, не видим танца трепетной звезды, не чувствуем в себе огня, что жарче далеких солнц и зорь рассветных ярче.

Перевел с персидского Анатолий Найман

Игорь Жданов

Зачем приехал я? Какие счеты? Какой реванш

через семнадцать лет? В ее глазах тревога и забота, Вторые сутки тянется обед. Нахальный и хмельной -

целую руку,

Зову в кино,

как будто под венец: Ну, вычеркни из памяти разлуку, И двух мужей,

и сына, наконец!

Ну, вычеркни! Будь молодой и глупой — Забытые стихи развороши, Глазищами испуганными лупай, Записки идиотские пиши! Все — как тогда... И даже радиола

ПРОЩАНИЕ ЗВЕЗДНОГО ПИЛОТА

Давай попрощаемся! Время откатывать трапы.-Спокойные люди Серьезное делают дело... Ракета привстала, Пружиня могучие лапы, Горит над снегами Ее совершенное тело. Живи, как умеешь, Будь счастлива — многия лета, — Тебе не осилить Дороги моей опаленной. В пустое пространство Я кану безмолвной кометой До нового грохота В бездне твоей задымленной. Не бойся — не будет

Все та же,

только песенка не та. — Ах, спать пора... Антону завтра в школу... А ты все не седеень ни черта! Все мальчик!.. Мальчик. Как тебе живется?.. Стихи читаю — грустно иногда...— И лишь в зрачках, Как в пасмурных колодцах, Сияет неподвижная вода. Чего мне надо? Почему обида? Она ж моя

без боя, без труда!.. Я промолчу. Я не подам и вида. Не надо возвращаться никуда.

> Письма и открытки поспешной, Живи, как умеешь, -Я больше вражды не затею...

Когда же на Землю

Вернусь -

молодой и нездешний,-Полвека просвищет Над тиферной крышей твоею. Глухая защита — Броня из металла и кожи, Но каждый жалеет И каждый — не может иначе. Мы рано уходим. Мы поздно вернемся... И все же Еще и такая Бывает на свете удача!

Анатолий Жигулин

МАКОВОЕ ПОЛЕ В КИРГИЗИИ

Семь лет мак не родил, а голода не было.

Поговорка

В колхозе — маковое поле. Оно в диковину для нас. Но вдруг напомнило до боли Родимый край, Вечерний час...

И желтый клин
За низкой горкой.
И скрип телеги,
И отца —
С его веселой поговоркой,
Что повторял он без конца.

Смешная поговорка эта Из дедовской Батрацкой тьмы Потом со мной прошла полсвета До самой дальней Колымы.

Была война. Пурга дымилась. И в перекрестье всех судеб

* * *

День ни солнечный, Ни пасмурный— Как несмелая любовь. Ни кораблика, Ни паруса. Словно музыка без слов.

Хвойной сушью Мягко выстлана В конных дюнах тишина. Легкомысленно, Бессмысленно На песке шуршит волна...

И почти невыразимая Начинается с утра Предосенняя, Предзимняя Предпечальная пора... Еще прочнее утвердилось: Важней всего на свете — Хлеб.

А здесь и вправду — Поле мака. И славный будет урожай. Но сердце дрогнуло, однако. И стало вдруг Чего-то жаль...

Как семена тянь-шанской ели С крутых обветренных камней, Они куда-то улетели — Заботы тех Ушедших дней.

А на сухом, кремнистом взгорке, Как прошлой жизни странный след, Качался мак — Из поговорки, Из дальних-дальних Детских лет.

Улетят в воспоминания — Ни забыть, Ни передать — Наши тихие гуляния, Золотая благодать...

Только музыка прощальная Все же внятно говорит, Что совсем не беспечальная Нам разлука предстоит.

Что когда-то Каждой клеточкой О последнем этом дне Дрогнет сердце Хрупкой веточкой, Как от ветра на сосне.

Павел Железнов

B BEHE

Застенчив и угрюм на вид, с искусственной улыбкой, у сквера в Вене он стоит — вниманья просит скрипкой... Туристы встали вполукруг, смычок упал на струны, и все вокруг исчезло вдруг в лучах сонаты Лунной. Ее мы слушали зимой в Москве, в Колонном зале, а он сонату, боже мой, играл не на рояле! Но пели струны, как рояль, и музыкант был в трансе,

и время улетало вдаль и таяло в пространстве. И шпиль собора в вышине похож был на антенну, и вспоминалось о войне, о днях боев за Вену... Играть, как тот бедняк играл, не многие б сумели. Ему бы дать концертный зал, а не клочок панели... «В Европе нужен не талант, а спину гнуть уменье!»—смеется старый музыкант, затертый льдом забвенья.

Василий Журавлев

ПУТИ И СРОКИ

Пути к свершенью тяжки и жестоки. Пройди их так, как совесть повелит и как велят тебе твои истоки.

Гляди, уже под стражей повели ветра́ ночную тьму. И на востоке цветение в сплетеньях повилик. В плодах бунтуют созреванья сроки. Кричат сороки, и кричит кулик. Управишься ль в положенные сроки?... А срок для совершенья невелик!

БЕСТАЛАННОСТЬ

Вглядитесь: здесь и мысль как будто в стае, бесспорно слово и бесспорна суть, а все чего-то вроде не хватает.

И ясен путь, а все не ясен путь. И в равнодушье скуки до зевоты нетронутою прозябает грудь.

Ни золота тебе, ни позолоты. И сердцу, не привыкшему стоять, в который раз нет никакой охоты натруженные крылья расправлять.

Василий Захарченко

ИСТОК

Я часто замираю перед тайной. Ей имя — жизнь. Найти ее исток — Ту ниточку, которая, случайно Не оборвавшись, перешла в росток. И затаив дыханье я стою У бездны лет на колдовском краю. Что в глубине? Какая жизнь клубится? Каким самоотверженным огнем Зажжен костер земного бытия? В разрядах молний, в грохоте грозовом, В рассоле огнедышащей планеты Родился крохотный комочек жизни — Икринка, стусток, капелька росы... Еще без сердца — только содрогаясь... Еще без мысли — только пробиваясь Слепым инстинктом к свету и теплу.

Без страха, без любви, без сожаленья, Без ненависти, горя и страстей... Без ничего...

По все неотвратимо
Пришло к тебе сквозь миллионы лет.
Пришло глухим влечением рептилий,
Тоскою мамонта, трубящего во льдах,
Беспомощным восторгом троглодита
С гримасою улыбки на губах
Пред пепонятным чудом красоты...
А ты?
Молчишь...

Ты, человек, все знаешь... Все претерпел и все постиг, поди... И сердце содрогается в груди, Им мыслью ты века опережаешь.

Анатолий Землянский

УТОЛЕНЬЕ

Расстались мы с укладом штатским И по-военному пошли. И кланялись строям солдатским Колодезные журавли.

Бадейка била сладко с ходу Плескучей влагой по глазам, И пили, кажется, не воду, А чудодейственный бальзам.

Впивались жадно струи в фляги, И в пот бросало котелки... Как на приветственные флаги, На зов колодцев шли полки.

О, эти всплески, эти капли!.. Один глоток — и легче путь!.. А если раны, словно камни, Солдату сдавливают грудь!.. В час этот, Злой И смертно трудный, Когда с последним рвется нить, Одно вышептывают губы, Одно-единственное: «Пить!»

Одно страдающему мнится: Что властью неба самого Колодцы все И все криницы Вдруг стали болями его.

И опрокинуть наважденье, Разлившееся как река, По силам только утоленью — Пусть это будет полглотка.

В полупотерянном сознанье Все станет близким и родным, Как будто праздничною ранью Припал к травинкам росяным.

Анатолий Заяц

* * *

Под выстрелами сгибнет тишина. Пробоины в мишенях пулевые. Понятно всем — Когда идет война, Тогда воюют части полевые.

Когда двадцатилетние идут, Великолепной выправкой блистая, Я понимаю — Ни один редут Пе устоит, травою прорастая.

Но вот когда Семидесяти лет Кузнец, Махавший молотом дотоле, Берет в ладони легкий пистолет, Чтоб с ним врагов встречать на бранном поле,

Но вот когда Оружие берет Учитель, Что пером владел доселе,— Тогда народ, Тогда уже народ, Тогда народ воюет В самом деле.

* * *

В ту ночь, Где тишь да гладь, В ту полночь без метели Останьтесь ночевать, Мы вам постель постелим.

Вам ехать не с руки — Куда в такое лето? — Хотя бы у реки Останьтесь до рассвета.

Бегу я, сам беглец, В ненастье без накидки. Останьтесь, наконец, Хотя бы у калитки.

Ну, иногда во мне, Товарищи, нуждайтесь. И только в стороне От счастья не останьтесь.

Виктор Завадский

ПАРОДИИ

ЧТОБ УСЛЫШАЛА ДЯДЕНЬКУ ТЕТЕНЬКА...

Становлюсь я все проще и проще, Все бесхитростней день ото дня...

Коровки-буренки мне машут хвостом, Пасутся в сторонке, порядок кругом...

Хороший денечек, хорошее лето, Хорошие люди, мне нравится это!

Вот мятлик, вот лисичка, вот пырей...

Далеко ли, дяденька? — Я в Ильино.
Зачем туда? — К тетеньке. — Детям смешно.

Я и сам, дорогая, Иванушка, Простофилюшка-простота.

Виктор Боков

Становлюсь я все пуще, все проще, Все духмянистей день ото дня. А живу на земле все неплоше, Потому как — талант у меня.

Я не мог не прослыть, не прославиться, Ибо дар в себе редкий ношу:

Что мне встретится, то и понравится, Что понравится, то и пишу.

Вот по полюшку ходят буренушки, Мне приветливо машут хвостом. Если нужно, отходят к сторонушке: Чистота и порядок кругом!

Вот лесочек, дубочек, пенечек, Вот цветочек, вот травка, пырей, Вот какой-то (не мой ли?) сыночек Прокричал мне приветливо:— Эй!

Ты чего тут шатаешься, дяденька? — Я тут тетеньку, милый, ищу! Чтоб услышала дяденьку тетенька, Я, дружочек, в свисточек свищу.

Он ушел. Захмелев от просторушка, Опупел от красотушки я. ...Кто Иванушкой, кто Викторушкой, Кто поэтушкой кличут меня.

ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДИРОВКА

...Звучит коровья песенка В хлеву, во глубине двора. Мне эта песепка несложная Так благодатна, так сладка.

Римма Казакова

Я жизнерадостно скучала, когда, откуда, не пойму, протяжно-нежно прозвучала второй октавы нота «му»...

Неужто, боже мой, корова! Поет, а ведь живет в хлеву! Но вот она запела снова, и я, не выдержав, реву!

И так мы, бабоньки, запели — я первым, а она вторым,— что соловьи осоловели и смолкли: стыдно стало им...

Александр Иванов

ПАРОДИИ

Я ВАМ ПИШУ

Во сне я вижу:

приезжает Пушкин.

Ко мне.

. На светло-сером «Москвиче».

Майя Борисова

«Я вам пишу...» —

так начала письмо я,

Тем переплюнув многих поэтесс.

А дальше — от себя.

Писала стоя.

И надписала: «Пушкину А. С.»

И дождалась!

У моего подъезда

Остановились как-то «Жигули».

Суров, как месть,

' неотвратим, как бездна,

Выходит Пушкин вместе с Натали.

Кудряв, как бог,

стремительный,

в крылатке,

Жену оставив «Жигули» стеречь, Он снял цилиндр,

небрежно смял перчатки

И, морщась,

произнес такую речь:

- Сударыня, пардон,

я знаю женщин

И воздаю им должное, ценя, Но прибыл вас просить,

дабы в дальнейшем

Вы не рассчитывали на меня...—

Стояла я

и теребила локон, Несчастней всех несчастных поэтесс.

И вижу вдруг,

что едет мимо окон

И делает мне ручкою

Дантес!

ОБЗОР

С детских лет и мпе завет завещан скромности. Его я берегу... Но я видел раздеванье женщии на крутом рассветном берегу...

Евгений Винокуров

Бесконечной скромностью увенчан, в размышленьях проводящий дни, наблюдал я раздеванье женщин не нарочно — боже сохрани!

Небосвод безбрежен был и ясен. Вжавшись в землю, я лежал за пнем, притаившись. Был обзор прекрасен, слава богу, дело было днем.

Весь сосредоточен, как дневальный, я сумел подметить, что хотел: эллипсообразны и овальны впадины и выпуклости тел!

Искупались... Волосы намокли. Высохли. Оделись. Я лежу. Хорошо, что с детства без бинокля я гулять на речку не хожу!

ПЕНЕЛОПА

Ее улыбка неземная звучит, как исповедь моя... И Афродита это знает и не уходит от меня.

A ндрей Дементьев. «A фродита»

Хоть о себе писать неловко, но я недаром реалист. Ко мне пристала Пенелопа, как, извиняюсь, банный лист.

Она такая неземная, и ясный взгляд, и чистый лоб. И я, конечно, это знаю: что я, не знаю Пенелоп?!

Я долго думал: в чем причина моих успехов и побед? Наверно, я такой мужчина, каких и в Греции-то нет...

До этого была Даная... За мной ходила целый год. И Пенелопа это знает, но от меня не отстает.

Шла бы ты домой, Пенелопа!

КТО КУДА

Человек отыскивает извлечение, преграждает шальные потоки, но куда же девается все излучение, эманация, биотоки?

Кирилл Ковальджи

Мужчины оставили развлечения, перешли с коньяка на соки. Они отыскивают извлечения, эманацию, биотоки.

Врачи освоили трансплантацию, что, вообще говоря, прекрасно.

Женщины ударились в эмансипацию, где «она», а где «он» — неясно.

Все поумнели, все мечутся, все сами себе члены-корреспонденты. Обрушились на голову человечества информации шальные ингредиенты.

И лишь писатель, словами живописуя, выглядит, как белая ворона. А меня, поэта, главное интересует: кто же остался у синхрофазотрона?!

БОЛЕЗНЬ ВЕКА

В серьезный век наш, Горла не жалея, Махнув рукой на возраст и на пол, Болеет половина населенья Болезнью с кратким именем футбол.

Анатолий Заяц

В серьезный век наш, Сложный, умный, тяжкий, Весь наш народ — куда ни погляди — Болеет нескончаемой мультяшкой С названием дурным «Ну, погоди!..».

Я возмущен. Готов орать и драться, Я оскорбленья не прощу вовек. Какой-то Волк, мерзавец, травит Зайца, А может, Заяц тоже человек?!

Ну погодите!
Мы отыщем средство,
И крепко злоныхателям влетит.
И вам, апологеты зайцеедства,
Поэзия
Разбоя не простит!
«Ну, погоди!..»— учебник хулиганов,
Считаю я и все мои друзья.
Имейте совесть, гражданин Папанов,
Ведь вы же Анатолий,
Как и я!!

Фазиль Искандер

МОДЕРН

Невыносима эта фальшь Во всем — в мелодии и в речи. Дохлятины духовной фарш Нам выворачивает плечи.

Прошу певца:— Молчи, уважь... Ты пожелтел не от желтухи...— Невыносима эта фальшь, Как смех кокетливый старухи.

Но чем фальшивей, тем звончей Монета входит в обращенье, На лицах тысячи вещей Лежит гримаса отвращенья.

Вот море гнилости. Сиваш. Провинция. Шпагоглотатель. Невыносима эта фальшь, Неправда ли, очковтиратель?!

Давайте повторять, как марш, Осознанный необратимо: Невыносима эта фальшь, Да, эта фальшь невыносима.

* * *

Вот и определилось: Кто, куда и зачем. И не вчера появилось: Я есть то, что я ем.

Вот и определилось... Кушаешь? Хорошо. Кушаешь, сделай милость, Будет добавка еще.

Перекрутила юность Тропы разных начал.

Что же сидеть, пригорюнясь, Опознавай идеал.

Вот и определили Самый последний предел, Самое «или-или», Точку, водораздел.

Это над бездной и высью Дьявола с богом дележ: Я— есть то, что я мыслю, Ты— есть то, что ты жрешь!

Рюрик Ивнев

* * *

За ветхий дом, за полустанок, За зорь небесных янтари, За снег, за скрип скользящих санок Судьбу свою благодари.

Благодари за шум прибоя, За негу, шепот, легкий хмель, За небо с звездною резьбою И за солдатскую шинель.

За муки горькие, за счастье И за июльский теплый дождь,

За шелк туманов, за ненастье, За желтизну осенних рощ.

Благодари за каждый камень, Который встретил на пути, За прожигавший сердце пламень. За блеск чуть видимых светил.

Благодари за ветер в поле И за зеленый лепесток, За жизнь, за хруст песка и соли, За папиросный огонек!

РАЗГОВОР С ДЕРЕВЬЯМИ

Пусть со мною вы не говорите, Стоит мне на вас взглянуть хоть раз, Как неосязаемые нити Навсегда соединяют нас.

Если же сюда прибавить краски, Все оттенки солнечных лучей, Всю траву, что жмется без опаски К мускулистым выступам корней,

Кажется, что все взаимосвязи Наших душ с зеленою листвой — Не досужий плод моих фантазий, А закон природы вековой.

И когда мне делается грустно, Может быть, у самого окна Мне береза отвечает хрустом Или скрипом горестным сосна.

Может быть, когда, виски сжимая, Не могу уснуть я до утра, Старый дуб Камчатки, умирая, Слушает удары топора.

Пусть, деревья, вы не говорите, Стоит мне на вас взглянуть хоть раз, Как неосязаемые нити Навсегда соединяют нас.

Александр Испольнов

Сегодня все мрачны. От мелких брызг Прячемся за окном. И северный небосвод навис, Зябкие тучи кругом.

Не раз, не два проклинал я сам Промозглость осенних стуж, Бледное солнце в пустых небесах, Тусклую слякоть луж...

Но если солнце искать уйду, То не забуду о ней — Земле той пасмурной, где в году Лишь семьдесят ясных дней.

Однажды весной я вернусь назад Дорогами птичьих стай Сквозь ледяной арктический ад И гнилой тропический рай,

Вернусь, потому что в любых краях Никогда забыть не смогу Цветы голубые в желтых полях И белый след на снегу.

* * *

Идешь. Темно. Устанут ноги. И ты услышишь на пути — Не сердце, а комок тревоги, Сжимаясь, мечется в груди,

Стучит: «Взгляни, эфемерида, У ног не почва — тонкий лед... Земля огромной Атлантидой, Качаясь, в космосе плывет...»

Она среди планет сияет. Но странно, будто принят яд, На полушариях зияют, Болезненно огни горят.

То взрыва бред, то жар напалма, И недра стонут, дым как спрут, Бамбук и кедр, орех и пальма, Обугленные, молча мрут.

Угроза в воздухе витает... Отрава, копоть, ржа и прах... Чего мы ждем? Природа тает, Как крик, затерянный в волнах!

Закат ограбленного рая... Больна душа Земли — вода, И рыба гаснет, умирая... Подкрадывается беда!

Все от Земли, все в долг без срока: Бездумен алчности порыв. Медлителен язык пророка — Людской рассудок тороплив.

И от тревоги нет укрытья... Сейчас остаться б одному, Вольфрамовой горящей нитью Рассеять комнатную тьму,

Писать! Чтоб мощь ночного жара В душе загладила следы, Оставшиеся от удара Еще не сбывшейся беды.

Римма Казакова

* * *

И мудрость есть, и опыт, и нервы не слабы, хоть поистерся обод у колеса судьбы.

И нет тоски горючей над сладкой ложью снов, над вязью закорючек, не ставшей связью слов.

Да и любви не жалко, не прошенной уже. Ни холодно, ни жарко обветренной душе.

* * *

Творю добро, а все не легче. Не продаю: даю, дарю. Добро не радует, не лечит... Быть может, не для тех творю? Ну что же ты кривишь душонкой? Честнее было б — в стороне... Не я попалась на дешевку: недешево ты стоишь мне. Я так хотела, так стреляла, я приказала так руке;

* * *

По праву суда посвященных впервой нас младшие судят сурово. Мы вытерпим это, мой друг боевой. Пусть дразнится юная свора!

Им наши промашки не раз повторять, как мы стариков повторяли. Им нечего в жизни еще потерять, а мы, что могли, потеряли.

И равенство это, что скрыто внутри раздора святого предмета, Да я ли не смирялась на трассах лет шальных и весело смеялась покорности иных?

Да я ли та, чей в прозе житейской — ровен след, что лишь здоровья просит у быстротечных лет?..

Да, я... Они суровы, уроки прошлых дней. Но — были бы здоровы! И дело — потрудней.

мишень стоит, как и стояла, все мои пули — в «молоке». Творю добро — весь скарб, что нажит, несу под чей-то нищий кров. Добро себя еще покажет, десятку-сердце пропоров. Мятежнее восставшей Пресни, страшнее, чем девятый вал! И может. ты еще воскреснешь, добром убитый наповал.

тревожным крылом их весенней зари касается нашего лета.

Снимает повинность на время пенять с его маетою и маем... Пусть этого им до поры не понять — довольно, что мы понимаем.

Купонов и мы, как они, не стрижем. Дорога нас не укачала. Мы в дальнем пути обросли багажом, но жизнь, как и раньше, — сначала.

Владимир Карпеко

* * *

Поэты все писали про собак. Казалось бы, старо уже... Однако я этот стих оправдываю так: у каждого была своя собака... Мой пес обычным был приблудным псом: однажды я, из школы возвращаясь, его увидел вдруг -на нем, одном, дворовых всех собак висела стая. — На одного?! вскипело все во мне. И подлый враг недолго битва длилась бежал под градом мстительных камней, и восторжествовала справедливость. На рану пса обильно йод я лил был никудышным лекарем тогда я. А он стоял и даже не скулил, с покорной терпеливостью страдая... Прижился пес. Носился во дворе, участвуя во всех мальчишьих играх. И в каждой нашей новой был игре то серым волком, то слоном, то тигром. Каких, бог знает, был он там кровей: по-моему -обычная дворняга. Но верностью, но честностью своей, но преданностью, смелостью, отвагойон был превыше всех других пород: любых болонок, пуделей и догов. имк йонйомоп то И до ворот я для него был самым главным богом. И чтобы доказать, что я не бог,-

из зависти, конечно, не иначе один пацан сказал: А вот слабо́ Волчку залезть по лестнице чердачной!.. — Волчку слабо? — завелся я.— Ах, так?!.. (Мы в детстве все заводимся мгновенно). --И в пять секунд взлетевший на чердак, я свистнул псу... Но, что это? Измена?! — Ко мне!!!— И, в голосе услышав гнев, он завертелся, заскулил тоскливо. А я оттуда, с чердака: — Ко мне! Ко мне, Волчок! кричал нетерпеливо. И он — полез... Ах, как он лез, мой пес! От напряжения дрожали лапы... Срывался... И опять упрямо полз... А я сидел на чердаке и плакал... И он — долез! И, не скрывая слез, по лестнице, по той, по деревянной, я на руках его обратно снес и возвратил земле обетованной... Ну, вот и все... Но с той поры до сей, во всех своих исканьях и скитаньях, я никогда не проверял друзей в придуманных нарочно испытаньях.

Василий Казанский

ПАСТУХИ

Скользнув сквозь полуспящую рябину, луч солнца заглянул ко мне в окно, на стену розовое пламя кинул, поджег и угол печки заодно.

Два пастуха деревней шли. Шаги звучали гулко:— Бабоньки, не спите!— Рожки запели «Не белы снеги», хозяек торопя: — Коров гоните!

ТИХАЯ ЖИЗНЬ

Ров глубок. Крутые откосы поросли березкой, ольхой. А на дне узкое плесо и над плесом ивняк глухой.

Все видней он, густой, курчавый, поредев, розовеет мгла... Отраженья тихо качая, волна по воде пошла. Рожки то ноя, то гудя слегка, так выговаривали в ранней рани, как будто и не пастухи играли — Русь подавала голос сквозь века. Рожки всё пели в зоревой тиши, и грезилось мне в полусне: возможно, не слишком уж беспочвенно и ложно задумано бессмертие души.

И вижу сквозь чащу прутьев: за мамой десяток чирят проплывают пуховки-ути, поближе к ней норовят...

Беззаботно живется, сыто в тени прямых берегов: очень надежна защита— противотанковый ров.

Инна Кашежева

Календари недогадливы... Ах, обманули бы раз правдами или неправдами праздно болтающих нас!

Нет, человек, не печалуйся! Духом окрепнем в борьбе. Больше жалей, меньше жалуйся, как подобает тебе.

Жизнь, что отпущена, выполни и не старей никогда. Молодость — это лишь выдумки тех, кто считает года.

Алексей Кафанов

ВОЛШЕБНИК

Худой, высокий, с впалыми щеками, Державшийся не то чтобы в тени, А так вот просто жил он рядом с нами — Единственный волшебник в наши дни.

Лицо стянули добрые морщины, Но не был добряком, черт побери, — Он был похож на ножик перочинный, В котором скрыты лезвия внутри.

Мы книжечки ему свои дарили.
Он слабо полистает — и в пиджак.
И ничего тебе не скажет или:
— А знаешь,— скажет,— ничего, босяк.

И я вот написал стихотворенье, Не знаю, получилось или нет?..— Ему твое необходимо мненье, Как будто ты, невесть какой поэт.

А строчки, им написанные,— диво! Откуда, как пришли к нему слова, Что на места уложены счастливо По всем законам тайным волшебства?..

Мы столько лет с надеждою упрямой Хотим открыть, понять, постичь секрет. Но, может, мастерство и есть тот самый Волшебный дар? И в этом — весь ответ?

Михаил Квливидзе

Трудяга дятел, дерево долбя, Трудом загубит самого себя... Гуляка жаворонок, в свой черед, Веселым свистом сердце разорвет...

А я — в предгорьях Картли, на ветру,— Не знаю, где свалюсь и как умру.

Хвороб не замечая и обид, Трудяга дятел дерево долбит... Работает не разгибая плеч. Одна забота — дерево сберечь! А жаворонок — в голубой пролом Вворачивается веретеном... Одна у жаворонка благодать: Случайной трелью слух околдовать! А я, всем страхам уплативши дань, Отчаянья переступаю грань. Карандашом царапаю тетрадь: Как птицам — жить... как птицам — умирать...

Перевел с грузинского Вл. Полетаев

К ГРУЗИИ

Не верю я, что ты меня с любовью Лишь для того учила языку, Чтоб в честь тебя, в угоду славословью, Я жизнью расплатился за строку. Не может быть, чтоб в тишине и громе, В очарованье далей и дорог Я — хлеб, и соль, и кров домашний,— кроме Как у тебя, нигде найти не мог! Огромный мир, лежащий за порогом, Манил меня, и в белизне страниц Твой алфавит казался мне предлогом

Рассказа о пространстве без границ. И мне хотелось говорить о многом, Увиденном в далеком далеке, Как ты — прекрасным, откровенным слогом Тебе на материнском языке. Рассказывать о том, что всюду — люди, И каждому один сверкает взгляд, И пристально, в космической остуде, За всеми сверху спутники следят.

Перевел М. Дудин

Дмитрий Кикин

(1919 - 1971)

ЛОСЕНОК

Если, вас подняв спросонок, Постучится в дверь лосенок, Строен, тонок, легконог, И потянет за порог,— Не чурайтесь, не гоните, Верно, он пришел не зря, Одевайтесь, выходите В темный холод января. Что бы там могло случиться? Не гнала ль кого беда? Не замерзла ль в поле птица? Не разбилась ли звезда?

Может, ровно в полшестого Через стужу, через лед Ваше собственное слово Вас по голосу найдет? Не гоните же лосенка, Не бегите от беды. В ранней сумети поземка Заметет его следы... Ничему уже не сбыться, Ничего не загадать. Лишь серебряным копытцем Будут ходики стучать.

Мои друзья—деревья, птицы, звери, Осенних троп есенинская звень. И горше, чем была, уж не познать потери, И самый радостный уж прожит мною день.

Чего желал — тому при мне не сбыться, Но мне тепло в прохладности чужой; Близка пора, пусть сердце укрепится, Ко мне придут деревья, звери, птицы На старый холм над солнечной Окой.

Александр Коваль-Волков

ЗАИМОВЫ

Я у Заимовых, в Софии.
Беседую с женою генерала,
Седою доброй женщиной спокойной.
С ее красивой дочерью и сыном.
Сын — генерал, похожий на отца.
Заимов в грозный час борьбы с врагами Фашизму беспощадный бросил вызов,
Царю и всем приспешникам его.
Он сделал выбор и не отступил.
И победил врага ценою жизни...
Я слушаю и задаю вопросы.
А думаю невольно о другом —
О горе, что постигло их недавно:
На боевом посту погиб Заимов,
Внук славного Заимова, пилот.

Еще в листовках траурных София, Огромное их разделяет горе, Еще сердца их стиснуты утратой... Они себя не выдают ничем. И кажется мне, мужество семьи Себе не знает равных потому, Что их утрата в дни былой войны В судьбе отчизны подвигом взошла. Дает им силу мужество народа, Которого был совестью и славой Тот легендарный генерал Заимов, Достойный славянин и патриот, Великий сын Болгарии своей, Герой Советского Союза...

Вадим Ковда

* * *

Хоть на миг, на секунду хотя бы повернуть это время назад, где березы, как курочки рябы, на пригорке на белом стоят.

Не спешите, родные мгновенья, подчинитесь, нехитрому, мне. Продолжайся синичкино пенье на моем опустевшем окне.

Пой, синичка, счастливо и тонко, продолжай по кормушке скакать.

Словно «кинщик» свою кинопленку, я хочу времена пропускать.

Только слишком в былом застреваю — настоящее мимо летит, забываю и не успеваю. Настоящее мне не простит.

И, быльем и забвеньем поросши, нелюбимое все наперед, настоящее, сделавшись прошлым, свои старые счеты сведет...

Владимир Костров

ПОЕЗД МОСКВА — БРЯНСК

Этот путь лежит с войны Великой прямо на Берлин и на Потсдам. Женщины выходят с земляникой точно к проходящим поездам. Проезжаю по родному краю, пахнущему елью и сосной. Ничего на свете я не знаю слаще этой ягоды лесной. Временем крещенный

у ОКНА

Останкино сочится сквозь листву, в листве щебечет столько певчей разности. Я словно роща Марьина живу в надежде на нечаянные радости. Как будто бы сквозь порох и свинец из огненного всполоха гремящего опять в мою судьбу сойдет отец с теплушки эшелона проходящего. Перрозная во мне металась боль, и подступало тихое отчаяние, и все-таки мы встретились с тобой нежданно, негаданно, нечаянно.

и пространством, от Москвы протопавший пешком, дядя мой лежит в земле под Брянском, здесь, под земляничным бугорком. Он упал, он задохнулся криком, горизонт пылающий погас. Женщины приходят с земляникой. Мертвые заботятся о нас.

Мне трезвый разум шепчет:

— Не спеши.
Реальны только заданность и видимость.—
Но встречного движения души моей душе дороже неожиданность.
И брезжит сквозь стекло неясный свет с тревогами,

заботами, печалями.

И слава богу, что под сорок лет еще бывают радости нечаянные.

Григорий Корин

ИЗ СТИХОВ ОБ ОТЦЕ

Манна небесная детства, Не истай до конца. Дай наглядеться, Дай наглядеться, Пока я вижу живого отца.

Улица, солнышко, ветка, Черного скинь гонца... Дай наглядеться, Дай наглядеться, Пока я слышу голос отца.

Полночь черней погорельца, Сбит фонарь у крыльца... Дай наглядеться, Дай наглядеться, Пока я слышу дыханье отца.

Нет чародейного средства, Не отсрочить конца... Дай наглядеться, Дай наглядеться, Пока я вижу руки отца.

Дай, чтоб не дрогнуло сердце, Не искази лица... Дай наглядеться, Дай наглядеться На печаль и тоску отца.

Алексей Кондратьев

Рассвет на цыпочки вставал, Высматривая путь:
Он был сначала ростом мал, Трава и та по грудь.
Неслышное начало дня, Тот затаенный миг, Который жил и до меня, Но лишь сейчас возник. И в невесомой тишине, Однажды на веку, Мелькнула птица, Как во сне, И вывела строку.

И звук, забившийся в строке, Не разбудил леса. Не затерялся вдалеке, А выпал, как роса. Рассвета пальцы холодны И от росы мокры, Но как вы нынче ни бедны, Они и к вам добры. Прикосновение ко лбу, К запекшимся губам Не переменит вам судьбу, Но день подарит вам.

Анисим Кронгауз

ИЮНЬ СОРОК ПЕРВОГО

Последняя минута расточалась В порыве молодого мотовства. Она текла, текла и не кончалась, На самом волоске часов качалась, И все-таки была еще жива. Никем не обнаруженною миной, Замаскированная под тропой, Последняя минута жизни мирной, Последняя минута жизни милой, Последняя минута жизни той. Слонялись мы лениво и беспечно Еще неотделимы от родни,

Была неисчерпаема и вечна, Неограничена и бесконечна, Как звезд зеленоватые огни. Свалившись наземь на спину в осоках (Три месяца еще до сентября!), Не об уроках или о массовках, — Блаженство — о материях высоких — Полдня прожить, неспешно говоря. Нам зрелыми казались наши думы И волосы оброненные вкось. Мы были байронически угрюмы И заказали первые костюмы, Которые надеть не довелось.

Сергей Красиков

Ходила тульская гармонь В селе под липами, Гасила песенный огонь,

Давилась всхлипами, Тоску тягучую вела Через колдобины, И шла, как грустная вдова, Ее мелодия. Но вот, стряхнув с мехов хандру, Стряхнув печалинку, Гармонь забилась на ветру Огнем отчаянным. Перемешались боль и страх Под крышкой лаковой, Гармонь в отчаянных руках От счастья плакала.

Эльмира Котляр

ЗАСТОЛЬЕ

Стол крылья раздвинул, скатерть раскинул:

— Милости просим персон двадцать восемь! Пировать — скатерть заливать.— Штоф:

— Я готов! — Пирог с грибами

чмокает губами.
Пирог с капустой:
— Я самый вкусный! —
Пришло жаркое,
еще какое!
Ух!
Перевести дух!
Поют бокалы здравицу:
— Нам застолье нравится!

Анатолий Кудрейко

РАССТАВАНИЕ

Как в молодости легко с краем своим расставаться! Да стоит ли убиваться, хоть ехать и далеко. Подумаешь, дом, река, отмелей позолота... Была бы только охота, вернешься издалека!

И я распрощался с рекой, где льнут к верболозу откосы, где за окном абрикосы смущают пушистой щекой, где первые пробы пера измаяли мукою сладкой, где лунная пыль над тетрадкой вилась, как над чернью Днепра.

Московская карусель полвека скринит подо мною, кружусь на лошадке, не ною, что не достигнута цель, что не блеснуло огнем хотя бы единожды слово, а жаждавший звездного лова, я думал и думал о нем.

Как просто однажды махнуть туда, где остались истоки, но так уже властвуют сроки, что смотришь иначе на путь. Как в старости тяжело с другой стороной расставаться! Да стоит ли подаваться, когда твое время ушло?!

Татьяна Кузовлева

* * *

И тень потому не ложится На пройденный, прожитый путь, Что солнце никак не решится Открыто на землю взглянуть.

Мелькают крылатые весны, Я быстро иду по земле. А дали безбрежно разверсты, И осень все ближе ко мне.

Ее горьковатому зелью В губах постепенно остыть. Но эту осеннюю землю Тревожно и сладко любить!

То лист вдоль пути пронесется И робко к ноге припадет, То тень в ожидании солнца Уйдет в незаметный полет.

* * *

Дощатыми сводами вторя Дыханью метельной страны, Мой дом на крутом косогоре— Как лодка на гребне волны.

Ветра ударяются в стену, Снега примерзают к окну. И путь мой лежит неизменно В метельную эту страну.

Сползает звезда с небосвода — Недолго он ею владел. И медленно дышит свободой Снегами покрытый предел.

И времени рокот тревожный Меня увлекает: летим! И мне без него невозможно, И слишком стремительно — с ним.

Бесплотная и неземная, Увидит невидное мне. И солнца струна золотая Над ней запоет в вышине.

И дождик ударится дробно, И вслед мне опять и опять До тайных потемков, утробно Вздохнет обнаженная гать.

Не в солнечном — пасмурном полдне Ступаю по вехам забот. Но небо высоко и полно Над теми, кто трудно живет.

Под гнетом любви и тревоги, Впечатавшись в праздник и труд, Шаги остаются дороге, А тени за нами идут.

А он и не ведает даже: В его безудержном броске Находка таится в пропаже И радость таится в тоске.

Он все перепутал на свете, Расчетливым практиком стал. Сомненья и вздохи— на ветер! И вот уж не ветер— а шквал.

И вот уже близко до сини, До эха, до взмаха крыла. Но разве прожить без России, Без доли земного тепла?

И разве мы не из народа, Который во имя любви Щемящее слово Свобода С рождения носит в крови?

Борис Куликов

ДАЛЬ СВОБОДНОЙ ПОЭМЫ

И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще ие ясно различал...

А. Пушкин

С появлением поэмы «Суд памяти» на нашем поэтическом небосклоне ярко вспыхнуло новое имя: Егор Исаев. Поэт высоко гражданского темперамента, философского ума, мастер стиха...

Можно ли удивляться тому, что любители поэзии, да и товарищи по литературному цеху с нетерпением ждали публикации его новых произведений.

И вот в «Литературной газете» появляется «Кремень-слеза». В предисловии Егор Исаев называет ее главой из новой поэмы «Даль памяти», но по прочтении создается впечатление, что «Кремень-слеза» — отдельная небольшая поэма.

Мне посчастливилось слышать в авторском чтении и другие главы поэмы «Даль памяти». Должен сказать, что «сквозного» сюжета в классическом смысле этого слова в поэме нет. Но есть «сквозной» герой. Это народ, это личность самого автора, его «даль памяти». В многочисленных авторских отступлениях, в броских пейзажных зарисовках, в оживленных диалогах, в раздумьях о судьбе русской деревни, русского советского народа дана широкая, уходящая в глубинную даль панорама жизни, философски осмысляется человеческое бытие. В этом отношении Егор Исаев продолжает лучшие традиции отечественной поэзии,

Если бы сюжет «Евгения Онегина» исчерпывался «четырехугольником» Онегин —
Татьяна —Ленский — Ольга вряд ли бы получилась энциклопедия русской жизни. Пушкин сознательно отступает от внешнего сюжета, потому и называет свое поэтическое повествование «далью свободного романа». Роман
сначала даже и издавался отдельными главами.

Даль «свободной поэмы» видим мы у Некрасова в его гениальной «Кому на Руси жить хорошо». В наше время эта «даль» отчетливо просматривалась в поэмах Твардовского. (Вспомним, что и все главы «Василия Теркина», «За далью — даль» воспринимаются как маленькие самостоятельные поэмы.)

В опубликованной «Литературной газетой» главе Егора Исаева образ «кремень-слезы» цементирует действие, создает то самое впечатление законченности и философской насыщенности, которое и дает возможность считать главу самостоятельной поэмой.

Поразителен сам образ «кремень-слезы». В поэму «кремень-слеза» вкатилась будто из русской народной сказки: так она достоверна, зрима, человечна! И... необычна. Ведь нет никакой на свете «кремень-слезы», да и не может быть! Но, читая живые разговорные стихи Егора Исаева, видишь и великую русскую дорогу, которая «бежит, бежит на чей-то зов далекий В тревожной, переменчивой тиши на самом том извечперетоке земли и неба. и души» (как явственна пространственная даль за этим образом!-B. K.), и толпу народа, собравшегося у неожиданной находки, и «пичужку сердобольную», которая кричит кукушке: «Слезу нашли! А чья, а чья она...», и старую крестьянку, и мудрого старика «уклонных лет», и горячего парня с гармошкой, и бывшего матроса, и землемера, и учителя, которые высказывают свое отношение к «кремень-слезе», и ту «окаменевшую слезу»...

Егору Исаеву в небольшой по объему вещи отлично удалось создать несколькими штрихами характеры.

Простота поэтики Егора Исаева — удивительна. Это было замечено еще в поэме «Суд памяти». В «Кремень-слезе» Егор Исаев, помоему, достиг высокого умения поэтическим языком передать свое философское восприятие факта, и через него — мира. Образ «кременьслезы» на первый взгляд действительно сказочен, на самом же деле — глобален, точен. «Я обращаюсь к истории России, которая, по выражению В. И. Ленина, выстрадала марксизм...»— говорит поэт в предисловии к поэме. Эта «выстраданность» и проходит через счастливую поэтическую находку-образ «кременьслезы».

...Бывало, наши баре
Из нас ее — с руки ли, не с руки —
Уж чем-ничем, лютуя, вышибали,
Уж чем-ничем.
А плакать не моги —
Кричи в себя, держи ее, слезу-то

Запретную и не пускай за край. Не то тебя раздетой и разутой За ту слезу отволокут в сарай, Запрут тебя. И в том глухом сарае Как позабудут — в карту проиграют. Не проиграют — Сходно продадут.

А сколько бабьей спадало — Считали? А сколько вдовьей стаяло

И в ту войну, как турка воевали, И в ту войну, японскую, и в ту, Германскую?... Да мы с ней пряли, жали, Детей рожали. Кто ж ее сочтет? А не опа ль кричала на пожаре И по миру катилась от ворот В голодный год?

Живая разговорная интонация, переданная точным поэтическим языком,— и перед нами возникает образ прошлой тяжкой женской доли. Это говорит устами старой женщины сама народная память. «А не она ль кричала на пожаре и по миру катилась от ворот в голодный год?» Из образа слезы возникает образ обездоленного русского люда. Этот образ развивается в словах старика «уклонных лет», который определил, что «кремень-слеза» и мужская.

...Погонная на все четыре дали И крепкая до гробовой доски, Она во рту крошилась

при ударе

И редко, чтоб катилась

со щеки. А все нутром, все горлом шла! А то н

А то и, Коль поглядеть С острожной стороны, Она не просто Дождиком вдоль строя, А клочьями сползала

со спины.

И стоном шла
Над матушкой-рекою,
И звоном шла
Под шашкой верховой
Туда — в Сибирь!..
А было и такое:
Как с гор высоких
Вместе с головой
Шаром катилась, обжигая веко,
Не к богу в рай,
Так под ноги царю,—
Аж до крови, оглинная от веку.
Эй, мужики! Не так ли говорю?

Образ, как видим, усиливается, приобретает новые качества. По простой логике надобы и дальше нагнетать впечатления, заставлять «кремень-слезу» играть новыми гранями. Но поэт решает сделать своеобразную «разрядку»: ведь он знает — в жизни рядом с трагичным

всегда уживается комическое. И после речи «непреклонного» старика в следующей, пятой главе появляется веселый парень с гармошкой. Так и видишь этого пухлогубого, переполненного радостью жизни, нетерпеливого парнишку, который петушится: «А я-то думал, выберу невесту, а вы тут все заладили: слеза!» Парню хочется прекратить ненужный, по его мнению, разговор, и он:

Рванул гармонь-то, А?.. Гармонь... Гармонь-то Как не гармонь, А речка подо льдом, Молчит — и все... А было: так любила И так страдала, знатная, в тиши — В ней море было Свадебного пыла И больше моря — на душу души.

(Обратите внимание на слоги: «ла», «ра», звуки «б» и «д». Они создают выразительную звукопись. Не думаю, чтоб автор делал это намеренно. У него это идет от чувства языка. Эти же слоги, звуки присутствуют и в самих словах «гармонь», «лады», «басы». Воистину велик и могуч русский язык!)

К парню подходит «один товарищ», бывший элементарной логике флотский. И опять по ему бы оборвать распетушившегося и оконфузившегося парня, но поэт рисует картину более Оказывается, ничего человечную. сверхъестественного не случилось: впопыхах забыл парень откинуть застежки у гармоники-то. А забыл потому, что гармонь и не могла у «Кремень-слезы» во время такого вот разговора «размотать» веселую «Матоню»! И вполне естественно, что на груди у бывшего флотского. возле народной «Кремень-слезы», она «всю-то степь от края и до края, рыдая, переполнила собой: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...».

И дальше идут слова, которые нельзя не процитировать и которые не нуждаются в комментариях:

И так зашлась, Что все, какие были Вокруг нее фуражки, картузы, Как ветром сбило В сторону Сибири... И тут же, тут же --У кремень-слезы -Со дна холмов, Как вздох, как стон глубокий, Как долгий крик осенних журавлей, Всплыла над степью, Над степной дорогой, Дорога вечной памяти. По ней... По ней, по ней -Пока не отрыдала, Пока не успокоилась гармонь -Прошли такие каторжные дали,

Такой живой

прикинулся

огонь,

Что бог ты мой! И вот как стало тесно, И вот как чутко В той степи глухой, Что — веришь, нет — В Москве, на Красной Пресне, Булыжник содрогнулся под ногой

От песни той, От памяти, От боли... Не говоря уж про кремень-слезу.

Бывший флотский говорит, что с гармонью они когда-то «за землю шли, за волю, за нашу власть у верного руля». Не забудем. что у «кремень-слезы» собрались крестьяне. Даже учитель, землемер и даже некто «гвардейский не гвардейский один мужик...», теперь работник Урала, - все они нынешние или вчерашние землеробы, и для всех земля - высшая материальная ценность.

Помнится, в одном интервью несколько лет назад Егор Исаев сказал, что пишет поэму «Не вся земля в городах». Мне тогда показалось это название не совсем точным. Оно напрашивалось на ненужную полемику, а ведь никто и не утверждает, что вся земля, весь цвет народа, нации — в городах. «Даль памяти» более точное определение большого философского замысла, широкого эпического полотна. Это сыновний долг, сыновняя признательность русской деревне - праматери современных городов, это благодарность памяти нашим предкам - российским крестьянам, которые:

> ...сбивали Кремень-слезой все той же кандалы И шли в бега. Кто с Волги шел, кто с Дону, И под боком у лютой Колымы Ветвились мы! -По прозвищу чалдоны И кержаки. - Актоже, как не мы, Под землю шли -В шахтеры, в рудокопы -И землю доставали с глубины, Чтоб сталь варить, Чтоб город греть и чтобы Еще разок с рабочей стороны Качнуть царя?!

Здесь поэт говорит об огромном историческом процессе — дифференциации крестьянства, созревании пролетариата для грядущих классовых битв.

Повторяю, у «Кремень-слезы» собрались крестьяне. Разговор о земле вполне естествен. Но земля для Егора Исаева не просто поле,

река, лес. Еще в «Суде памяти» поэт афористично сказал: «Земля добра. И голубая Вега не может с ней сравниться, с голубой, она собой вскормила Человека и гордо распрямила над собой». В «Кремень-слезе» речь идет не о планете Земля, а о земле, которая «...везде: и сверху — на земле, и под землей, и под землей — она же». Поэт напоминает нам, что не только степь, поле, луг, но и железная дорога с наровозом, и самолет в небе, и сам воздух, и ракета в космосе — все это порождение земли. продолжение земли. Это философское осмысление в поэме не случайно. Оно расшифровывает пророческие слова партийного гимна: «Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право...»

> «Владеть землей!» — Ведь это значит - всей! Всей, всей владеть И помнить всю на память, И строить всю В сомноженной семье, И славить всю, И ладить с пей. Она ведь, Земля, везде: и сверху — на земле, И под землей...

Егор Исаев, как я уже сказал, мыслит сложными философскими категориями. Однако его поэтическая манера прозрачна, образы народны и точны, и потому эти категории хорошо понятны человеку, даже не очень полготов ленному в философии.

Так, в «Кремень-слезе» философски осмысливается четыре дали человеческого бытия Первая— даль прошлого, вторая — даль на стоящего, третья — даль будущего. Мы жи вем в трехмерном мире, но, возможно, время-это и есть четвертое измерение. У Егора Иса ева четвертым измерением является даль Па мяти. Причем Память выступает не только как нравственное, но и как генетическое понятие. В каждом из нас живет дух своих гордых и сильных предков, в каждом из нас живет «убогая и обильная, могучая и бессильная матушка-Русь».

> - Ведь как мы жили! Сердце каменело, А ей-то как — слезе! не каменеть. - Об том и речь!

- Да мы на ней, крестьяне Поклонные, но только до поры -Еще тогда, при Разине Степане, При Пугаче точили топоры.

В последних строках образ «Кремень-слезы» сверкнул новой неожиданной гранью: на «Кремень-слезе» точили топоры!

Казалось бы, уже все сказано. Но Егору Исаеву присуще точное чутье на действительную законченность, завершенность поэтического образа. Россию, весь мир очистил, преобразовал великий огонь пролетарской революции. «Из искры возгорится пламя» — такой эпиграф стоял на ленинской «Искре».

Первый огонь человек добыл при ударе кремня о кремень. Революционное пламя взметнулось из миллионов искр народного горя и гнева. Исторически и философски точны слова поэта, вложенные им в уста сельского учителя, «груженика ликбеза»:

А кстати, вот что, граждане, А кстати, Не из нее ли искру высекал Великий тот? Уж он-то знал, пожалуй, По ходу мысли действуя своей, Какие превеликие пожары Больнее боли, соли солоней Скипелись в ней До крайности предельной, До согнетенной точки центровой. А не из той ли искры, Столь нетленной, На красный день эпохи мировой Зажглась она. Звезда большого света, В виду окольных и далеких стран -Звезда добра и мудрого совета,

Звезда родства Рабочих и крестьян?

Так образ «кремень-слезы» получает логическое завершение. И уж не столь существен спор: куда ее — в музей ли, в монетный двор, в арсенал, на Уральскую магнитку... Она навсегда осталась в великой памяти народной, в той глубинной дали, которая всегда с тобой. Ибо это даль памяти твоей.

Егора Исаева иногда дружески упрекают в том, что работает он медленно. Действительно, поэт не торонится выносить свои произведения на строгий суд читателя. Над первой поэмой он работал более семи лет. Над «Далью памяти», которая близка к завершению, — уже десять лет. Конечно, хотелось бы, чтобы работа пла быстрее, но торонить художника — последнее дело. Он сам знает сроки, он сам себе высший судья. Зато долгожданная встреча тем более радостна, чем совершеннее исполнение авторского замысла.

Думаю, мою радость от знакомства с новым произведением Егора Исаева разделят и многочисленные ценители отечественной позвии.

Николай Леонтьев

Даром, что ли. нашу жизнь мы. други.
прожили?!
Славой новой нашу родину прославили,
Нашу собственную славу приумножили
Да и дедовскую славу пе убавили.

Мы, друзья, войдем в грядущие предания, Удаль русскую свою внесем в пословицы, Нам за мужество.

за кровь

и за страдания Наши внуки до сырой земли поклонятся.

Юрий Левитанский

ИЗ КНИГИ «ДЕНЬ ТАКОЙ-ТО»

* * *

Дня не хватает, дни теперь все короче. Долгие ночи, в окнах горят огии. А прежде нам все никак не хватало ночи. А прежде — какие длинные были дни! А прежде, я помню, день бесконечно длился —

— солнце палило, путь мой вдали пылился, гром вдали погромыхивал, дождик лился, пот с меня градом лился, я с пог валился. падал в траву, как мертвый, не шевелился, а день не кончался, день продолжался, длился—

— день не кончался, длился и продолжался, сон мой короткий явью перемежался, я засыпал, в беспамятство погружался. медленно самолет надо мной снижался. он надо мной кружился, он приближался, а день не кончался, длился и продолжался —

- день продолжался, длился и пе кончался,
- я еще шел куда-то, куда-то мчался,
- с кем-то встречался, в чье-то окно стучался,
- с кем-то всерьез и надолго разлучался,
- и засыпал, и пол подо мной качался.
- а день продолжался, длился и не кончался

БЕЛАЯ БАЛЛАДА

Снегом времени нас заносит — все больше белеем. Многих и вовсе в этом снегу погребли. Один за другим приближаемся к своим юбилеям, белые, словно парусные корабли.

И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные. И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед. Пятидесяти орудий залпы неслышные. Пятидесяти невидимых молний свет.

И три, навсегда растянувшиеся, минуты молчанья. И вечным прощеньем пахнущая трава. ...Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта Отчаянья. Последней Надежды туманные острова.

И снова подводные рифы и скалы опасные. И снова к глазам подступает белая мгла. Ну что ж. наше дело такое — плывите, парусные! Может, еще и вправду земля кругла.

И снова нас треплет качка осатанелая. И оста и веста попеременна прыть. ...В белом снегу, как в белом туманс, флотилия белая. Неведомо, сколько кому остается плыть.

Белые хлопья вьются над нами, чайки летают. След за кормою, тоненькая полоса. В белом снегу, как в белом тумане, медленно тают попутного ветра не ждущие паруса.

* * *

Красный боярышник, веточка, весть о пожаре, смятенье, гуденье набата. Все ты мне видишься где-то за снегом, за вьюгой, за пологом вьюги, среди снегопада. В красных сапожках, в малиновой шубке, боярышня, девочка, шарик малиновый где-то за снегом, за выогой за пологом белым бурана. Что занесло тебя в это круженье январского снега тебе еще время не вышло, тебе еще рано! Что тебе эти летящие косо тяжелые хлопья, кипящая эта лавина! Что тебе вьюги мои и мои снегопады — ты к ним не причастна и в них не повинна! Что за привязанность, что за дурное пристрастье, престранная склонность к бенгальскому зимнему свету. к поре снегопада! Выбеги, выберись, выйди, покуда не поздно, из этого белого круга, из этого вихря кромешного, этого снежного ада! Что за манера и что за уменье опасное слышать за каждой случайной метелью победные клики, победное пенье валькирий! О, ты не знаешь, куда заведет тебя завтра твое сумасбродство. твой ангел-губитель. твой трижды безумный Вергилий! Как ты решилась, зачем ты доверилась этому позднему зимнему свету. трескучим крещенским морозам, январским погодам? Ты еще после успеешь, успеешь когда-нибудь после, когда-нибудь там, у себя, за двухтысячным годом. Эти уроки тебе преждевременны, ты еще после успеешь, прошу тебя, о умоляю тебя, преклонив пред тобою колена.выбеги, выдерись, вырвись, покуда не поздно, из этого белого круга, из этого зимнего плена! Я отпускаю тебя — отпусти мне грехи мои — я отпускаю тебя, я тебя отпускаю. Медленно-медленно руки твои из моих коченеющих рук выпускаю. Но еще долго мне слышится отзвук набата, и словно лампада сквозь сон снегопада, сквозь танец метели томительно однообразный красное облачко, красный боярышник, шарик на ниточке красный.

* * *

Я люблю эти дпи, когда замысел весь уже ясен и тема угадана, а потом все быстрей и быстрей, подчиняясь ключу,— как в «Прощальной симфонии», ближе к финалу — ты помнишь, у Гайдна, музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу и уходит — в лесу все просторней теперь — музыканты уходят — партитура листвы обгорает строка за строкой — гаснут свечи в оркестре одна за другой — музыканты уходят — скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одна за другой — тихо гаснут березы в осеннем лесу, догорают рябины, и по мере того, как с осенних осин облетает листва, все прозрачней становится лес, обнажая такие глубины, что становится явной вся тайная суть естества — все просторней, все глуше в осеннем лесу — музыканты уходят — скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача —

и последняя флейта замрет в тишине — музыканты уходят — скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча... Я люблю эти дни, в их безоблачной, в их бирюзовой оправе, когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом, когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе, и о многом другом еще можно подумать, о многом другом.

Владимир Леонович

УЧИТЕЛЬ

Шестистенок — сто углов, укосиц. Выставив ступенчатый порог, интернат, как старый броненосец, по утрам дымит из четырех.

Рассчитав хитро воздушный вектор, поправляя шляпу пирожком, в школу направляется директор многоуважительным шажком.

Через час походочкой нескорой и держа портфель как бы дитя, девочка проходит, о которой я скажу немного погодя.

Вот она уже неподалеку, вот идет, сощурясь на зарю, мимо окон — вот уже, ей-богу, не дышу и даже не смотрю.

Буду в испытаньях неослабен, больше никого не полюблю. Сиротой остался Колька Скрябин — хочет, так возьму усыновлю...

Поле хмурое ведет и клонит, поле все промерзло — все поет! Ветер мглу несет, поземку гонит, обрывает галочий полет.

Достоевский — два часа науки. Знают всё — не зная ни аза — эти полные судьбы и муки черно-золотистые глаза.

Михаил Львов

Казалось бы, пора Уйти в уют улиткой, Не рваться со двора, Затихнуть за калиткой. А все наружу рвусь -В тот мир. который -внешний — И все не нагляжусь На свет святой и грешный, А все стремлюсь назац ---От книг

и от архивов -

В стремительный азарт Путей, полетов, срывов. Захлебываясь жить! Ах, мне к архивам рано! С дороги не сходить, Как с жизни не сходить -Подольше, как с экрана. Страшусь, что погружусь в райский мир комфорта — И — как бы соглашусь На жизнь второго сорта.

Прекрасно в давнее вонзиться -Через волтебное стекло Пластичной классики воззриться Во все, что было и ушло! Но ведь не мы в то время жили, Не мы блистали на балах, Княгиням головы кружили Или звенели в кандалах. А мне подайте наши годы, Вот эти яростные дни, А мне подай мои походы, Друзей уральских у брони.

Марк Лисянский

Тобольск — родина Петра Павловича Ершова, в девятнадцать лет написавшего своего знаменитого «Конька-Горбунка». Там я начал, а в Москве завершил работу над сказкой-поэмой, которую назвал по первой строке ершовской сказки «За горами, за лесами».

Вот глава из этой сказки — «День поэзии в Тобольске».

ЗА ГОРАМИ, ЗА ЛЕСАМИ

Летний день. Тепло. Нежарко. И от Спасской башни тень. Ввоз Прямской идет под арку — За ступенькою ступень. На юру, под облаками, Кремль, подъемля купола, Распростер над берегами Белоснежные крыла. Не под крышею музейной, На виду у гор и рек-В тишине благоговейной Восемь тысяч человек. Посреди кремля подмостки, Виден взлет иртышских вод. Как во городе Тобольске День поэзии идет! Председатель убеленный, Но душою молодой. Рядом лирик убежденный, Молодой да с бородой, Две красотки поэтессы, Неизвестные, увы, Стихотворцы из Одессы, Из Берлина, из Москвы. Вот вития именитый, Вот заслуженный пиит, Вот поэт незнаменитый --Лучше тех, кто знаменит. У людей открыты лица П распахнуты глаза. В них то зорька, то зарница, То гроза, а то слеза. Ряд за рядом — полукругом. Кремль как будто в полусие. К микрофонам друг за другом Мы подходим в типине. Поэтическому слову Внемлют Нальчик и Тюмень. Посвящен Петру Ершову Этот праздник, Этот день. Тот — поет, тот — завывает, Тот — взахлеб, а этот — всласть... А народ не убывает — Негде яблоку упасть!

Я взглянул вперед и дале, Я взглянул поверх голов: На гранитном пьедестале Петр Павлович Ершов. Далеко от микрофона Он стоит. Вокруг народ. Голова чуть-чуть наклонна И — немножечко вперед. На скале стоит отвесной От березки в двух шагах. Голубому небу тесно В голубых его глазах. От волненья шея взмокнет, Если даже знаменит. В телевизорные окна День поэзии глядит. Голоса гремят в эфире, Чудо-радиоволна Мчится, мчится по Сибирп — И вселенной всей слышна. Чутко слушает поэтов Вся сибирская земля, Вся земля Страны Советов — От кремля и до кремля. Позывные всей планеты Раздвигают небосвод. И волнуются поэты, И волнуется народ. И звенит стихотворенье Против неба — на земле. Как одно сердцебиенье Всех, кто тут сейчас, в кремле Вызревают где-то строчки В нас на самом дне души, И стреляют рифмы-почки, И зеленые листочки Раскрываются в тиши. И поют они, живые, Словно свищут соловьи... Строчки слушаю чужие, Про себя твержу свои. Сочинял я в самолете На пути: Москва-Тюмень, Сочинял стихи в расчете Прочитать их в этот день.

Я решил: он будет кстати, Стих, в сибирском том краю. Называет председатель Вдруг фамилию мою. Подо мной уже не сцена — Шар земной. Настал мой час. И на мне сошлись мгновенно Все шестнадцать тысяч глаз. Кремль под небом озаренным Выжидательно затих. Подхожу я к микрофонам И читаю этот стих:

Летний день проходит мимо, Отцвела уже сирень. Кто на Южный берег Крыма, Кто в Батуми, я— в Тюмень.

Поднялась моя жар-птица, Повернула на восток... Стюардесса — царь-девица, Я — Ванюша-дурачок.

За горами, за лесами, Раздвигая высь и ширь, Началась под небесами Бесконечная Сибирь.

Стюардесса — сибирячка В синих омутах зрачки. И красотка и гордячка, Зпает, вишь ты, языки.

Хоть родился я в Одессе И учился кое-как, Вот женюсь на стюардессе... А Иван-то не дурак!

Над землей летит жар-птица, Первоклассный самолет. Улыбаясь, царь-девица Мне конфетку подает.

Не за славою грошовой В край сибирский я спешу, Я за сказкою к Ершову И за песней к Иртышу.

Там проеду я по трассе От столицы вдалеке Не на огненном Пегасе — На коньке на Горбунке!

Братцы, счастлив я недаром И поклясться вам готов: Поправляет окуляры, Улыбается Ершов! Лег закат узором узким Сквозь березку на гранит. «Горбунок» звучит по-русски, По-немецки он звучит. «Горбунок» звучит по-польски, И не нужен перевод...

Как во городе Тобольске День поэзии идет.

Владимир Матвеев

На картах

этих гарнизонов нет.
Чем ближе к ним, тем бдительность острее.
И наш таежный гарнизоп — секрет,
Над именем его висит запрет
Масксетью над ракетной батареей.

Солдатам юным служба по плечу. Они не рыли фронтовых окопов. Я ж кадровый с войны.

Но я хочу смотреть в прицелы мирных телескопов

Еще в строю друзья военных лет, Еще дела их окружает тайна... На картах

гарнизонов многих нет, И Энскими зовут их не случайно.

Алексей Марков

БУРАН

Нынче август в Москве, Зерна звезд в синеве. Но глаза лишь прикрою — приснится: Кто-то в двери озябший стучится...

Заметает буран С головою бурьян, Вихри бьют по глазам, словно цени, Ни конца и ни края у степи... От метельной грозы В сапогах из кирзы Я куда-то бегу, леденея. Огонек бы в окошке скорее!.. Ни межи, ни тропы, Ноги — будто столбы. Управлять я ногами не в сплах, Лупный свет на сугробах-могилах.

В дверь глухую стучусь, Быть упрямым учусь; Коридор наполняется светом, Он в глаза мне сочится приветом. Дышат щели теплом И накрытым столом. Но выходит хозяин кудлатый: «Места нету. Самим тесновато!»

Быть упрямым учусь — В дверь другую стучусь. Но за нею, видать, онемели, Только скрипнули тихо постели. И беснуются исы, Будят крепкие спы, Просят выйти хозяина к гостю!

Не старайтесь, служивые, бросьте! Мне теплее уже, Я лежу в мираже, И метель завывает устало, Укрывает меня одеялом. Все круги и круги От зеленой пурги... На дверях, на воротах кондовых Все подковы, подковы, подковы...

Я вздремнул, но во сне Снова грезится мне: Приближается кто-то к порогу. ...Я спешу на подмогу!

Ах ты, птичка-невеличка, Красный венчик хохолка! В миске белая пшеничка И душиста, и сладка!

Ну, поклюй, присядь поближе! Все завьюжило вокруг. Ветер тычется под крыши, Наметая белых мух! С голодухи взвыли звери. Холод — голодом свиреп! ...Смотрит и никак не верит, Что такой дешевый хлеб! Он легко не достается! — Вертит птичка головой. Вдруг да кто-нибудь крадется? Хлеб опасен даровой... Усомнилась! Дыбом перья... Не поверила она!

...Улетел комок неверья,— Вслед глядел я из окна...

Новелла Матвеева

ЕЛЬНИКИ

Меня всегда отпугивали ели. Глядишь, бывало: сколько света съели И вылакали! Так до солнца жадны, А все равно черны и непроглядны.

Так любят свет и так не любят света! Горячий отблеск — ясный образ лета — Они к плащам посильно прижимали, Но в сердце, под плащи — не принимали.

Бежал их ветер. Дождь от пих порою Отскакивал расщепленной стрелою И солнца луч отпрыгивал с испуга, Как будто под плащом у них — кольчуга.

Но глаз людской повсюду ищет лада; Я и лишайник другом сделать рада,

> Горят облака на закате, Сверкают, как бранные рати, Как золото в царской палате. Как свежий надрез на гранате;

Красно, тяжело нагреваясь.
До самых бровей багровеют...
Нок ночи
Становятся кротче—
Прохладой спреневой веют...

Над лесом они Зеленеют,
Влестят, над затонами стоя:
Вторым водяным отраженьем
На них отражается хвоя...
Что дальше — то глуше, слабее...
(Не так ли над золотом блюдца От пальцев
Зеленые пятна
На ножках грибов остаются?)

А там, глядишь, и к елям бы привыкла. Но их заклятье в кровь мою проникло.

(Чтобы и мне легла на сердце скоро Глухая тяжесть северного бора, Чтобы и мне приснился, Непривычный,

Подей полночных сон меланхоличный.)

Однажды ель

(что и при блеске сильном Казалась мне тройным пятном чернильным) К моим шагам прислушалась устало, Всей хвоей повела и прошептала:

«О путники, которым не до ели. Которым рясы наши надоели! Желаю. чтобы так же вы страдали: Любили свет — и света не видали».

Но мрак совершился вечерний — Заросли поглубинели...
Как сажа (цветные недавно).
Как тушь, облака почернели...
Я шаг их слежу молчаливый.
Я образы их вопрошаю.
Я с ними (не здесь, а на пебе)
П сны и надежды мешаю.

Меня и теперь не пугает, Что их вопрошаю С рассвета; Что долго прожду Или вовсе Остаться могу без ответа;

Что были вопросы
Дневными,
И к свету стремились
Дневному,
Что, тенью ночной искаженный,
Ответ долетит по-иному.

ЛУНА

Луна! Потревожен твой сон и покой. Не странно ли? — детям, рожденным

Луну никогда не увидеть такой, Какой заставал ее каждый из нас.

Как небо и море — издревле и днесь Луну преломляют на «там» и на «здесь»,

Одним поколеньям досталась одна, Другим поколеньям— другая луна.

Но лунное счастье на чьей стороне? Не знаю... Ведь нынешним детям земли Приходится жить при доступной луне, А мы — недоступную видеть могли.

Сергей Марков

ДАЧИ

(20-е годы)

Случайный вихрь не делает уступки. Он поднимает на головы юбки — Костлявых фей несложный реквизит. А видно, хочет, чтобы заблестело Прекрасное, нетропутое тело, И теплое и строгое на вид.

Но бедра фей должны дружить с гробами... Их грудь висит верблюжьими горбами. Они смеются невпопад и вдруг; У каждой — рот и жарок и громаден. И тускло смотрит из глазничных впадин Никем не зацеловапный испуг.

Здесь от жары во сне вздыхают доски, Коробятся крылатые киоски. А на тропе — следы косматых пог. На берегу раскинуты палатки, И нэпманов широкие лопатки Ложатся вдруг как весла на песок!

И всем прохлады ждать осточертело... Цирюльник превращается в Отелло; Он чистит щеткой синие штаны И в лес спешит, где в солнечных палатах Плюгавый дачник в брюках полосатых Припал к губам цирюльничьей жены.

Она отпрянет от него, рыдая! Адам, бледнея, убежит из рая... А сам цирюльник с бритвой, как с мечом, Стоит, изображая Гавриила, А Ева грудь слезами оросила И дергает чудовищным плечом... По вот велосипеды заблестели... Чиновники, влача свои портфели, Спешат в одышке к илистой реке. К пруду, где камни широки и жарки. Где продавщицы вафель — словно Парки, Где душный ветер бьется в тростнике.

О. душный рай! О, дачная Нирвана! В бутылках слепнут пузыри парзана! слышен запах пудры и румян... А феи вновь хохочут у дороги! П. оголяя высохшие ноги, Обходят с визгом режущий бурьян.

Я жду невероятного покоя... Мне колет плечи голубая хвоя, Широкий луч упал ко мне на грудь. Но я, как Будда, вывернул колени. Весь преисполнен желчности и лени, Хочу постичь таинственную суть.

Я окружен у пропасти познанья Явленьями, которым нет названья, Я растворился в них, но берегу Растущее и зреющее слово; Оно упасть, как плод, уже готово, Но торопить его я не могу.

Ко мне жара угодливо приникла, Я жду сирены, стука мотоцикла И окрика спокойного труда, Чтоб в хаосе нарушенного смысла Явились лица, имена и числа, Простые, как железная звезда...

Александр Межиров

* * *

Во Владимир перееду, В тихом доме поселюсь, Не опаздывать к обеду Напоследок обучусь.

Чтобы ты не огорчалась, Чтобы ждать не приучалась, Буду вовремя всегда Возвращаться отовсюду И опаздывать не буду Ни за что и никогда.

Будет на свечу собака Из полуночного мрака Лаять в низкое окно. Спи. На улице темно.

Как ты спишь! О, как ты дышишь! Я люблю тебя, ты слышишь! Я люблю, пока живу.

Почему ты мне не пишешь Из Владимира в Москву?

Юрий Мельников

НАД КАРТОЙ

Смотрю на карту Подмосковья, Коломну вижу над Окой. И замечаю Истру вновь я С одноименною рекой.

А вот поселок

у опушки,

Вот луг, А вот река опять... И только тихой деревушки Моей

на карте не видать.

Хотя б одна была

цепочкой

Тропинка к ней

нанесена.

Хотя бы Самой малой точкой На карте значилась она.

Как нелегко ей, помню, было Из пепла

над землей вставать. На карте места не хватило Ее по имени назвать.

Но с рощей, Где лужайка скрылась, С долиной, с широтой полей Моя деревня разместилась Раздольно

в памяти моей.

Лариса Миллер

* * *

И от начала далеко. И до конца еще далеко. И ни предела, и ни срока. И жить просторно и легко.

Голубизна, и ширь, и высь. И путь ничем не ограничен. И шорох листьев с пеньем птичьим В одну мелодию слились.

* * *

Земля покрыта лиственною хвоей. Тускнеет свет. Пора платить с лихвою За все, чем был и счастлив и богат. И улетает горсткой листьев шалых, Несомых вдоль заборов обветшалых, Все то, чего нельзя вернуть назад. Нелепо плакать о погибшей кроне. Нелепо жить, боясь разжать ладони. Все отдаю — ни слова поперек.

Держать бы в памяти всегда, Что мир огромен и чудесен, И эту лучшую из песен В себе нести через года.

Держать в уме, что мир велик И жизнь бездонна, хоть и шаток, Неудержим, конечен, краток Бездонной жизни каждый миг.

Все отдаю, хоть я терять устала. Но лишь хочу во что бы то ни стало Сберечь надежды малый стебелек И веру в поступательность движенья, В осмысленность побед и пораженья И в то, что жизнь скорее дар, чем гнет. И если я лишусь подобной веры, Пусть и меня в несчастный полдень серый Осенним ветром с этих троп сметет.

Артур Моро

НА РОДИНЕ

Вот и снова я в родном селенье, Где мой первый крик слыхали травы И леса, что с самого рожденья Были слаще мне любой отрады.

Прохожу я улицей знакомой. Здесь когда-то пастушонок нищий В старой шляпе из простой соломы Брел, в руке сжимая кнутовище... Солнце не всегда лучами грело, Жизнь мальцу была нелегкой ношей! Но доселе и душой и телом Я всегда с землею эрзя-мокша!

Радуюсь, узнав места родные! Может ли спокойно сердце биться?! Брызжут светом дали голубые, Словно дали браги мпе напиться!

> Иеревел с мордовского Алексей Маркоз

Юнна Мориц

ХРУСТ ДЕКАБРЯ

Завьюжило город. И ветер, как молот, Колотит по стенам, по спинам овчинным. Сегодня шары фонарей раскаленных Сочельник посыпал изюмом и тмином. Так сладко похрустывал воздух вечерний, И облако в звездах, и детские сани, И фото японского Аэрофлота,— Что, боже, ну что же ты делаешь с нами! Похрустывал ток, и жестокое пламя До хруста лизало в пожаре витрины Хрустальную рюмку и сумку из кожи,-О, боже, ну что же ты делаешь с ними! Похрустывал снег под вороной хрустящей, Похрустывал локоть мороженой ветки, Но чьей-то походки хрустящие звуки, Которые здесь исключительно редки, Меня поразили. По хрусту в подъезде Я сразу узнала — ведь я не глухая! — Зпесь топчется вечность на лестничной клетке, Метелкою с валенка снег отряхая.

СЛУЧАЙ С АФРОДИТОЙ

Эта женщина вышла из нены морской. Наготу на свету заслонила рукой И в толпе затерялась людской. Потный пекарь дышал над мешками с мукой, Потный плотник сколачивал доску с доской, Два цирюльника в окна смотрели с тоской. Эта женщина вышла из пены морской И в толпе затерялась людской. Мухи жрали навоз за стеной городской,

Убегала от смерти старуха с клюкой. Ложку каши младенец держал за щекой. Эта женщина выпла из пены морской И в толпе затерялась людской. Люди кланялись ей, возвращаясь с полей, Узнавали ее, зазывали в жилье И шептали, прижавшись к младенцу щекой: Эта женщина вышла из пены морской, И она преисполнена воли такой. Что внушает блаженный покой.

С УЛИЦЫ

Теплокровное окно — У квартиры двадцать восемь. Все в конце концов дано В день, когда совсем не просим.

Золотое полотно Режет ножницами осень. Все на свете нам дано В день, когда уже не просим. В мыслях — свет, в глазах — темно, Еле-еле переносим Жуть того. что нам дано Все, что только не попросим.

Смейся, мудрое вино! Скоро мы друг друга бросим, Оттого, что нам дано Все, что только не попросим.

Людмила Мухина

* * *

Тревога! Птицу синюю поймали.
Сосредоточенно затискивали крылья
За прутья клетки. Может, поломали,
А может, нет. В томительном усилье
Уперлось тело в каторжные прутья,
И мечется изогнутая шея,
И светится, как светоч на распутье.
Горячий венчик, в мраке не слабея,
Захлестнуты хвоста ее извивы
Вдоль клетки вкривь и вкось, и вниз
и кверху

В полете так неистово красивы. Споткнувшиеся с ходу о помеху Они трепещут, словно спутанные волны Валов морских на скалы налетевших, Но жаркий глаз, еще движенья полный, Взглянул в упор и отведен поспешно. Чего глядеть! Поймавший недостоин Хранить в недвижности трепещущее чудо. Оно из вихрей света. Будь спокоен, Она летит! Летит уже отсюда, И только след в пространстве остается, И синее крыло в глаза лучами бъется.

ЯНКА КУПАЛА И ЯКУБ КОЛАС

В один год родились Два певца — песняра, Молодца-гусляра На нелегкую жизнь. Низко поле лежит, Худосочным слывет. Один год — уродит. Другой год — недород. Одежонка худа. Лапоточки мокры. Навещает беда. Счастья нет до поры. Но в трудах и нужде Копит силу народ. Будет срок — в борозде Семя правды взойдет.

Воспевают его Два певца-молодца. Им с пути своего Не свернуть до конца. Хоть в тюрьму посади, Хоть за горло возьми --Им видна впереди Радость вольной земли, Что по сказам отнов На Купалу цветет И один из певцов Это имя берет. Будет радость гулять В светлой ниве живой, -Хочет колосом стать Этой пивы второй.

Владимир Осинин

* * *

О чем жалеть? В атаках не убило, Друзей не растерял в тяжелый час, Пока еще и сердце не остыло, Пора раздумий долгих началась.

* * *

Мне хочется прикрыть весь шар земной, когда селенья пламенем объяты и молча, со спокойною душой стреляют в матерей солдаты.

Мне хочется прикрыть весь шар земной, безумство заклеймить навеки, Не просто меч меняю на орало. Хотел бы я железным быть опять — Добра и зла извечные начала, Как поле, глубоко перепахать.

когда ползут ракеты под Луной и стронций отравляет реки.

Мне хочется прикрыть весь шар земной. Его еще ни разу не спасали ни те, что философствуют в пивной, ни те, что будто в рот воды набрали.

Юрий Панкратов

* * *

Взошла моя песня

в седой тишине

среди

казахстанских степей.

Там всадник

плывет

на далеком коне

и машет рукою

приветливой

мне

из юности

ранней

моей.

Теряется всадник

в свиреной траве,

в далеком,

как сон,

далеке.

И беркут сидит

у него на руке,

на ватном

глухом рукаве.

Так вольно мне было

скакать по степи,

кружащейся,

что карусель,

где даль обнимает,

где солнце слепит

и длинно кричит коростель.

Уходит охотник

с рассветным конем

в края,

где цветет молочай,

и красным огнем

полыхает на нем

шакалий его

малахай.

Мне хочется снова в соцветья степей на берег забытой реки, где беркут,

как память,

воспрянул с моей

еще не окрепшей

руки!

Николай Панченко

Ничего, что я болею,— Все когда-нибудь пройдет. В эту зимнюю аллею Гром весенний упадет.

Град раскатится, как бусы. Но однажды от стекла — Снова холод.

* * *

Я строю, а кто-то ломает, Я снова, а кто-то — опять. А время остатки снимает. И мне уже некогда спать.

А если не спать — не работа. А если усну, и во сне

* * *

В синем небе мерзнет солнце. Рыжей сосенке тепло: Подышала на оконце — Заморозила стекло.

Солнце спрячется за тучей. «ТУ» из тучи заворчит.

Листьев мусор. Веток голая метла.

Запоздалая телега — Скрип несмазанных дверей. Море снега. В море снега Много красных снегирей.

Все тот же — без имени! — кто-то Бесчинствует молча во мне.

И я, отодрав от подушки Тяжелую голову сна, Шепчу:

— «Откровение», «Пушкин», «Отечество», «Гений», «Весна».

В полночь лапкою колючей Кто-то робко постучит.

Полно, сосенка, некстати, Впору — «баюшки-баю». Но привстану на кровати И дыханье затаю...

Анатолий Преловский

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Один из многих, так ли я один? — травинка полевая на ладони, тычок антенны на высотном доме, звезда в ненастном небе... Поглядим.

Тень истины поищем днем с огнем — души возьмем железную основу и расчленим, как единичность слова, на множественность разных смыслов в нем.

Природа одиночества стара, но и она с веками изменилась:

пора печали нашей осветилась лучом познанья — отблеском добра.

Жизнь понимая так, а не иначе, один из многих, плачу над строкой любимого поэта, жду удачи, не разбавляю радости тоской.

И потому другим необходим, что, как могу, работаю на время: для ради всех,— выходит, что со всеми, один из многих,— значит, не один.

Джемс Паттерсон

ПОНТЕ ВЕККИО

Герб города Флоренция — красная лилия.

Огни над таинственным

Понте Веккио

во флорентийском сумраке тают. В этом таящем раздвоенность веке люди по-разному обитают. Одни уходят в себя, отрешаясь, или бушуют стихийно,

внутренне...

А другие живут, сражаясь, в пасмурной жизни,

лицами утренни.

Ими от мести слепой эсэсовцев обречен, как Савонарола, он в разгар военных

месянев

был спасен — этот мост веселый. Понте Веккио!

Понте Веккио, ты расскажи мне о том,

приятель!

Был и ты, я знаю, свидетелем выступлений

Пальмиро Тольятти. Мост, перекинутый через века, в городе славного Микеланджело, где коммунистом наверняка считают взрослого

третьего каждого. Пусть взбурлит широкоэкранно, неукротима,

разноголоса, словно разбуженная Арно, сверхвесенняя

«Бандьера росса». Над черепичными крышами всеми забрезжит свежая лилия утра... В пебе тревожном

игра светотени, словно на лике скульптурном Брута.

ВОСПОМИНАНЬЕ О ЕЗДЕ НА СОБАКАХ

Заблудился как-то я посреди пурги,— дело неприятное, не видать пи зги. Долго я кружил, едва нос не отморозив, вдруг, тугой, как тетива, близкий скрип полозьев. Вижу: в серебре парчи девушка корякская словно распечатала глаз косых лучи. Непогода-мать взяла и в сленой тревоге

запуршила, замела все пути-дороги... Ах снегурочка моя, сельская учительница, без сомнений знаю я, ты моя спасительница! Над равниной снеговой, как прожектор,— солнце, вдоль черты береговой на санях несемся. Белый, будто Дед Мороз, в заячьей ушанке, я в воспоминанье врос,—греюсь, как в кухлянке.

Анатолий Поперечный

БАГУЛЬНИК

Еще в глухоманях таежных Копит свою пряжу зима. И ветер остудный тревожно Сбирает листву в закрома, В червонные клады забвенья, Охрипло о вечном шурша. Но ты уже ждешь, как затменья, Предзимнего солнца, Душа. Но ты уже ждешь покаянья, А может быть, жалости ждешь. А может, скупого признанья В любви, Что ночами зовешь?.. О, нет! Еще ждешь ты удачи, И счастья житейского чуть, Когда уж от счастья не плачут, А просто его берегут. Ждешь чуда. А может, не чуда, -Что идет по земле, Ведешь, как охотник, Ты чутко От осени поздней к зиме. Она. В алой шали Молодка, Вся Бабьему лету под стать, Без весел. Как шалая лодка,

Плывет — С берегов не достать. Плывет она вниз по теченью Холодной и мощной реки. Как будто взывая к отмщенью За прошлое бабьей тоски. Доплыть, До бортов дотянуться, Сказать, что еще хороша. Пригреть. Полюбить. Захлебнуться Медовым глотком из ковша. Над берегом стылой Аргуни Судьбу распознать до зари... Да поздно! Осенние луны Хоронятся в дупла свои. Иные приходят свершенья. Трубят в буреломах лесных. И ты отдаешь на сожженье Листву поздних песен своих. Как зрелости и совершенства, Раздумия жаждешь в судьбе. И самою лучшей из женщин Покажется осень тебе. Где в падях Почти богохульно, Природе самой вопреки. Зацвел на прощанье Багульник, Как праздник любви и тоски!

Сергей Поликарпов

Похвалялись синицы-сестрицы Сине море шутя подпалить. Похвалялись досужие птицы Полыхалищем всех удивить.

А за спичками Дело не встало. А они подведут — Не беда: Есть кремень И стальное кресало, Доброхотов помочь — Хоть куда!..

Похвалялись синички-сестрички... В этой притче В присловии суть: Есть идея, Есть море, Есть спички, Сделай дело — Потом баламуть.

* * *

Ни сестры у меня, Ни брата. А жизнь поката, Ох как поката! Против воли Скользишь по склону... Пульс пощупаю, Сердце трону — Бьется верно, Но резче вроде б С каждым шагом И с каждым годом.

Над обрывами Тропы рвутся.

Где-то сердпе
Должно споткнуться,
Где-то час
Моего заката...
Ни сестры у меня,
Ни брата,
Род отцовский
На мне прервется...
Я — ни хлеб,
Ни вода,
Ни солнце,
Нет меня —
Велика ль потеря!
А в бессмертье свое
Я не верю.

Сергей Поделков

ВДОХНОВЕНИЕ

Победный свет апрельской сини, гул, вихри птичьи, хлопотня, в душе работает Россия,и мысли ход, как бег огня, и в голосе - лесное пенье, в чертах лица — черты полей, блаженное сердцебиенье, как в небе взмахи журавлей. И вдохновенье длится, длится: мне одинаково слышны дремучий шепот летописца и зовы радиоволны. Ах, родина! В ее столетьях и стон, и звон из-под дуги, в их недрах при церковном свете временщиков ярем и плети и крепостные батоги. Я слышал звук ее тележный, ракетный рев, осенний всхлип, глубь рек, где в подноготной стрежня живые корневища рыб. Я разделял ее веселье... В Семнадцатом — великий год! она справляла новоселье и в новом времени живет. В тысячелетнем одеянье, по полам - ветчи и трава, языческое обаянье расшиты сказкой рукава. Над жаркой рожью, над тропами зернистой зыбью плещет вышь...

Да разве вычеркнешь прапамять, сойдешь с того, на чем стоишь? И как ни обнимай весь глобус, все ж нам, праправнукам, милей ее запавший в кровь прообраз и крылья ленинских огней. Мы жизнь страны своею метим, она одна, одна видна, охваченная в лихолетье скорбящим заревом; она ковров с поклоном не стелила. взбивать не думала постель, непрошеного властелина бросала замертво в метель. Как много их с мечтою львиной, стяг поднимая, как кулак, шло русской овладеть равниной, попав, как в чарусу, впросак. И каждый бегом тараканьим спасался вспять — к себе, домой! захлестнутый воспоминаньем. как бы намыленной петлей. Кисть бедствия однообразна: обломки жизни в колеях, от варывов оспины и язвы и траур дыма на снегах. Крутитесь, солнечные спицы! Всходи над смертью, благодать! Нельзя и пядью поступиться, нельзя и жизнью поскупиться, чтоб зеленела эта пядь.

Злопамятством не занедужив, она лечила лес, поля, отходчива, как после стужи весной отходчива земля. Она, чтоб шел из труб — навыкат — дымок, шел блинный дух и впредь, смогла и муку перемыкать, и боль утрат перетерпеть. И вновь, и блеск преображенья, ума и зренья острие,

предвиденье и вдохновенье — все от нее, все от нее, — улыбка в космосе, взрывные султаны нефти, облик дня...

В душе работает Россия, и мысли ход, как бег огня.

1946-1973

Леонид Решетников

ОПЯТЬ Я В РОДНОЙ СТОРОНЕ...

Опять я в родной стороне Рассвет среди поля встречаю. И розовый куст иван-чая Кивает приветливо мне.

Летят над тропою стрижи, Картошка цветет, чуть привяла. И тропка, сбегая с увала, Теряется сразу во ржи.

А рожь — на загар и на стать, Какой не бывало, признаюсь: Стеблей не разнять продираясь, Колосьев рукой не достать!

Стеной у тропы на краю Стоит она — волны протяжно Идут, — словно думает важно Державную думу свою.

Пробрызнул сквозь тучку рассвет, И липой подунуло сладкой. И солнце над розовой Вяткой Встает, как и тысячи лет.

Земля среди речек и рек, Рассвет над землею родимой — Все те ж. Но, легко уловимый, И здесь отпечатался век.

И след тот не трудно найти: И песни, хоть мне дорогие, Поются сегодня другие, И люди другие в пути.

И многих товарищей нет, А те, что и есть,— побелели. Да что уж, и мы, в самом деле, Не те, хоть и держим ответ.

А все ж нет превыше наград, Чем эта, что нынче приемлю,— Увидеть родимую землю, Что кинул лет сорок назад.

Я кинул ее, а она, Как мать, приняла и простила, И снова меня приютила, До гроба верна мне одна...

Иду средь родимых полей, Дышу их дыханьем, немея, И глаз оторвать не посмею От родины милой моей.

У ней у одной на виду, Готовый на радость и горе, Иду средь зеленого моря, Веселый и грустный иду.

Как будто сквозь сердце ее, Шагаю сквозь россыпь росы я... И милая сердцу Россия Проходит сквозь сердце мое.

Александр Ревич

* * *

Вот так всю жизнь пугаю чудеса: летит оса — кричу: «Летит оса!» Садится дрозд на ветку — «Гляньте! Птица!» Зарница вспыхнула — кричу: «Зарница!» Роса горит — кричу: «Горит роса!» Гляжу, заходит солнце за леса —

кричу: «Глядите! Солнышко садится!» Звезда летит — кричу: «Летит звезда!» Но чудо всякий раз недолго длится, кричу — оса исчезла, и дрозда на ветке нет, и на небе зарница растаяла, и высохла роса, всплыла туманом, и его не стало, и солнце село, и звезда упала. Вот так всю жизнь пугаю чудеса.

Н. Рудой

* * *

На костылях, в шинели без погон, Я начал жизнь свою послевоенную... Я влез в полуразрушенный вагон, А через ночь — в телегу неизменную. И встретил гавань первую свою — Деревню, от врага освобожденную, Больницу на крутом ее краю, Бревенчатым забором обнесенную.

КЛЯТВА

И вот средь выжженных селений, Вдали от мирных берегов, Я познаю язык сражений, Он лаконичен и суров. И места нету многословью, Когда и скальпель и пинцет,

И потянулись люди на прием, Все горести поверить мне готовые, Хотя я был всего только врачом.

В то утро приходили и здоровые. Для них я мог замешивать бетон, Тесать стропила, в море корабли вести, На костылях, в шинели без погон, Я им казался стражем справедливости.

Еще забрызганные кровью, Спешишь сменить на пистолет... Я институт кончал в войпу, И вместе с клятвой Гиппократа Я клятву дал еще одну — Присягу верности солдата.

Валентин Сидоров

* * *

Даже травы объяты любовью, Даже травы с тобой заодно. Как прекрасно мгновенье безмолвья И как действенно все же оно!

Я опять на него уповаю, Я его, признаюсь, не постиг. Но светло мне — светлей не бывает! — От святящихся мыслей твоих.

Давид Самойлов

СТИХИ О ДЕЛЬВИГЕ

1

Дельвиг... лень... младая дева... Утро... слабая метель... Выплывает из напева Детской елки канитель.

Засыпай, окутан ленью. В окнах — снега белизна... Для труда и размышленья Старость грубая нужна.

И к чему, на самом деле, Нам тревожить ход времен!.. Белокурые метели, Дельвиг, дева, сладкий сон...

MAPRUTAHT

Фердинанд, сын Фердинанда, Из утрехтских Фердинандов, Был при войске Бонапарта Маркитантов.

Внереди гремят тамбуры, Трубачи глядят сурово. Позади плетутся фуры Маркитанта полкового.

Предок полулегендарный, Блудный отпрыск ювелира Понял, что нельзя бездарно Жить, не познавая мира!..

Не караты, а кареты. Уйма герцогов и свиты. Офицеры разодеты. Рядовые крепко сшиты.

Бонапарт короны дарит И печет свои победы. Фердинанд печет и жарит Офицерские обеды.

2

Две жизни не прожить. А эту, что дана, Не все равно — тянуть длиннее иль короче? Закуривай табак, налей себе вина, Томись бессонницей и сочиняй полночи.

Нет-нет! Не зря хранится идеал, Принадлежащий поколенью!.. О Дельвиг, ты достиг такого ленью, Чего трудом не каждый достигал.

Вот в этом, может быть, итог Почти что века, нами прожитого,— Чтоб Дельвигу сказать доверенное слово И завязать шейной платок.

Бонапарт ликует венским, И берлинским, и саксонским. Фердинанд торгует рейнским, И туринским, и бургондским.

Бонапарт идет за Неман, Что весьма неблагородно. Фердинанд девицу Нейман Умыкает из-под Гродно.

Русский дух, зима ли, бог ли Бонапарта покарали. На обломанной оглобле Фердинанд сидит в печали.

Вьюга пляшет круговую. Снег валит в пустую фуру. Ах, порой в себе я чую Фердинандову натуру!..

Я не склонен к аксельбантам, Не мечтаю о геройстве. Я б хотел быть маркитантом При огромном свежем войске.

Владимир Семакин

* * *

Ох как дуло-завывало низовым и верховым! Ох как бешено сбивало вихревым и смерчевым!

Времена-то были шатки: враг ломился на восток... Берегите, братцы, шапки, ну и головы чуток!

Никакой живой водицы убиенным не суля, вот-вот небо раскалится и расколется земля...

Человеку перепало — был иль не был батальон? Человека потрепало, словно мялицею лен.

И поныне, засыпая, все сражается солдат.

* * *

По всей реке насеял пуху кудрявый вербный островок. И маловетренно, и глухо, и никаких тебе тревог!

Поодаль селезень прокрякал — и снова тихо над рекой, лишь котелок, надетый на кол, висит, как колокол какой.

И как шаги твои ни тихи, но из-под зарослей густых лягушки — грузные пловчихи сигают с берега: бултых!

Лопух и тот не лопоухо следит локатором-листом, зудит комар, жужжит ли муха, иль на разбой летит «Фантом»,

Вот он, кровью истекая, встал со связкою гранат.

И в предчувствии атаки — ах, с руки ли, не с руки — танка вражеского траки разлохматил он в рямки:

«Чтоб вам было неповадно! Не спущу, пока живой!..» Не сорвало — ну и ладно шапку вместе с головой.

Тихо-тихо, рано-рано. Сон, пожалуйста, растай: тяжко, сумно ветерану, и встает он, рановстай.

словно тот неумираціка, с детства цамятный навек, ванька-встанька, неваляшка, словом, русский человек.

иль не впервой фальшивит кто-то, зело Россию возлюбя и, как по нотам, патриота разыгрывая из себя.

А сам, душонкою двудонной к чужому берегу влеком, он бредит жизнью закордонной, чтоб нас оттуда — деготьком...

Под кущей ив простоволосых ты весь во власти поплавков, но отовсюдный отголосок достиг и этих тростников.

Летит-разносится стоэхо, и кто душой не лопоух, тому, ей-богу, не помеха глухой, как вата. вербный цух.

* * *

Уйдут, улетучатся силы, как соки из полой стерни, но даже у края могилы, где встать уж не думай, ни-ни,

возьму и ослушаюсь, ослух, качнувшись, как в лодке, в гробу: представлю себе, что на веслах я все еще к жизни гребу.

Гребу, человек-неуступа, знай наших, отчаянных знай! (Конечно, за этот проступок мне смерть еще даст нагоняй.)

Не веря вороньему граю, навек перед жизнью в долгу,

ЧЕРЕМУХОВЫЙ МАЙ

Позавьюжило округу над излучиной речной. Друг ко другу, друг ко другу так и льнется нам весной.

Ходим — рук не разнимаем, уж как хочешь понимай. Все на свете променяем на черемуховый май.

Тут никто не знает, кто мы, улыбаемся чему, и давно ли мы знакомы — неизвестно никому.

Словно все у нас в начале, только-только влюблены, а у нас по-за плечами не одна, не две весны.

в преддверии ада иль рая представить себе не смогу,

чтоб сердце мое оттерзалось, чтоб я вам сказал-отрубил: «Дерзайте, а мне отдерзалось, любите, а я отлюбил».

Постойте, мои дорогие друзья, земляки и родня, а вдруг у меня летаргия — заценка последняя? А?..

Где-то рядом, недалечко, где-то возле нас двоих до утра поют над речкой соловьи для соловьих.

Залились на всю округу у окраинных плетней. Нам бы только друг ко другу понежней да поплотней.

Ах, легко ли, нелегко ли — ни о чем-то не жалей, заколдованную долю расколдовывай смелей!

И пускай певунья птица перехватит через край, пусть подольше лепестится наш черемуховый май!

Борис Слуцкий

СВАДЕБНЫЙ АВТОПОЕЗД

Детские воздушные шары треплются над крышею такси в ходе восхитительной игры, именуемой свадебным поездом. Поезжане — целые миры радости и гордости, — неси автопоезд их в начало повести.

Так десятый и двадцатый век, вдруг совокупив свои обрядности, мчат по изумившейся Москве с видом гордости и радости.

Горд и радостен жених. Радостна, горда невеста. Во всея Москве для них честь и место.

В предваренье брачущихся пар — небу благодарственная жертва — воспаряет вдруг воздушный шар, чтоб истаять от блаженства.

МЕТОД СОЛОВЬЯ

Почему-то считается, Что соловьи надрываются и за сердце хватаются, если оно разрывается.

Между тем мастерство соловьиного ранга выше пота и лучше труда. Вродит вольным и наглым бродягою брага. Так же и соловей. Он поет, но с прохладцей всегда.

Он не только певучий, но также крылатый. Он давно овладел и приемами трели и трудным искусством рулады. Овладел и поэтому охладел.

Хладный разум соловушки, ясность головушки по естественности напоминает мне солнышко. По естественности, по непосредственности, потому что, в отличие от посредственности, всю методу, сноровку, рабочий прием, все подробности мастерства соловыного укрывает листва — все секреты его до единого, оставляя наедине нас с самим соловьем.

ОДИССЕЙ

Хитрый лис был Улисс. Одиссей был мудрей одессита. Плавал, черт подери его, весело, пьяно и сыто. А его Пенелопа, его огорчить не желая, все ждала и ждала его, жалкая и пожилая. А когда устарел и физически он и морально и весь мир осмотрел,

вдруг заныло, как старая рана, то ли чувство семьи, то ли чувство норы, то ли злая мысль, что ждет Пенелопа — и жалкая и пожилая. Вдруг заныла зануда, в душе защемила заноза. На мораль потянуло с морального, что ли, износа!

Я видал этот остров, настолько облезлый от солнца, что не выдержит отрок. Но старец, пожалуй, вернется. Он вернулся туда, где родился и где воспитался. Только память — беда! И не вспомнил он, как ни пытался, той, что так зажилась, безответной любовью пылая, и его дождалась, только жалкая

и пожилая.

Лев Смирнов

* * *

Не таким представлялось нам слово, не с того начиналась земля... Из какого-то мира иного были первые учителя.

Мы с утра тосковали о хлебе, по теплу изнывали в тоске... А они говорили о небе и чертили звезду на доске.

КАМЕНЬ

У трех дорог замшелый камень маячил во поле пустом, и чьей-то хитрою рукою — три древних надписи на нем:

«Направо — клад в земле богатый, налево — счастье и семья. А если прямо, если прямо — то только посвист соловья».

Теперь там «МАЗы» пролетают и город крепнет молодой... Но на дороге, на дороге — все тот же камень вековой:

«Направо — пышные палаты, налево — сытная еда. А если прямо, если прямо — то лишь тревога и беда».

Мальчишка с новенькой гитарой и с рюкзаком под головой не спит и думает ночами про этот камень вековой:

«Направо — тихая дубрава, налево — мирное крыльцо. А если прямо, если прямо — то пуля смертная в лицо».

Подъемный кран прочертит небо своей массивною стрелой, и в основание детсада пойдет тот камень вековой.

Зальет бессмысленную надпись на веки вечные раствор, и над заклятым этим местом зажжется ясный светофор.

Когда ж родится новый мальчик. ему расскажет сказку мать... И будет богатырь часами у камня голову ломать.

«Направо — клад, налево — счастье, а прямо — враг и смертный бой»... И богатырь помчится прямо, поднявши меч над головой.

Светлана Соложенкина

* * *

Итог?.. Ни славы, ни гроша, ни дома — впрямь, ноша у меня не тяжела! Счастливчики?.. Я с ними не знакома. Счастливые?.. Да, я из их числа.

Что может жизнь отнять у нас? Лишь то, что сами любим мы не всей душою,

* * *

Когда при мне, в который раз опять, твердят одно: любовь необъяснима, неисчислима и непостижима,— мне скучно так, что хочется зевать. Ну да, ну да, я знаю: струйка дыма, волшебный сон и арфа серафима, вольна, как птица (например, индюк) — избавь меня от прописей, мой друг!

а это, право, горе небольшое... Любимого — не отнимал никто.

Утрачу близких я— не растеряю. И, по земле скитаясь без угла, я дам им кров— в душе... И, умирая,

я повторю лишь то, что с детства знаю: от счастья к счастью жизнь моя текла.

А я хочу любовь свою исчислить и формулы писать лучами звезд, я видеть в ней хочу кристаллы мысли, пронизанные радостью насквозь. Не мотылек, не праздная забава, а подвиг сердца, дело жизни всей... Как Архимед построить величаво — пусть на песке, неважно это, право! — ее чертеж — и умереть над ней...

Дмитрий Смирнов

МИНИАТЮРЫ

* *

Как цепка память в нас... Не потому ль Иная электричка поздней ночью Не пролетит, а лес вдали прострочит, Как очередь трассирующих пуль.

* * *

Меня как громом поразил Каширы мудрый старожил:
— А почему зовут — Кашира?
Здесь разгулялась Ока шире!
— А почему зовут — Коломна?

Да в той округе Ока ломана! — А почему зовут — Калуга? Ока в лугах искала друга! — Народ обкатывал слова, Давая на им жизнь права!

Сергей Смирнов

Я работаю над новой поэмой, посвященной легендарной поре первых лет Октября, когда под руководством Ленина советский народ сражался с внешними и внутренними врагами революции и громил их на всех фронтах.

Это — нелегкие дни молодой Советской республики, это Ильич, принимающий огонь врага «на себя», но не уходящий с поста, а продолжающий борьбу и работу, стоящий

у кормила и ведущий корабль Октября в грядущее.

Тут, по замыслу автора, органически сплетаются темы: Ленин и Революция, Ленин и строительство нового мира, Ленин и рядовой человек труда, ленинская чуткость к людям, действенная любовь к ним, во имя счастья каждого честного труженика.

ВЫСТРЕЛЫ В НАРОД

(Фрагменты из 1-й части поэмы)

Есть у нас в Москве-столице Территория одна, Славной Боткинской больницей Именуется она. Это мир особый, Это — Ежечасный фронт и тыл.

Здесь растут авторитеты Самых видных Медсветил. Здесь они царят и лечат, Здесь по хвори бьют в упор, Здесь плюсуют чет и нечет, И ведут со смертью спор.

Врачеватели по праву Званьем боткинцев горды. И заслуженная слава Отмечает их труды. Возросла она в мужанье, В непарадпости труда. И достойна подражанья, Словно вечная страда.

... И в плену молвы летучей, Я, приверженный к перу, Лишь один конкретный случай Из архивных дел беру. Каждый факт приемлю немо, С тайной робостью творца...

Возникай, моя поэма, И влеки К себе Сердца! * * *

Сгинь, река Забвенья — Лета, Не пластайся на виду...

Дело было Душным летом, В восемнадцатом году.

Телефонный звон в больнице:

— Дайте главного врача!
Просим экстренно явиться
В Кремль —
К постели
Ильича!..
Главный —
Розанов Владимир
Николаевич, суров.
С инструментами своими
Шагом марш! — без лишних слов.
Весь во власти спецзаданья
Он — по адресу скорей...
И немеет ранней ранью
Возле памятных дверей.

Ленин... Лоб в росинках пота. Меловая бледность щек... Тишь... Растерянность... И кто-то Произносит слово — Шок...

Человек не в состоянье Ни подняться, ни вздохнуть. Слабость... Кровоизлиянье... Два слепых раненья в грудь... Врач
Прощупывает руку,
Прикасается к плечу.
А Ильич в ответ — ни звука,
Только пальцы жмет врачу,
Да шепнул на свой манер он,
Как, мол, случай ни зловещ,
С каждым
Революционером
Может быть
Такая вещь...

* * *

А «Такая вещь» Чревата Самой тягостной бедой:

Ополчился враг заклятый Против эры молодой. Он идет, реванша ради, За привычный строй и быт...

Володарский В Петрограде Подлым выстрелом Убит. Враг отринул чувство риска. Безотказна сталь курка.

Наповал Сражен Урицкий — Огневой солдат Чека.

И, момент подкараулив, Враг свершает главный план:

Прямо в цель попали пули Трижды проклятой Каплан.

Вот бы Взять ее оттуда За содеянное там Да рукою самосуда Покарать По всем счетам!

Но берет все карты в руки Пролетарский — Правый суд. Отступленья нет Гадюке, Все уловки не спасут...

Промелькнула на арене, Как исчадье черных дел... Всепланетное презренье — Вот и весь Ее удел!..

* * *

Стихнул мир с его бурленьем, Потрясен весь род людской. Мчится весть, Что ранен Ленин Злой, предательской рукой.

— Всем,
Всем,
Всем! —
Гласит воззванье,
Излагая все, как есть.
А в словах и за словами —
Боль и ярость,
Гнев и месть.
И по всей стране разверстой
Голоса бригад и рот:
— Это —
Выстрелы не просто,
Это —
Выстрелы в народ!..

На Октябрьском красном флаге Отсвет крови Ильича...

Вся страна — Военный лагерь. Цель возмездья горяча. И, сплотившись грозно, хмуро, Всей громадой поднялась Пролетарской диктатуры Непрощающая Власть.

* * *

С разных мест,
Многоголосо
Нарастая,
Клокоча,
Прямо в Кремль летят вопросы:
— Как здоровье Ильича?!

Все стараются
В конверты
Крик души своей вложить:
Дескать, жизнь сильнее смерти,
Ты, Ильич,
Обязан жить!

Прилетают телеграммы. Люди просят докторов, Даже требуют упрямо:
— Ленин
Должен быть здоров!

И умельцы-медсветила Целью заняты одной — Отдают сюда все силы, Чтоб поправился больной. В непременном бюллетене Сообщается о нем, Что симптомы улучшенья Возрастают с каждым днем.

Это бесит вражью свору. Это — радует народ. — Наш Ильич Воспрянет скоро... Жизнь — На полный разворот.

И. не зная перебоя Ратоборству своему, Шлют армейцы с поля боя Чудо-рапорты ему:

— Дорогой товарищ Ленин, Нами с боем Взят Симбирск!..— Вдохновенье Наступленья. Храбрость. Мужество. И риск.

А Ильпч
Тепло и ясно
Отвечает мастерам:
— Это —
Лучшая повязка
Для моих и ваших ран!...

* * *

Он лежит. полуодетый, Укрощая боль плеча. — Дайте мне прочесть газеты! — Просит главного врача.

Ну, а тот — добряк по сути — Восстает, махнув рукой:
— Обо всем сейчас забудьте, Ваш режим — Сплошной покой...
Вы — больной! — Басит он скупо, Разъясняя и уча.
— Но бездеятельность — Мука! — Слышен возглас Ильича.

Лении жаждет приобщиться К быстротечной «злобе дня». Но дежурный страж больницы Неподатлив, как броня. — Вы больной! — Твердит он жестко. Спор короток, но горяч.

И смеются Оба тезки, Оба главных — Вождь и врач.

* * *

Но спокойно не сидится, Не лежится Ильпчу.
— Как дела у вас в больнице? — Подступает он к врачу.
— Если вам нужна подмога, Помня наши времена, В чем, скажите ради бога, Заключается она?...

Сознавая, сколь серьезна Обстановка этих дней. Врач решается на просьбу Всех скромнее и земней. Он рассказывает кратко Про условия труда. Что с продуктами нехватка, С рационами беда:

— Нам, потомкам Гиппократа, Огород бы нужен... Но Нашу просьбу Бюрократы Положили... под сукно...

Замолчал.
Вздыхает тяжко.
Суть ясна без лишних фраз.
А Ильич
Берет бумажку,
Что-то пишет, щуря глаз.
С кем-то ссорится...
И, кстати,
Задает другой вопрос:
— Ну, а как — насчет изъятья
Пуль?..

Увы, Ответ не прост. Врач уселся близко-близко, Дал понять, Что риск велик, Что сейчас опасность риска Торопиться не велит. Но когда наступит время, То, что в силах,—Извлечем...

И больной Без словопрений Соглашается с врачом.

Наяву Страда другая— Вся в огне отчизна-мать.

...Вот Расправимся с врагами,— Будем Пули изымать!

Пули, пули!
Вам всецело
Ставить точки, без прикрас.
...Мушка — в прорези прицела.
...Взор — во взор.
А класс — на класс...

Пусть готовят наступленья Те— Четырнадцать Держав:

Нас не бросишь на колени, Не согнешь, за горло сжав.

Что ни сутки, То — убыстрен Штурм несчитанных преград. И на каждый вражий выстрел — Наши выстрелы Стократ.

И пред нами,
Плотный,
Крепкий,
Все объявший, как никто,
Большевик —
В гражданской кепке
И простреленном пальто...

Михаил Скуратов

НАРОД-ЯЗЫКОТВОРЕЦ

Выражается сильно российский народ!

Н. Гоголь

Эх, зачерпнуть бы полной пригоршней Народных самоцветных слов Из повседневной жизни нынешней... Ах, если б мне такой улов!..

А ложномудрым сочинителям Не дать бы портить наш язык. Народной сути хоронителям Не мерять все на свой салтык.

ПОЛЯРНЫЙ ПОЕЗД

Богат полярный Север! — Куда ни кинешь взгляд — И птицы там, и звери, И щедр подземный клад. А нельмы и таймени — В рост человека там, И осетры не мене, Косули по хребтам. Но где оленьи тропы, Там звенья первых шпал. По рельсам тем протопал Локомотив, как шквал.

Речей ядреных мне, зацепистых, И запашистых, и иных, Но без прилизанных нелепостей. Не пахло б книжностью от них!..

Не опреснить их, не обсахарить... А чтоб народный бойкий ум Жил и в рабочем, жил и в пахаре Словесным выраженьем дум.

У полотна дороги
Глядит на паровоз
Олень кустисторогий,
Он словно в тундру вмерз —
Застыл от изумленья...
А паровоз пых-пах.
Прощай, тропа оленья!..
Навстречу, впопыхах,
Встречают первый поезд
Полярные жильцы...
Вот новой жизни повесть:
Они ее творцы!

Алексей Смольников

КУБИНСКИЙ РЕПОРТАЖ

ПЛАН ВИАНДА

Кто сказал нам, что саванна — Нерожалая земля! Нас ведет директор плана, Демонстрирует поля.

Апельсины, манго, юкка, По заказу в трубах дождь. — Пусть работает наука, Бог, он скуп на дождик все ж...

Компаньеро Артеага — Капитан и член ЦК. Партизанская отвага И крестьянская рука.

Он в дороге раньше бога, Целый день по целине. Пистолет привычный сбоку, Два подсумка на ремне.

У него белы, наверно, Только зубы да белки. — Строим фабрику. Консервы Маловерам вопреки!

Мне звонили из Сантьяго: Покажи, Хосе, им все! — И смеется Артеага, Вскинув солнечно лицо.

Вот куда б корреспондента! — Вся саванна как в росе. Восемь школ вдоль синей ленты Первоклассного шоссе.

Восемь новых интернатов, Полных солнца и детей, Между шахматных квадратов Вновь нарезанных полей.

Мы идем от поля к полю, Мы идем из класса в класс, И ребята в каждой школе Окружают стайкой нас.

Нас ведут в библиотеку, Всей толпою говоря, Здесь в саванне, где от века Не знавали букваря!

«Тихий Доп» стоит на полке, «Поднятая целина». Объясняют хором долго, Почему она нужна.

И, поля свои нам выдав, Курит тихо в стороне Партизанский их Давыдов С пистолетом на ремне...

В ОТЕЛЕ «ГАВАНА ЛИБРЕ»

За гостиничной стенкой ночною, Видно, снова землячество: спор. — Си, чиленос...— кивнув головою, Улыбается грустно лифтер.

Да, чилийцы. Я знаю об этом — Вся гостиница ими полна. Это, в сущности, рядышком где-то — Горемычная их сторона.

Старики, ребятишки, старухи, Дым фашистских костров за спиной... Первый курс пролетарской науки, Как он трудно дается порой!.. Я не сплю до рассвета. Не то что Голоса мне слышны за стеной. Я почти что не слышу их, просто Мне не спится в Гаване ночной.

То Мадрид мне припомнится, детство — Те тридцатые годы, когда Привезли ребятишек в Одессу Из Испании наши суда.

То над Волгой вселенские бурн И руины твои, Сталинград, И в пилотке Рубен Ибаррури — Краснозвездный России солдат.

То Берлин той весной сорок пятой, Где вблизи Бранденбургских ворот Русской кашей спасали солдаты Отощавший берлинский народ...

Где-то город мерцает устало, Где-то краны рокочут в порту. Грянуть бы «Интернационалом» Через эту их всю маету!

Но дымит сигарета ночная, Вьется синим колечком дымок, И чиленос моих, не стихая, Все журчит за стеной говорок.

Все-то спорят, и некуда деться, Хоть давно уж весь город затих. Хорошо, что теперь по соседству Куба есть в полушарии их...

$CA\Phi PA$

Вся в плакатах республика — сафра. На плакатах мачете клинки. И смеется республика: Завтра Будет сахар — и будут станки.

Не с того ли в сомбреро вся Куба? Не с того ли так людно в полях? И дымят круглосуточно трубы Над саванной в сладчайших цехах!

Сладок сахар кубинский. все знают, Тут излишпи любые слова. Только поле сперва обжигают, Чтоб сгорела сухая листва.

И по гари, по черному пеплу, Точно в джунгли, врубаясь в тростник, Под тропическим солнцем, как в пекло, Мачетерос идут напрямик.

Солон сахар твой признанный, Куба, Черен пот на шершавых щеках. Но улыбка твоя— белозуба, И работа твоя не за страх.

Потому что стоят у причалов. Сквозь блокаду пройдя, корабли, Потому что спокойны и алы Флаги дружбы из братской земли.

И еще потому, что ударно Ходят в поле с тобой, что ни год, То димитровцы, крепкие парни. То берлинцы, рабочий народ.

Ничего, что маршрут у них дальний, Что штормит океан за кормой,— Точно вспышки зеленые, пальмы Фестивально летят над тобой!

Валентин Сорокин

НАД ОКЕАНОМ

Виктору Кочеткову

Скорость, скорость, и клокочут снова Там, внизу, якутские леса. Вижу, у поэта Кочеткова Опытно прищурились глаза...

Он шагал в атаку в сорок первом, Смелый.

беззащитно молодой. А сегодня натянулись нервы,— Лайнер зависает над водой.

И швыряет ошалело вечер Дождь и темень, ветер и туман.

ПЛАЧЕТ ЖЕНЩИНА

Плачет женщина в самолете — Так печаль ее тяжела, Мир клянете, себя клянете — Жалость сердце вам обожгла.

Виноват и чуть-чуть рассеян Взор.

дрожанье смущенных рук. Север, Север, полярный Север, Край сомнения и разлук.

Рев турбинный. неукротимый, Судеб, верностей перелом. Где-то там он,

ее любимый, В бездне марева под крылом.

Где он? Может, ищет алмазы И шагает сквозь глушь и тьму, И седые колонны «МАЗов» Покоряются лишь ему.

Ну, а может, больней и хуже. В дом — кого тут винить, кого? — И навстречу расправляет плечи Весь в огнях и звездах океаи.

Здесь петлями, сопки прошивая, Пьяные фашистские следы. Алая,

гвардейская,

живая Кровь лилась на взорванные льды.

На закате глуше гул моторов. Выбирает крейсер якоря. И встает над северным простором, Словно щит, багровая заря.

К непутевому едет мужу От миленка не своего...

Стук ударов, прямых и жестких, Ярость реющих скоростей. Ночи белые, перекрестки Задыхающихся страстей.

Колыхание затяжное. Море.

Скалы по-над водой. Как ей хочется быть женою, Пежной мамою молодой.

Кофта, сумочка и прощально Вдаль стремящееся лицо. Ожерелья горят печально, И поблескивает кольцо.

Синий вечер свистит и гаст. Звезд весенняя толчея. Плачет женщина золотая, Улетающая, ничья.

Алла Стройло

МНОГОЭТАЖНАЯ ВЕСНА

Весна.

Земля пошла в продажу. Полтинник — три кило земли. Ее, как гречневую кашу, В кульках прозрачных понесли. От той живой,

от той — родной Оранжерейная отлична, До ожирения теплична И все-таки...

семьи одной.
И я землевладельцем стала,
Несу кулек своей земли,
Чтобы ромашки расцвели
Среди бетона и металла.
Вскопаю кухонным ножом
Свое небесное владенье,
И над десятым этажом
Случится лепестка рожденье.

Игорь Строганов

СВЕТЛАЯ ТЬМА

Звонко топают прохожие. Затемнила все Ночь московская, похожая На какой-то давний сон.

Лишь карманные фонарики, точки папирос, Отраженное в Москва-реке колыханье синих звезд.

На постах не спит милиция — красный огонек. В темноте не вижу лица я, только слышу стук сапог, Только слышу топот дробный я, краткие слова... Вся шинельная, Окопная Стала ты, моя Москва! Все такая же хорошая встретила меня, Сколько там врагом не сброшено на Москву мою огня...

Полдороги в мраке пройдено, но нежданно, вдруг Ярче вспыхнет слава ордена, лишь в метро войдет мой друг...

Нет, недаром в мире славятся москвичей дела,— И во тьме Москва-красавица для меня, как днем, светла. Пусть темно, но, сердце радуя, окрыляя нас, Повторяет трижды радио нам опять «В последний час»! И во тьме на полной скорости в бой машины мчат. Сколько счастья, сколько гордости нынче в сердце москвича!

И во тьме гудят московские яркие цеха! И на темном перекрестке я песню светлую слыхал,— Не заглушит затемнение песен москвичей, Как невзгоды и лишения наших не согнут плечей.

Нет, недаром в мире славятся москвичей дела! И во тьме Москва-красавица Для меня, Как днем, светла.

Дмитрий Сухарев

РЖАВАЯ ПОДКОВА

Дайте, дайте мне ладью Плыть по белу свету, Дайте родину мою Да мою планету, Дайте мне сажень до дна — Поплыву толково, А для счастья мне нужна Ржавая подкова.

Как направлю я ладью Вдаль по синим водам, А подкову я прибью Над родимым входом, А планету положу В сумочку-котомку:

— Не губи ее,— скажу Умнику потомку.

Этот берег больно крут, Тот — в дыму белесом. А меня ни там, ни тут, Я царю над плесом. Все бы слушала душа Да глаза глядели, Как садится не спеша Солнышко за ели.

Дайте спеть на склоне дня Ласковое слово, Нету, нету у меня Ничего другого — Ни на этом на крутом, Ни на том пологом, Ни на гвоздике пустом Над родным порогом.

Марина Тарасова

Арфистке аккордов не жалко, арфа не прихоть богов. Мне кажется, древняя прялка воскресла из пепла веков.

И женщина в синей косынке весь долгий февраль напролет воздушной рукой — при лучинке — вечернюю песню прядет.

Николай Тарасов

* * *

И счастье мое, и морока катились,

как солнечный ком,

где все,

что случилось до срока. и все, что случится потом. И сыпались,

сыпались годы

то ливнем.

то просто дождем, бездумным явленьем природы и темным, непознанным дием. И не было вечности году. И травку щипали века. И, не удивляясь

исходу,

клубились,

как сны.

облака.

Тогда-то

взглянул я, как в воду, и зло отделил от добра, и вызволил дух на свободу, и сделал тебя из ребра.

Арсений Тарковский

* * *

Мне другие мерещатся тени, Мне другая поет нищета: Переплетчик забыл о шагрени. И красильщик не красит холста,

И кузнечная музыка — счетом На три четверти в три молотка — Не проявится за поворотом Перед выездом из городка,

За коклюшки свои кружевница Под окном не садится с утра,

И лудильщик, цыганская птица, Не чадит кислотой у костра,

Златобит молоток свой забросил, Златошвейная кончилась иить. Наблюдать умиранье ремесел — Все равно что себя хоронить.

И уже электронная лира, От своих программистов тайком, Сочиняет стихи Кантемира, Чтобы собственным кончить стихом.

MAHEKEH

В мастерской живописца сидит манекен, Деревянный, суставчатый, весь на шарнирах, Откровенный как правда, в зияющих дырах На местах сочленений локтей и колен.

Пахнет нылью и тленом, пахнёт скипидаром — Живописец уже натянул полотно. Кем ты станешь, натурщик? Не все ли равно, Если ты неживой и позируешь даром.

Ax, не все ли равно. Подмалевок лилов, Черный контур клубится под кистью шершавой. Кисть в союзе с кредитками, краска со славой, Пет для смежных искусств у поэзии слов.

Кто хозяин твой: гений, бездарность, халтурилик?

Я молве-клеветнице его не предам, Потому что из глины был создан Адам, Ты — подобье Адама, бесплатный натурщик.

Кто я сам, если плачут и ходят окрест На шарнирах и в дырах пространство и время, Многозвездный венец возлагают на темя И на слабые плечи — пророческий крест?

ЗИМА В ЛЕСУ

Свободы нет в природе, Ее соблазн исчез, Не надо на свободе Смущать ноябрьский лес.

Застыли в смертном сраме Над собственной листвой Осины вверх ногами И в землю головой.

Бездомней погорельца Уже мороз-кащей Прищелкивает тельца Опавших желудей.

МАРТОВСКИЙ СНЕГ

По такому белому снегу Белый ангел альфу-омегу Мог бы крыльями написать И лебяжью белую негу Ниспослать мне как благодать.

Но и в этом снежном застое Еле слышно о непокое Сосны черные говорят, Накипает под их корою Сумасшедший слезный разлад. А дуб в кафтане рваном Стоит, на смерть готов, Как перед Иоанном Боярин Колычев.

Прощай, великолепье Багряного плаща! Кленовое отренье Слетело, тренеща,

В кувшине кислорода Истлело на весу... Какая там свобода, Когда зима в лесу.

Верхней ветви — семь верст до неба. Нищей птице — ни крошки хлеба, Сердцу — будто игла насквозь, Велика ли его потреба — Лишь бы небо впору пришлось.

А по тем снегам из-за лога Наплывает гулом тревога, И, чужда себе, предо мной Жизнь земная, моя дорога Бредит под своей сединой.

Красный фонарик стоит на снегу. Что-то я вспомнить его не могу.

Может быть, это листок-сирота, Может быть, это обрывок бинта.

Может быть, это на снежную ширь Вышел кружить красногрудый снегирь,

Может быть, это морочит меня Дымный закат окаянного дня.

Дина Терещенко

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Спрашиваю: «Почему не был в школе?» — «Был». Вижу, лжет. Которой неправдой сердце колет. Который год!

Мое же! Под сердцем лежало. Моя кровинка. Мое сердцебиение.

Где он? Что там в груди зажало? Какой завтра день? Воскресение?

Кто виноват? Не я ли одна? А может, отец? А может, война? А может быть, все-таки я одна? Тишина...

Где ошибки мои первые?
По крупинкам в памяти их собираю.
Это было тогда,— наверное,
Я была совсем молодая,—
Только захнычет, скорее на руки,
А он засмеется беззубым ртом.
Дед, бывало, скажет: «Маленький!
Зубастым станет потом».
Улыбается. Доволен. (Дети!)
Ничего-то еще не понимал,
Сто восемьдесят дней живет на свете,
А уже на своем настоял.

Бегает кудрявый, смешливый, горластый, Во дворе озорством себя прославил. «Хочу самолетик. Купи. Красный».— «Да ведь есть у тебя же!» — «А он старый!» Затопал ногами, заплакал. Ясно. Мать взяла и купила красный.

... Тишина ...Граница. Сорок первый год! Сына ровное дыхание. Но что это? Что это небо жжет? Сирена. Война. С Германией. Идут, идут на восток поезда. Чужие деревни и города. Чужие люди — одна семья! А я тоскую. В родные края Птица и та тянется. С фронта редкие письма ждешь. А время так медленно тянется...

Тишина. Сын в бреду. Менингит! Нужен лед для больного сына, И хотя бы одна белая капелька сульфидина! Нет сульфидина. Надежды нет. Первая седина в двадцать лет.

И все же выдюжил!
Вытянулся. Подменили будто.
Без сознания шесть суток.
Врач удивлялся: «Крепкий малютка».
Предупредил: «Головные боли.
Трудно будет мальчику в школе».

Первый класс. Первые тетрадки. В тетрадках — лесок, партизаны и пушки. Рисует мальчонка. Играет в игрушки. Чернила. Двойки. В ранце — рогатки.

Отец в разъездах. Редко дома. Должность такая. Не он один. Приедет, а в комнате вроде разгрома. Ну что же, растет гражданин!

Прикрикнуть жалко, хоть двойки тревожат,— Сердце и так за него болит. Все же болезненный, Слабенький все же, Мечется ночью, во сне кричит.

Опять кпиги, тетради заброшены. Январь. Каникулы. Мне бы: «Учи». А я ему: «Маленький мой, хороший, Пойди погуляй». Не различить, Где я права, где неправа я. Все-то с ласками да с обновами, Все ему первому, во всем потакаю. Отец говорит: «Голова садовая!»

Думаю... Думаю дни и ночи: Учи его, не учи... А может, лучше к станку, к рабочим, На заводе профессию получить? И все же всего дороже— Дотянуть до десятого класса хотя бы. Отец говорит: «Надо быть строже!» А сам воспитатель слабый!

Экзамены! Сердце мелкую дрожь отбивает. Понятное дело, трудно быть каменной. Мать! Она свое отбывает. Дверь отворилась: «Нас четверо провалилось!»

... В доме тихо. Часам и тем тикать надоело. На что-то еще надеенься. Где он теперь, что с ним станется? Как медленно-медленно время тянется. Не замечала раньше у времени цвет. Не знала, что время бывает сизое, Такое, как теперь. Удивительное дело! Крадется мышь по карнизу, Тоже сизая. Смелая! Мышь в доме, говорят, плохая примета. Выдумки. Вздор. Убежал из поры постреленок И бегает по паркету. С мизинец ростом, а туда же. А мать, должно быть, не знает покоя, Где ее первенец? Может быть, даже Угодил в мышеловку? А он сидит себе как ни в чем не бывало, Наклонив головку, И зубик о старый карниз точит. Приобретает сноровку!

Николай Тряпкин

РАССКАЗ ПРО ОДНУ ПОСЕВНУЮ

Не нужны нам цифры-даты, справки тоже не нужны. Это было ведь, ребята, на втором году войны. Это было в нашем поле, после зимки фронтовой... Ни боев, ни фрицев боле, и скворды над головой.

Солнце жарит. Время сева. Значит — радость и подъем. А война уже — за Ржевом, а в полях уже — назем. Снарядили мы под семя три осьмины ячменя! Пусть в деревне в это время — ни коровы, ни коня.

Запустили жены бражку, замесили пирогов. И поставили в запряжку всех паличных мужиков. А меня, конечно, девки не заставили скучать... Что за солнце на сугревке! Что за утро — благодать!

А деляночка — в ложочке, а на горочке — ольха. И стояли там плужочки и смеялись в лемеха. Завели меня в постромки, обвязали поперек, Что за конь стоял у кромки — замечательный конек:

С шелковистой русой гривой, не брыкнет и не тяжел! А за плугом — дед плешивый, самый лучший комсомол. Вот он, вожжи подбирая, крякнул, свистнул: «Нно, милок!» Эх ты, мать — земля сырая! Эх ты, небо-потолок!

Ребятишки для успеха развлекались гармозой. Девки падали от смеха и секли меня лозой. Только все же над полями, ой ты, ворон, не кричи! И ходили вслед за нами настоящие грачи.

И, за все теперь в ответе, не просил я молока— Первый парень в сельсовете и единственный пока. И прошу вас— не дивитесь— не припомню лучших дней! Даже Нестор-летописец отразил бы случай сей.

Сколько б ни было печали, что бы ни было потом, А делянку мы вспахали и засеяли притом. Ах, вечерняя прохлада! Заливные голоса! И тащили мне со склада меру целую овса.

* * *

Не поляки, не свеи, не фрязи, Не отряды степной саранчи... То Степан Тимофеевич Разин Гле-то там не межал на печи.

Где он был — укрывали просторы В горьковатых осенних дымках, Далеки Жигулевские горы, И не видно казацких папах.

Только слово захлестное — Стенька! Только рыщут повсюду стрельцы. Закопалась моя деревенька В листопады у речки Тверцы,

Залегла в духовитом укропе Да в куртинном, овинном дыму. Только знаю — все чаще холоцы Заседали в лесном терему.

И так звонко у нас под окошком Голосил молодой петушок! И все ночи мой предок Самошка-Заливался в пастуший рожок.

П горохом лады-переборы Рассыпались по всем колеям. Далеки Жигулевские горы — Да грустить ли таким соловьям?

Только слово захлестное — Стенька Да глоток из честной сулеи!.. Голосиста моя деревенька. И потомственны песни мон.

Владимир Туркин

Что случилось? Случилось такое — На душе словно ветер в трубе... Я сегодия не справлюсь с тоскою Без тебя — о тебе.

Телефонные линии плачут: Как дела, как дела, как дела...

Я желаю тебе пеудачи. Чтоб на помощь меня позвала.

* * *

Были прадеды. Будут правнуки. Были будни, и были праздники.

Знал я полночи. Знал и зорьки я. Видел сладкое. Видел горькое.

Жил работая, жил и празднуя. Было всякое. Было разное.

* * *

Я не дам тебе больше ничего изменить— Ни надежды моей, ни желаний. ни чувств. Я не буду тебе ни писать, ни звонить: Без тебя этот мир принимать научусь.

Научусь не казнить сам себя суетой — Суетой наших встреч, бестолковой такой. Научусь наслаждаться другой красотой, И походкой другой, и улыбкой другой.

* * *

Когда представится мне случай От женщин — в сказочном краю — Услышать: «Только самой лучшей Из нас Отдал любовь свою»,

Скажу, восторженно немея: «Благодарю за эту честь.

Боль во мне жила — не для всех видна. Боль до дна была — на всю жизнь одна.

Но всегда я знал, как мне дальше быть: Что бы ни было, а людей любить.

Без любви придет одиночество. Без любви мне жить не захочется.

Ты меня отторгала от жизни самой, Словно тяжкая цепь пролегла по судьбе, Но ведь мир еще мой, Белый свет еще мой, Просто жить — это счастье само по себе. Просто жить. Понимать, что ты — жив. Просто — быть. И раскачивать криком небосвод голубой... Задыхаясь свободой. любить п любить Все, что ты от меня заслонила собой.

По я, наверно, не сумею Одну средь многих предпочесть.

Не так я возрастом увенчан. Не так душа моя бедна, Чтоб мной средь вас — прекрасных женщин — Могла быть избрана одна». * * *

За двадцать с лишним лет разлуки нашей — От школьного прощального звонка — Ты стала так таинственно строга, Что я не смею звать тебя Наташей.

И в этой женской строгости твоей Не узнаю я девочку былую. И руки по серьезному целую. И взрослый взгляд ловлю из-под бровей.

Как я наивно в памяти сберег Приметы недогадливого детства: Билеты в цирк, скакалки у подъезда И туфли — с ремешками поперек.

И то, как мы встречались возле клуба, Или на танцах, или так — наедине... Но эти встречи (даже вспомнить глупо!) Не вызывали трепета во мне.

Под прядью со склоненной головы Я лишь коснулся рук твоих губами,

И обожглась мальчишеская память О таинство, которым стали Вы.

Владимир Федоров

БАЛЛАДА О ВЕЩЕМ ВЗОРЕ

Плачет чайка За окном навзрыд, В камни бьет Рокочущее море. Сила вещая В незрячем взоре. Слышите? Островский говорит.

Над кроватью Микрофон парит. Голос дрогнул, Сердце застучало. Друга приподнял Могучий Чкалов. Слышите? Островский говорит.

Свежий лист в росе. Как чист зенит! Словно вишни, На петлицах ромбы. В Киеве Еще не рвутся бомбы. Слышите? Островский говорит.

Соколы мои!
Вы мне нужны,
Как сиянье солнца,
Всплески моря...
Нет войны.
Но есть в незрячем взоре
Вещее предчувствие
Войны.

Чкалов держит Друга на весу. Будто только Вынес с поля боя, Будто в тучах Небо голубое, Будто самолет Горит в лесу.

И они сгорят.
... Гремит
Мадрид.
Видит Николай
Незрячим взглядом
Стены Бреста,
Камни Сталинграда.
Слышите?
Островский говорит.

Василий Федоров

* * *

Нет, это все наветы, Что будто не дружны мы. Поэты— как планеты, Взаимно притяжимы.

И те, что дружбой слиты, И те, что мечут громы. Слетит один с орбиты, Несдобровать другому...

* * *

Прозябаю на ветру, На миру, словам внимая. Истин сверху не беру, Я их снизу поднимаю.

Испытанья не страшны. Чтобы светом возгораться, Наши истины должны Только снизу подниматься.

Истины не входят в стих От общения с богами. Нет, я каждую из них Отрабатывал боками.

* * *

Жаждем истины во всем. Жаждем веры, между тем Стало меньше аксиом, Стало больше теорем.

В сфере солнечных орбит Заменился нешутейно Доказуемый Эвклид Недоказанным Эйнштейном.

В прямоту путей своих Вносим новые охваты: Нет и не было прямых, Все прямые кривоваты.

Но скажу вам горячо: Ничего вы не добьетесь, Если вам на каждый чох Нужно дюжину гипотез... * * *

Секунда — миг, а все же И в ней дано меняться. Минуты не похожи, Как отпечатки пальцев.

Но век людей не тешит Разборчивостью тонкой. Он дни и судьбы чешет Под общую гребенку.

* * *

В многомудром кураже Знатоки и слов и слога Говорят, что о душе Говорю я слишком много.

Мудрость века вороша, Похваляясь эрудицией, Говорят, что ты, душа,— Не душа, а только фикция.

Чем же ты нехороша Тем, которые в бесстрастности Говорят, что ты, душа, Кем-то выдумана В праздности?

Как им втиснуть В мысль и в страсть, Что в далекой смутной вечности Ты, родная, зачалась Ради высшей человечности.

* * *

Не хватит Срока моего. Все требует Меня всего.

Жена — всего, Стихи — всего, И даже мой «Урал» Стрекочет, Чтобы я его Всю жизнь Не покидал.

Друзья — всего, Враги — всего. Не хватит Срока моего. По мере славы И по мере дней Все больше у меня Учителей.

Все знатоки И все чему-то учат В одной надежде. Что меня улучшат.

Один из них
Почти что приказал,
Чтоб не скудел мой стих
Строкою жгучей:
— Режь правду-матку
Недругу в глаза! —

А сам свои отвел На всякий случай.

Другой взывал К таланту моему, Слезой молил, Чтоб нежным оставался. — Да не хочу! — Ответил я ему. Он завздыхал: — Так-так, уже зазнался!...

Вот и боюсь Послушаться оплошно. Учиться б рад, Заучиваться тошно.

Зачем чужие страны, Когда есть Комарово.

* * *

Зализываю раны, Ищу живое слово.

Здесь тишина без края, Не то, что шум столичный. Мне тишина такая, Как счастье, Непривычно.

Здесь сосны, Храмы словно, Маяча в небе млечном, Недвижно и безмолвно Внушают мысль о вечном.

Родят К тому презренье, Законное в поэте. Что нет во мне прозренья Хотя бы На столетье.

Николай Флёров

БАЛЛАДА О БАРАБАНЩИКЕ

«Волею божию умре барабанщик...»

(Из записок экспедиции Беринга)

Нет, не умер барабанщик Средь безмолвного простора. На рассвете разбудил он Капитана-командора;

И видали это птицы, Залетев на мрачный берег: На «Святом Петре» к штурвалу Стал, как прежде, Витус Беринг...

Ну а в первом их походе Так сложилось несчастливо, Что они прошли проливом И не видели пролива,—

Потому что барабанщик Позабыл сыграть побудку, И не знал — сыграл с друзьями Непридуманную шутку:

Не отметил барабанщик Чрезвычайного момента, Что разделены проливом Два могучих континента;

И к тому ж не подтвердился Подвиг, совершенный прежде,— Что вот здесь прошел проливом Еще в прошлом веке Дежнев.

И сказали им в столице: Никаких таких Америк, Если вы не увидали За туманом новый берег.

И тогда ушли матросы С капитаном-командором,

Чтобы вновь пройти проливом, Положить пределы спорам...

Нет, их бурей не разбило В этом плаванье грозящем. И не умер барабанщик — Он стоит впередсмотрящим.

Он сегодня исправляет Ту ошибку роковую. Всех погибших, затонувших Созывает в даль морскую.

И встает из-под каменьев, И в свою звезду он верит, И на борт «Петра», как прежде, Он вступает, Витус Беринг.

Рядом с ним сегодня Дежнев, Тот, кто первым шел к проливу. И не быть ни мгле, ни вьюге — Быть удаче, быть порыву.

Так идут сыны России Историческим парадом. Оба берега видны им, Проплывают с ними рядом.

Есть пролив меж континентов. Путь измерян, путь проверен. Бьет российский барабанщик. Гордо смотрит Витус Беринг.

Словно думает он, глядя В синеву волнистой ленты, Что пролив не разделяет, А сближает континенты.

Илья Френкель

СИБИРСКАЯ ЕЗДА

Не запомнил дня. Позабылась дата. Кошева. Два коня. Все летит куда-то.

Что же это? Наяву? Может, просто снилось? В снеговую синеву Словно провалилось.

Ну и пусть, пусть, пусть, — Лишь бы чаще снилось, Как стихи, наизусть, — Лишь бы не забылось.

Лишь бы выл полоз, Кисть плясала на шлее, Лишь бы дым полз В синей колее,

Да чтоб над лесами Синяя звезда... Сани. Кони. Сани. Сибирская езда.

Ну и пусть, пусть, пусть, — Лишь бы чаще снилось, Как стихи, наизусть, — Лишь бы не забылось...

$CHE\Gamma$

Снег летает, Поземкой змеится зигзагообразной, Заметает, Переметает — Фиолетовый, розовый, разный, Звонкий — от скрипа до шороха, Грозный и грязный От пороха... Снег военный, Графленный осколками минными, Клейменный Бурыми и карминными Лужицами, Овеянный ужасами. Снег военный, Незабвенный, Кровавый и кровный, Подмосковный, Курский и Тульский, Невский и Нарвский, Яркий и тусклый... Снег витает, Прядает, Ниспадает И падает. Снег глаза мои радует. Снег за сердце хватает. Снег спокойно лежит, И, когда надлежит, — Просто тает...

Яков Хелемский

* * *

Самолеты дряхлеют, как люди, Пулеметы уходят в отставку, И стволы отслуживших орудий Отправляются на переплавку.

Где он, тот «ястребок», что впервые Отличился в искусстве тарана? Перехватчики сверхзвуковые, Ваш черед заменить ветерана.

Автогеном безжалостно режут Тело крейсера, башни линкора. Душу ранит пронзительный скрежет, Но ни стона в ответ, ни укора.

Бронепоезд и «тридцатьчетверка» Вопрошают: «В музей не пора ль нам? По оснастке, хоть это и горько, Мы теперь устарели морально...»

Но «Аврора» на вечном приколе Человечеству служит поныне, Прозревает оно в этой школе, Очищается в этой святыне.

* * *

Памяти Александра Макарова

Вспоминаю зону затопленья, Колокольню посреди реки, И паром, не ведающий лени, И трепещущие поплавки.

Луговая пойма, разнотравье, Воды расступаются, плеща. Встретились на этой переправе Два полузнакомых москвича.

Виделись в редакциях и в клубе, Кое-как здоровались, спеша, А теперь прильнули к этой глуби, И душе откликнулась душа.

Мой попутчик — уроженец здешний — Светится, о Волге говоря,

А машина из танковой стали, Победительно и окрыленно Возвышается на пьедестале В центре нового микрорайона.

И тачанка в лесу, на поляне Партизанского мемориала, Как оживінее воспоминанье, Обаяния не растеряла.

С нею связаны общей судьбою, Заслоняя людей от невзгоды, И ракеты глобального боя, И подводные атомоходы.

Давним «ИЛам» тесна диарама В областном краеведческом зале, С полотна они рвутся упрямо В нашу память, в открытые дали.

И крыло, что в бою обгорело, Над новейшею техникой реет... Матерьяльная часть устарела. Но морально она не стареет.

Смуглокожий, не похожий внешне На классического волгаря.

Он в столице разучился окать, Но теперь, явив свое родство, Вслух читает Тютчева и Блока, Округлив калязинское «о».

А тельняшка под рубахой пестрой И улыбка говорят о том, Что и плес и рукотворный остров Для него — незаменимый дом.

Да и я, рожденный в южном крае, С трапа соскочив на волглый луг, Вдруг невольно оказь начинаю, И ликует обретенный друг.

Александр Целищев

НЕИЗБЕЖНОЕ

Мы до поры невозмутимыми, живем не вяло,

не отчаянно. Приходят дни неотвратимые, и замечаем мы с отчаяньем, что все рассветы одинаковы, как проходящие автобусы, что жизнь для нас -

проспект со знаками,

что землю знаем

лишь по глобусу. Потом наступит неминучее: нас захлестнет тоской-кручиною, такой глубокой и горючею, такой неясной, беспричинною. Захватят в плен воспоминания, и никуда от них не деться. И, несмотря на расстояния, уедем мы в деревню детства. Туда, где нас давно забыли, туда, где не были мы

вечность, где времена прошедших былей вернутся к нам,

неся беспечность.

Где при народе

мы не выкажем тоску горючую по родине, зато свою кручину выскажем наедине с самой природою. Где табуны в ночное —

конницей, где все наездники вихрастые, где каждый встречный нам поклонится и скажет дружеское:

«Здравствуйте!» Где все сады не огорожены, где молока попьешь из кринок, когда уснет закат стреноженный, постелют на ночь нам перины. В перинах сено пахнет

грозами,

в перины сон-трава положена... Разбудит нас

рассвет березовый,

и будут души омоложены.

Галина Чистякова

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ

Вы помните этот плакат. Где женщина смотрит с плаката? Так строг ее пристальный взгляд, Как будто я в чем виновата! Ну в чем я виновна, скажи? Под взглядом тяжелым немею. Я только вхожу в эту жизнь, Я даже читать не умею. Но время настанет: кольцо Однажды в цепи разорвется, И строгое это лицо В одно с материнским сольется. О, эти слова повторять Всегда я готова упрямо: И громкое — Родина-мать, И ласково-нежное мама...

Владимир Цыбин

* * *

Все золотей, все медлительней, все тяжелей, все неслышней росы по травам пошли, и лошади кончиками зябких ушей осторожно прикасаются к зыбкой тиши.

Нахоложенное, хрусткое — сплошь осеннее падает, опалившись о белый зенит, листье. И я предчувствую, как землетрясенье, каждый твой жест и слово твое.

Из тишины моей, из самого дна, так вдруг качнет — словно на гладком льду, и я увижу губы твои, где теплится дрожливинка сна, и руки твои, уставшие, у меня на лбу.

И станет мир огромным, громким и зрячим, и я, отклоненный тяжестью сердца вниз, твоим сквозным притяженьем охвачен, через жизнь твою упаду, как октябрьский лист.

И, отданный в это броженье, круженье, скольженье к тебе приду и к прохладе твоей прильну— так из земли, из тяжести притяженья неслышно вырываются зеленя в вышину.

Так, укрытая вся белой дневною тенью, вдоль светофоров, вдоль железнодорожного полотна, вживаясь медленно в протяженность мгновенья, долго-долго слушает себя тишина.

ПОЛЕ

След хранящее тонкой росы, от полдневного жара слепое, как на праздник, меня пригласи, зазвеневшее колосом поле. Ты понятнее мне и милей под усталою желтой дремотой,— это полдень России моей закрывает тебя позолотой. Не войдешь ты в него, а вплывешь, и откроется радостно взору— золотая, тяжелая дрожь растеклась не спеша по простору.

Тонкий след пробежавших лучей вдоль межи остается за мною, словно стая взлетевших гусей, шумно стелется рожь — над землею.

Спелым колосом туго звеня посредине бескрайней равнины, пригласи, как на праздник, меня, поле русское, на сентябрины. Позовет вдруг не знаю куда напоенная тишью и полднем голубая, дневная звезда, что стоит негасимо над полем...

Феликс Чуев

* * *

Земля ожидает гостей, ковром расстилая траву. Земля посылает детей в немыслимое — наяву.

А сколько забот на земле и смелых, решительных дел!

* * *

Пусть жизни свет палит сильней, покуда не погас! Пусть будет больше сыновей у каждого из нас.

Пускай родятся — ничего, они родятся впрок. Коль много их, из одного, наверно, выйдет толк.

Не только в таком корабле доказывать можно, что смел.

Но только потомок поймет, тропой неземною пыля, зачем стартовал звездолет, зачем рисковала Земля?

Пусть жены нас еще нежней полюбят, чем сейчас. Пусть будет больше дочерей у каждого из нас. О время,

дочек сохрани, взрасти, даруй успех!

Когда умрем, о нас они поплачут лучше всех.

Варлам Шаламов

СТЕКЛОДУВЫ

Неуспокоенная лава Текла, как будто солнце жгло, И был песок вконец расплавлен И превращен жарой в стекло.

Вся масса стынет постепенно, Она до дна раскалена, И ярко вспыхивает пена, И загорается волна. И чайка прикоснулась клювом К зеленой, выгнутой волне, И чайка стала стеклодувом, Подручной оказалась мне.

В который раз мы верим чуду И рады выдать за свое — И груды облачной посуды, И неба синее литье.

Извлекаются грудами Вещи палеолита: Производства орудия И орудия быта.

Неожиданно крошечны Те скребки и рубила, Их кремневые ложечки, Высекавшие были. Статуэточки малые Твердо держатся в пальцах, Мастерство небывалое В пальцах неандертальца.

Раньше века железного, В веке кости и камня, Они дышат поэзией Глубины самой давней.

Екатерина Шевелева

ПЛАСТЫ

Рентабельности формулы просты: Невыгодны глубокие пласты; Тот уголь, что в бездонной глубине Втридорога обходится стране.

Мне видятся шахтерские края. Мне кажется:

в глубокой штольне я. И пусть в нее я заживо врасту. Лишь дать бы выход главному пласту

ГОРОДОК ОБУХОВ

...А мне все видится Обухов. В тот день зима дошла до Киева. Буран по области забухал, Судьба меня в райком закинула.

В райкоме встреча — как открытие. Я спрашивала все дотопнее: «Не с Волги ли у вас родители? Не там ли где-то ваше Прошлое?»

А секретарь райкома партии Глядел по-комсомольски молодо. Нет, в Прошлом не найду на карте я Меня с ним сблизившего города. Земли еще неведомых глубин, Еще неведомых глубин любви.

Ну что же! Рвись вперед. Гори. Люби.

Дерзай. Иначе говоря, живи.

В судьбе людей значительней втройне пласты, что в самой вечной глубине.

Но фразы точный жест подчеркивал, И, в строгой собранности утренней, Вдруг проявились так отчетливо Меридианы связи внутренней.

Как будто возвратился юпоша С другим, давно знакомым именем; Как будто молодость минувшая Проглянула глазами синими.

Дел много у райкома партии. Пора. Ладонь знакомо-жесткая. Короткое рукопожатие— Как эстафета комсомольская.

Вадим Шефнер

ЛИВЕНЬ В ПУСТЫНЕ

Автобус все неторопливей Плывет в журчащей глубине,— Его скребет и моет ливень И пляшет на его спине.

И пыли самотканый полог Лег, складками не шевеля. К пустыне накрепко приколот Иголками из хрусталя.

А в стороне мерцает зыбко Сквозь дождевое серебро Верблюд двугорбый, будто скрипка, Поставленная на ребро.

Борис Шиперович

ВСТРЕЧИ С ЛУГОВСКИМ

Май 1935 года. Дом Печати со всех сторон «осажден» толпой желающих попасть на вечер Владимира Луговского. С трудом пробиваюсь к дверям.

Толпа расступается, давая дорогу поэту. Луговской идет не спеща, высокий, стройный, широкоплечий, в сером костюме, рядом с ним — молодая женщина в светлой широкой шляпе. Я с тоской смотрю на Луговского, и происходит чудо: он останавливается, глядит на меня, улыбается и... протягивает билет.

Мог ли я тогда предположить, что через несколько лет мне посчастливится не только познакомиться с Владимиром Александровичем Луговским, но и часто встречаться?..

- Это что у вас закнига? раздается за моей спиной очень знакомый голос. Я оборачиваюсь. Позади стоит Луговской. Он пришел в издательство «Советский писатель», где я работаю, за сигнальным экземпляром своей новой книги «Дангара».
- Это стихи Поля Верлена в переводах Валерия Брюсова,— отвечаю я,— очень редкая книга.
- Ошибаетесь, сударь! Редкой книгой Верлена я считаю «Мудрость». У меня она есть,— с гордостью говорит Луговской.

— А «Цветы зла» Бодлера в переводе Адриана Ламблэ у вас есть? — спративаю я. Луговской с огорченным видом качает годовой.

Я уже давно знаю, что Луговской интересуется редкими книгами. При первом знакомстве. узнав, что я библиограф и связан с книжным миром, он пригласил меня к себе на Лаврушинский — показать библиотеку.

Собрание его книг было поистине замечательным. Поражала широта иптересов Луговского. Рядом с сотнями поэтических сборников (кроме старых изданий Луговской собирал и современные — очень любил сборники, иллюстрированные Кустодиевым, Добужинским, Конашевичем, оформленные Телингатером) на полках стояли книги по истории, философии, искусству, словари и справочники. Был раздел уникальных изданий. Запомнилась обстановка его кабинета: многочисленные рисунки, фотографии, фигурки — результаты поездок в Среднюю Азию, на Памир. На стенах висели кинжалы, шашки, ружья.

У нас нашлись общие друзья. Среди них такой ценитель и знаток книги, как Апатолий Кузьмич Тарасенков.

В издательстве мне часто приходилось встречаться с Луговским. Он не только выпускал

у нас свои книги, но и много редактировал, рецензировал, работал с молодыми авторами и очень радовался, когда среди многочисленных рукописей удавалось отыскать стихи одаренных поэтов. Луговской участвовал в работе издательского редсовета, часто выступал на его заседаниях, отстаивая свои оценки, добиваясь, чтобы рукописи молодых включались в издательские планы.

Запомнилась встреча с Владимиром Александровичем в июле 1941 года, перед отъездом его на фронт. Внешне он казался бодрым, энергичным, но, разговаривая с ним, я ловил себя на мысли, что он не совсем здоров. Трудно было предположить тогда, что болезнь его обострится и что через некоторое время он окажется из-за этого в больнице, а затем в глубоком тылу.

Призванный вскоре в армию, я был направлен на учебу в Военно-педагогический институт, который был переведен из Калинина в Ташкент. Однажды я был послан по служебным делам в город и случайно встретился с женой А. К. Тарасенкова — Марией Иосифовной Белкиной. От нее я узнал, что в Ташкенте находятся Б. А. Лавренев, Вс. В. Иванов, С. А. Городецкий, А. А. Ахматова. Здесь был и В. А. Луговской. Сразу же я решил к нему зайти.

Одноэтажный дом, в котором жил Луговской, был не очень далеко от нашего института.

Я пришел к нему вечером. Луговской лежал в постели. Увидев меня, он оживился, стал расспрашивать об общих знакомых. Спросил и о том, как я оказался в Ташкенте, да еще в военной форме. Я рассказал ему, что приехал на учебу и сразу же по окончании ее буду направлен на фронт.

- Значит, вы учитесь в Военно-педагогическом? — спросил Владимир Александрович.
 - Да...
- Но ведь я тоже учился когда-то в этом институте! Помните мою «Курсантскую венгерку»? Она написана под впечатлением именно тех лет...

Мы условились встретиться в самое ближайшее время... Однако учеба была такой напряженной, что зайти к Луговскому мне никак не удавалось. Приближался выпуск нашего курса, мы готовились к отправке на фронт.

Однажды меня вызвал начальник института.

— Мне сказали, что до войны вы работали в московском издательстве и связаны с писательским миром. Не могли бы вы организовать для курсантов литературный вечер?

Я, разумеется, согласился.

Получив на следующий день увольнительную записку, я отправился в город и прежде всего зашел к Луговскому.

...Владимир Александрович сидел за столом и что-то писал. На столе лежала рукопись и

много газетных вырезок. На краю стола — стопка книг и сверху книга бывшего премьерминистра Италии Нитти «Европа над бездной». Судя по всему, Луговского интересовали международные события 20—30-х годов.

— Я стал немного подыматься и выходить на улицу,— сказал Луговской.— Почему не навещали? Что-нибудь случилось?

Я объяснил.

- И у меня эти дни были насыщены до предела. Начал работать над новой книгой...
- А что это за книга, если не секрет, Владимир Александрович?
- Книга?..— Луговской на секунду задумался.— Трудно ответить в двух словах. Замысел огромный, огромен и диапазон событий. Все нужно связать, объединить, расставить... Удастся ли мне справиться с этим материалом—трудно сейчас сказать...

Только много лет спустя я узнал, что в ту пору Луговской начал работать над своей знаменитой «Серединой века».

...Литературный вечер открыл начальник института. Затем выступили Б. А. Лавренев, С. А. Городецкий. И вот на сцене Луговской. Огромный зал переполнен. Рядом с курсантами — преподаватели, закаленные в боях командиры и политработники, участники гражданской войны. Луговской пристально всматривается в их лица.

— Сегодня у меня удивительный день,— говорит он.— В тысяча девятьсот девятнадцатом году я учился в вашем институте и тоже был курсантом. Мы занимались тогда по четырнадцать часов в сутки... Так что я выступаю здесь не только как поэт, но и как ваш товарищ...

Курсанты бурно зааплодировали.

— О той поре я уже немало писал,— продолжает Луговской.— Но многое еще не сказано, много еще надо сказать...

А потом он конечно же читал нам «Курсантскую венгерку». Перед нами возникли события тех далеких лет. Но в тот момент нам показалось, что стихи эти — и про нас...

Заветная ляжет дорога На юг и на север — вперед. Тревога, тревога, тревога! Россия курсантов зовет!

Да, все это полностью относилось к каж-дому из нас.

После этого вечера Луговской стал часто бывать в институте и даже согласился вести семинар с будущими работниками армейской печати. Как проходили занятия и сколько они продолжались, не знаю, так как вскоре я уехал в действующую армию.

Степан Щипачев

МГНОВЕНИЯ

Он смог привстать над бренным миром, быть может, раз, быть может, два, хотя всю жизнь томился лирой, ровняя рифмами слова. Поэт забыт. Где похоронен едва ли знает кто о том, и памяти ничьей не тронет его элегий скучный том. Но был тот полдень или вечер, а может, ночь и сад во мгле, и, воском плавясь на подсвечник, свеча мерцала на столе, и пролетали те мгновенья, им уловимые едва, что называют вдохновеньем, и он на лист ронял слова.

«Вчера я растворил темницу Воздушной пленницы моей:

Я рощам возвратил певицу, Я возвратил свободу ей. Она исчезла, утопая В сиянье голубого дня, И так запела, улетая, Как бы молилась за меня» 1. Пусть было то давно когда-то. В туманном веке скрылся след. Но если под стихами дата стихов не старит, жив поэт. Поэзией, увы, не признан, но ей в глаза и он глядел, и пусть судьба его капризна, завидный все ж его удел. Ах, надо ли тужить поэту, что у него, хоть он и сед, еще томов тяжелых нету и шумного признанья нет!

¹ Восьмистишие Ф. А. Туманского.

* * *

Виктору Перцову

Я в жизни о многом жалею, но не пожелал бы другой. Ведь нету, уверен, светлее тех слез, что блеснут над строкой.

В полете за спутником спутник. За днями торопятся дни. Вороны, как серые будни, но дороги мне и они. Планету обшарив по карте, задумчив у фортки стою. Деревья, продутые в марте, апрелю поклон отдают.

От старости некуда деться. Но, вижу, не меркнет строка. Хочу на друзей наглядеться уже не на дни — на века.

* * *

Забыть ли в счастливых моих руках со взносами первыми партбилет и с ямочками на щеках себя девятнадцати лет.

Тот год речами не онемел, не смолк и посвистами свинца, и ветер, что в знаменах тогда шумел , касается и сегодня моего лица. Есть что-то, что помнить легко ль, что жизнью заверено всей. Не память встревожит, а боль, как вспомнишь ушедших друзей.

Твардовский, Хикмет, Смеляков. В груди имена и других. Цветами российских лугов усыпана память о них.

Печали людской не щадя, смерть в избранных целила взгляд. Уж многие на площадях одетые в камень стоят. Все так же со всею страной Фадеев — с утра до утра. Над дерзкой его сединой летят молодые ветра.

И Яшин в родном городке — пускай невысок пьедестал, — явившись туда налегке, над днями, над выогами встал.

Лета и лета впереди. Но сколько бы лет ни прошло, им думами бороздить каменное чело.

Аркадий Штейнберг

Идет купаться портовой рабочий, Расстегивает куртку на ходу. Тем временем вода теплеет к ночи И трубы спорят в городском саду.

Вода стара. Бесчисленные зори Как сгустки крови запеклись на ней, И мутный сбитень, полный инфузорий, Становится с годами солоней. И нет ему ни края, ни предела, И зря маяк моргает вдалеке,— Все стерлось: берег, жилистое тело, Замасленная роба на песке.

Высоко в небо вымахнули сосны, Уходят музыканты на покой, И леденящий отсвет купоросный Играет на поверхности морской.

* * *

В вагоне надымлено. Медная мелочь Привычно сиротствует в брючных карманах, И тени деревьев, как поздние слезы, Бегут по щекам утомленных молочниц. Молчат пассажиры на жестких скамейках, Мужчины мечтают, а женщины дремлют.

Мне каждый мужчина годится в отцы, Годится мне каждая женщина в матери.

За окнами небо чернеет сурово,— И люди, наскучив своей тишиной, Заводят беседу, и каждое слово Могло быть заведомо сказано мной. И небо волнуется справа и слева, Бесшумно плывет за дубравой дубрава, И синее солнце, как спелая слива, В студеное озеро кануть готово.

Я мог бы ребенком гулять в этих рощах И розовых бабочек шапкой ловить. Я мог бы учиться на медные деньги, Я мог бы родиться в семье землемера, В любом городишке, в деревне любой, В том маленьком доме с кирпичной трубой, Что тает как сахар в воде голубой.

Людмила Щипахина

EBA

Веснею прозрачна листва И светел мой дом осиянный. Но голос чудной, окаянный Мне смутные шепчет слова.

Стираю. Обеды варю. Ребенка за шалость ругаю. Но это не я. а другая. А я в преисподней горю.

Наказана. Маюсь в аду. От плоти душа отделилась.

ЯСУНАРИ КАВАБАТА

Поле, пахнущее тмином. Кедр дремучий в два обхвата. Мотылек над бальзамином. ...Ясунари Кавабата.

Как собрал ты воедино Краски спелого заката, Тень от пагоды старинной, Ясунари Кавабата?

Нет у правды середины. Мудрость — горечью чревата. Как снега твои седины, Ясунари Кавабата.

Запах йода и креветок. Мостик, выгнутый горбато. Изумруд вишневых веток. Ясунари Кавабата.

Пруд прозрачный. Свежесть луга. Дамба, грядка и лопата. И я от себя отдалилась. И этим накличу беду.

Дел уйма! Заполненность в днях. Страниц непрочитанный ворох. Но вечер взорвется, как порох. Когда ты возпикнешь в дверях.

Ты, созданный делать добро Не ради похвального слова, Отдавший мне даже ребро Из теплого тела живого...

Молодой побег бамбука. Ясунари Кавабата.

Ходят розовые цапли, Клювы в озеро макают. С желобов стекают капли. В океан ручьи стекают.

Южных ветров дуновенья. Одаряешь нас богато Смыслом каждого мгновенья, Ясунари Кавабата.

Каждый прутик, лист остылый К сердцу хочется приклеить. Красоту России милой Пуще прежнего лелеять.

А над думами пустыми Усмехнуться виновато. ...Почитаю это пмя — Ясунари Кавабата.

Александр Юдахин

В ЗАГРАНПЛАВАНИИ

Французу в Монреале как в Париже: «Бонжур, месье!» А русскому трудней. Чем дальше я от родины, тем ближе Мне родина. Я думаю о ней.

Канадский иней как московский иней, И потому произительней тоска, Семья моя еще неразделимей, Друзья нужней, желаннее Москва.

Хочу домой. Плачу за овертаймы. И вдруг меня: «Я вижу, ви Совьет!» Тепло поздравил с миром во Вьетнаме На улице прохожий человек.

Нина Эскович

ОРЕШНИК

...Стань передо мной, как лист перед травой!

За елкой тормошение, за ягодной травой Конек воображения в попоне ветровой!

Теперь кого разжалоблю, кто в дали уведет? Тесня подкову ржавую, полынь-трава идет.

Из царства тридевятого, где реешь одинок, в Малаховку и Кратово вернись, мой горбунок. Ни посвиста, ни топанья. Смолисто-пряный зной.

Орешник, будто вкопанный, стоит передо мной.

...Ты только гривой поведешь, и солнце не печет. А если дождь, скосишь на дождь, ореховый зрачок.

Конек тенистый, замшевый — блеснули удила,— а ты меня поспрашивай, как я жила-была...

Где ягодку проахала... Но конь мой гордо тих и ждет за это сахара из теплых рук моих.

письмо в РЕДАКЦИЮ «ДНЯ ПОЭЗИИ»

Дорогие товарищи!

Мы пишем вам из города Никольска Вологодской области, из родных мест Александра Яшина. Труженики Вологодчины свято чтут память своего прославленного земляка. Мы, никольчане, стремимся сберечь все, что связано с жизнью и творчеством Яшина. В нашем городе установлен памятник поэту. Школьный музей Александра Яшина в Никольске, дом, где родился и жил Яшин в деревне Блудново, дом поэта на Бобришном Угоре становятся отныне единым мемориальным комплексом при районном краеведческом музее. На Бобришном Угоре и в его окрестностях мы создаем яшинский заповедник с запрещением новых построек и искажения ландшафта на расстоянии 1,5-2 километров. Удивительные по своей красоте места, вдохновенно воспетые Яшиным в его произведениях, останутся неприкосновенными. Решено также считать в районе день памяти Яшина — 11 июля — традиционным Днем поэзии, а день рождения поэта — 27 марта — отмечать ежегодно торжественным вечером. К нам уже приезжали в яшинские дни товарищи Александра Яковлевича — московские писатели. Мы надеемся, что такие поездки тоже станут традицией.

Ждем вас, дорогие товарищи москвичи, в Никольске, на родине Александра Яшина.

В. Чернецкий, первый секретарь Никольского РК КПСС; В. Степанов, председатель райисполкома; А. Кубаев, заведующий РОНО; А. Пшеничников, руководитель районного литобъединения; В. Каплин, сотрудник районной газеты «Авангард».

11 июля 1974 г.

Александр Яшин

(1913 - 1968)

СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКОВ

БЕЛЫЙ СТИХ

Я вновь почувствовал, что я в плену все той же властной, безрассудной силы, воспетой в тысячах поэм, с которой я был знаком не раз в былые дни; которую, по простоте душевной и, верно, по доверчивости к людям я именем красивым называл.

Она кидалась кровью мне в лицо, гнала искать нехоженые тропы и там, наедине, рыдать и петь. И я, измученный и окрыленный ею,

* * *

Я уезжаю. Ты тоскуешь С душой своей наедине, Клянешь погоду городскую И рвешься, тянешься ко мне.

Вернусь — и все идет, как было: Обузу старую несем, Все — пригляделось,

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

За столбами, за трубой железной Черных туч клубящаяся бездна. Стайка птиц вдали едва видна. Непроглядна неба глубина.

Над лугами, нивами, лесами Тишина, как полог, нависает. Ветра нет. Раскрыта настежь дверь. приниженный и обоготворенный, о смерти думал, но и жить хотел.

Теперь, заметив по смятенью сердца приход напасти старой, удрученный, я забиваюсь в угол и молчу. И, как бывало, божеством ее не называю я и не рифмую с «кровью».

1938

Все — постыло, Обоим надоело все.

И я уверился: Милее Скитаться в дальней стороне Затем, что лишь тогда жалеешь И даже плачешь обо мне.

1939

Солнца нет. А где луна теперь?

Смотрим в небо, как в трубу колодца. Вот сейчас все рухнет, оборвется И пойдет греметь, слепить глаза, Миру

мылит голову

гроза!

27 мая 1948 г.

Каждому в жизни что-то дано. Много ли, мало дано на всю жизнь. Это — привычное. Это — свое. Так и твоя любовь: она - как свой дом, как здоровье свое. И ведь в голову не придет, что дом может сгореть. а здоровье — сойти на нет.

1958

В каждом доме свое богатство. И меня господь наградил: То ли плакать мне, то ли хвастать — Семерых детей народил.

Их добру учу, не балую. Но беда, что пошли в отца: Все рифмуют напропалую И строчат стишки без конца.

Ситуацию зная эту, Убеждаю: мол, чтобы жить, Надо прозой писать поэту, Чтоб концы с концами сводить.

Я и сам на эту дорогу Не однажды хотел ступить, Но ведь дети и те не могут Дня без песни-складки прожить.

Не читатели виноваты — Знай сердечней для них пиши,-Что пока у нас маловаты Для поэзии тиражи.

А что трудно время рассудит: Из моих семерых, как знать,

Может быть, и прозаик будет, Чтоб родителей поддержать.

1959

От кустика да к кустику по ягодке, по кисточке в корзинке полно. По рыжику, по груздику ведро насолено. По слову, по присловию, к словцу словцо и вот стихотворение, и книга налицо. Поэма есть и новая почти завершена, и жизнь прошла не попусту,

1962

и смерть мне не страшна.

В НАЧАЛЕ ПУТИ

«День поэзии», как всегда, представляет свои страницы молодым, тем, кто находится в начале поэтического пути, кто преодолел то, что называется «лиха беда — начало». Это не просто дань доброй и старой традиции наших поэтических ежегодников. Молодые — наша смена, будущее нашей литературы, завтрашний день поэзни.

Цифры в литературе — иногда скучная, а пногда грустная вещь. На 1-ой отчетно-выборной конференции московской писательской организации были приведены цифры, которые заставили задуматься многих: из 1700 членов Союза писателей в Москве нет ни одного моложе двадцатипятилетнего

возраста, а от 25 до 35 лет всего 51 человек.

Мы представляем читателям двадцать молодых, которых творческое объединение поэтов Москвы считает своим активом. Не всем из них по восемнадцать, но все они молоды. А у молодости есть не только достоинства. Есть у нее и недостатки. Может быть, главный из них в том, что молодость бывает легкомысленно самонадеянной. Она не знает или не думает о том, что она не вечна, что она проходит и, к сожалению, слишком быстро.

Каждому из молодых поэтов отмерена разная мера таланта, и проникновения в жизнь, и человеческой скромности. Все ли они могут сказать: «Я еще не волшебник, я только учусь»? По все они полны поэтической энергии, как пуля, вылетающая из винтовки, полна энергии кинетической.

Пуля не обязана знать, что в результате вращения у нее начинает кружиться голова и по законам баллистики она уклоняется от намеченного пути, что при стрельбе по движущейся цели ей надо брать упреждение. Об этом должны знать глаз и рука стрелка, направляющие пулю. Об этом должны знать и волшебники, и те. кто еще только учится.

Мы отбирали сгихи без скидки на молодость, стараясь делать это со светловской добротой, со смеляковской требовательностью и строгой любовью.

Евгений Ерхов

ПЕРВЫЙ КОМАНДИР

Мой первый командир весьма покладист был. Глядеть в прицел на мир не мог он. Не любил.

Весь нараспашку сам (другим так и не стал), к сощуренным глазам доверья не питал.

Давно в запас ушел, а все его слыхать: «Не телом, а душой учитесь отдыхать!»

Его наука нам не так легко далась, но в мире по глазам ни с кем не спутать нас. Распахнуты — как степь, и недругам видать: сумеем и успеть, и промаха не дать!

И нет у нас причин держать на мушке мир... Нас правильно учил наш первый командир.

ЖЕНЫ

Мужья приходят с полевых усталыми и потными, и заскорузла пыль на них семью слоями плотными с семи ветров, с семи дорог, со всех других положенных...

А завтра ждут их семь тревог, еще на семь помноженных!

* * *

Меня ревнует служба к музе: ей подавай всего себя! Едва за карандат возьмусь я — идет, фонариком слепя.

И был я
каждый миг ей
предан:
не расточал
красивых слов,
а уходил
за нею следом,
как от безделья,
от стихов.

И снова женам ожидать, и снова им печалиться семь раз обед разогревать и столько же румяниться! Семь раз шитье ронять из рук, семь дел начать отложенных...

А на пороге — семь разлук, на новых семь помноженных.

И силы не берег на тактике: приказ был краток и суров. И шпарил автомат мой дактилем в предполагаемых врагов!..

А после строгое начальство по-братски руку жало мне, и, словно к делу непричастна, стояла муза в стороне.

Анатолий Фураев

Анатолия Фураева война вастала мальчишкой в подмосковной деревне. Он полной мерой хлебнул то, что мы порой называем «военная безотцовщина». Судьба его сложилась круто и невесело.

Несколько лет назад он пришел с первыми стихами в Литконсультацию Союза писателей. С тех пор — подборки стихов в «Москве», «Литературной России», «Московском комсомольце». С тех пор — непрерывное самообразование, наверстывание упущенного в давние трудные годы.

Анатолий Фураев работает истопником. В свободное время удивительно жадно читает, самозабвенно работает над стихом, над словом и непрерывно учится.

Марк Соболь

ОТРОЧЕСТВО (Война)

1. Лебеда

Горький прах — ни овцы, ни овина, От деревни осталась изба. Как в пруду перепревшая тина, Так в тарелке моей — лебеда.

Разрослась лебеда по дорогам На золе и солдатских костях, Только тонкая тропочка — бродом К побережью крутому в крестах.

Залила лебеда все поляны, Захлестнула разливом порог, И косматые лапы тумана Прячут нищенский жребий дорог.

Завтра в городе снова прибудет Погорельцев с родимых полей... Лебеду поедают люди, Лебеда выручает людей.

2. Шинель

Снял и я шинель с солдата На окопном берегу. Озираясь виновато, Закопал бойца в снегу.

Не узнают, не осудят... Перед собственным судом Я казнюсь сегодня, люди, Вечной памятью о нем.

Не дает она покоя, Будет жечь, наверно, век. Как живой идет за мною Этот мертвый человек.

Валентина Творогова

Есть счастье — проснуться однажды, Не помня вчерашней беды. Губами, немыми от жажды, Коснуться поющей воды, Далекую музыку слушать, Горячую землю обнять. Крестьянскую дедову душу Душой повзрослевшей понять. Любовью, граничащей с болью (Откуда? Самой невдомек!), Любить это солнце, и поле, И отчего дома порог. И тихо, одними губами,

Впервые сказать неспроста

Слова, что приходят на память; Отечество. Честь. Чистота. Не просто созвучие — выше! — Отечество, отчество, честь... И чуткое сердце услышит Единство, что было и есть. А перепел кличет кого-то, И таволгой пахнут луга, И летнего дня позолота На теплую землю легла. Пойду по зеленому краю И дудочку срежу с куста — И в музыке снова узнаю: «Отечество, честь, чистота...»

* * *

Сколько смысла в старинных словах! Сколько с ними забыто напрасно. Я скажу тебе: «Свет ты мой ясный!» — Как свечу засвечу в головах. Как я прежде была неправа, Не о том и не так говорила! Только в давнее дверь отворила -Обрела и открыла слова. Что за чудо — и молвить, и речь, И словами одаривать — чудо. Словно музыку, слушаю речь — Ну, откуда такое, откуда? А не в той ли далекой избе. А не с тех ли причетов и сказов Начиналась во мне и в тебе Глубина, что открылась не сразу? Я опять говорю, говорю И невольно добрею, теплею. Не «ругаю», о нет! А «корю». Не «люблю». Еще больше: «жалею»! Я усну у тебя на руке. Наземь падают тени косые. Ходит Муза в крестьянском платке По траве, по росе, по России.

Валерий Исаев

Этот поздний март Сыплет крупный снег. Занимается снова метель. Послезавтра апрель,

Послезавтра апрель,
А стоит зима —
Будто в белом кто стал под дверь.
И лица не видать...
Занавеску сомну,
Ночь разглядывать стану в упор.
На моем дворе, как чужая беда:

— Отоприте... Есть разговор...—

Кинусь в сенцы. Рвану засов. Завнобит огонь на ветру. Только нет никого, И, как стрелки часов, Тени сходятся все в одну. В эту темную ночь Не сомкнуть мне глаз. Без огня изба как тайник. Я в последний раз Подхожу к окну — Кто-то в белом к стеклу приник.

* * *

Первый пар над землей горячей. Запах дыма мокрых костров. Март — как будто глаза незрячие. Тишина сырых облаков. На Алтае снега затаяли. В снег корнями вросли ручьи. В белый пар над черной проталиной Прокричали Весну грачи.

* * *

Смолили лодки.
Гул весенний
Уже на выгоне большом.
Ему навстречу прямо в сени
Малыш рванулся нагишом.
Костры как красные метели
Со злостью били по котлам.

Смола пыхтела еле-еле,
И мы от свежести хмелели,
И все казалось мало нам.
А где-то в небе
Птичья стая
Кричала криком о весне.
Сугроб последний жарко таял,
Прижавшись к розовой сосне.

ПЕРЕД РЫБАЛКОЙ

Ржавые пруды. Рыжие кочки. По воде пауков цепочки. В середину камушком — медовый круг. Берегами травушка — пух. Караси-карасики. Каждый — пуд. Вечером на зорьку проплывут. Каплями тяжелыми в пруд заря — Тут уж не теряй времени зря...

ПЛОТИНА

Река обмелела.
В Отрадном большие дубы пропадают.
Так разобраться — какое мне дело,
Ну и пускай себе...
Но ведь река обмелела,
В Отрадном большие дубы пропадают!
Что б было уехать — и не было б дела..
Остались.
А тут вот река обмелела.
В Отрадном большие дубы пропадают....
И вот теперь в письмах дело без дела —
Опять и опять все: река обмелела,
В Отрадном большие дубы пропадают.
Что ж делать?

ЛЕД

И вдруг срывается река. Глубокие течения. Им подо льдом и в берегах — Одно мучение. Они выходят на луга, Корежа берег. И сокрушает все вода, Во что не верит.

А льдины лезут на рожон, Ломая ребра... Ах, как сегодня хорошо! Мы воду — в ведра... И вот уже лежит разлив. И половодье муть отстаивает. Но ледоход тот еще жив — Он в ведрах льдинками дотаивает.

Татьяна Веселова

* * *

Не гляди свысока — я сама высока! Знаю нравы твои и отравы твои.

...Ты прискачешь ко мне — на прекрасном коне: Все дороги твои — на моей стороне!

Ты — с волны на волну — одолеешь реку: Все причалы твои — на моем берегу!

Золотой бережок — под моим каблучком; Все цветочки твои — на платочке моем!

Так растил-поливал, так лелеял-берег, До сих пор— не упал ни один лепесток!

Олеся Николаева

Олеся Николаева совсем еще молодой поэт — ей восемнадцать лет. Как легко написать такую фразу. И как трудно тому, о ком она сказана, оплачивать поэже так запросто приобретенное звание. Большинству восемнадцатилетних стихотворцев не удается даже взять старт на жестокой дистанции от первого безмятежного прикоснове ния к слову до опасной эрелости мастерства.

Олеся Николаева — восемнадцатилетний поэт. Со всеми признаками этого поэти ческого возраста — непосредственностью, удивлением, жалостью, с влюбленностью в услышанный напев чужой поэтической речи. Это милое и здоровое поэтическое детство, привлекательное и поучительное для многих. И все же это совсем не рядовое на-

Это не просто юношеская потребность выразить себя в стихах, но и способность выразить свои помыслы и состояния. Мне кажется, что в нынешнем «Дне поэзии» уместен этот молодой голос, это звонкое обещание.

Давид Самойлов

ЛЫЖНИЦА

Бог Скорости Так жаждет распылить Железо мышц моих до миллиметра Что мне сейчас так сладко пить Настой снегов и ледяного ветра. Бог Времени Сжимается в комок, В снежинку, Пролетевшую у глаза, А бог Пути Таинственный клубок Разматывает ниточкой соблазна. Я лыжница. И мне одна беда — Вдруг замереть оборванным дыханьем, И вот тогда мне боги, Вот тогда Все боги воздадут по наказанью. Бог Скорости сомкнет меня опять, Все перепутав, Сдвинет в горло сердце, Что там забьется, Будет клокотать И пениться энергией инерций.

Бог Времени Промчится, как олень, Ломаюший кусты, Узорнорогий, Пока я не дождусь свою же тень, Бредущую устало по дороге. А бог Пути, Дождавшийся конца, Мне приоткроет пройденное чудо, И я застыну Как портрет слепца, Не знающего: Yro? Куда? Откуда? Но я очнусь. Звезда взойдет во мгле. Легчайшая, Пойду по снегу, Даже Не ведая. Что мудрость на земле Не в багаже, А в сброшенной поклаже.

ЭКСЦЕНТРИК

Нет, Даже издерганный, гибкий эксцентрик Не вечно танцует на нити. Он сходит на землю. Он стоек. Он в центре Молвы, Любопытства, Событий. Он дома нальет себе теплую ванну, Дрожащее тело помоет, Доверится мылу, и губке, и крапу, Оденется банным покоем. А после, Смиренный, довольный и чистый, Пригубит вино из бутыли. Он риска сотрет приближенные числа Со школьной доски сухожилий.

Назавтра он встанет с глубокой постели В домашних расхлябанных тапках, К окну подойдет, И земные пастели Шепнут ему: То-то и так-то. Он здешний. Он просто давно не бывал здесь. Он чуткий, Как к пламени сера. А все же запутался — Где же тот кладезь, Где прячется вся его вера?

Он истину эту потом распознает Сдиранием собственной кожи И скажет:
Земля словно нить провисает И тоже колеблется, тоже!
Тогда он,
Крыла распластав по-икарьи,
Воскликнет пространству:
Вот весь я!
И где-то
На ровном сухом тротуаре
Он грохнется всем равновесьем.

ВОЛНА УДАЧИ

Прости меня, Печальный человек, За неуместность всех моих чудачеств, Но рада я приготовленью рек К поре купаний и поре рыбачеств. Разочарованный, Прости меня за то, Что вереницы празднеств беззаботных, Распахнутость всех окон и пальто Я все еще люблю, люблю бессчетно. Неверящий, Обиды не таи, Прости И не суди за то сурово, Что истины избитые твои В своем открытье я принять готова. О неудачник, Коли начала Я твоего страданья быть причиной, Прости, Что я упорностью чела Не обнаружу все, Что получила От бога. О прости меня, больной, Прости, убогий, И прости, калечный, За то, что я кляну румянец мой, Высокий рост, Неженственные плечи.

О неудачница в любви, Поставь в укор, И все ж прости, И не гляди так строго За то, что прячет мой бесстрастный взор Умышленность монашьего зарока, За то, что в непрактичности своей Я так везуча и неуязвима, Прости за то, Что в выборе друзей Я счастлива, Ведомая незримым. Прости за то, Что я люблю свой дом, Родителей, друзей, зверье и брата И что сейчас прошу прощенья в том, В чем пред тобой совсем не виновата. Но, неудачник! Уж натянут лук, Чтоб снова испытать судьбу на прочность, Натянут лук, И может быть, я вдруг Вся в пух и прах и пепел обанкрочусь. И черт со мной! Но, может быть, волна, Что вынесет меня,-Тебя подхватит, И понесет, И все воздаст сполна, И — дай-то бог! — Тебе на время хватит.

Юрий Никонычев

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД

...И всем прогнозам вопреки, Магнезией ладони смазав, Он выбросил на две руки «140» — не моргнувши глазом.

И так стоял во весь свой рост Перед притихшим пестрым залом, Топча отчаянно помост, С прогнувшимся в руках металлом.

Из зала крикнули: «Замри!» И, тяжко выдохнув, от злости Он до сигнала рефери Не пошатнулся на помосте...

Он улыбнется всем потом На крики: «Молодчина, Санька!» Команду увенчав очком, А не классической «баранкой».

Он, перед тренером смутясь, Обидного не вспомнит слова. На похвалу его, смеясь, Ответит: «Ничего такого...»

А к ночи заболит спина. И доктор выскажется наспех: «Покой, режим, и тишина, И никаких таких гимнастик».

«Ну что ж, прощай, Прощай, мой спорт, Прости, что был я неудачник...» И мальчик помнит свой рекорд. И за других болеет мальчик.

Михаил Яшин

ДОРОГА НАЗАД

Omuy

Возвращаюсь к тебе Через долгое поле. Улеглись в голове Все тревоги и боли.

Стала рожь голубой, Голубой, Васильковой... Наше время с тобой Начинается снова.

Мне казалось, что ты Ждешь меня не дождешься. Среди всей суеты Ты — как прежде — Смеешься!

Как тревожен закат... Все мне было понятно; Есть дорога назад, Нет дороги обратно.

Борис Бобылев

СПАСИБО ДОППЛЕРУ... 1

А мне доказывать не надо — Я убедиться сам хочу, Что галактическое стадо В пространстве мчится По лучу.

Спасибо Допплеру! Но разве Роднее мы, Когда близки? ...А может быть, Земля — оазис, А вся Вселенная —

пески.

YTPO

Еще туман дымит лениво, Кружа над сонною водой. Роняет звонко капли ива С листвы, Зеленой и седой.

У шалаша белеет пепел Давно остывшего костра. Но вот боднул Заречный ветер Дремоту раннего утра.

Вот солнце Бьет в поля и чащу Под пенье дальнего гудка И в ту локаторную чашу, И в эту — синего цветка.

Я знаю: всякое бывает, Но не пойму, Как на беду, Тебя ли звезды повторяют, Иль повторяешь ты звезду?

Признаюсь, Это так не просто: Они и ты — в моей судьбе.

С тобой я— в помыслах о звездах. А с ними— В думах о гебе.

Ученые, опираясь на «эффект Допплера», доказали, что галактики «разбегаются» во Вселенной с огромной скоростью. (Авт.)

Людмила Окназова

ВДОВА

Известно, как случилось это, Когда, не плача ни о чем, Он вышел из дому с рассветом, Планету вскинув на плечо.

Теперь стоит — глазами в солнце, Одетый в светло-серый туф. Стоит солдат, не шелохнется, К восходу руку протянув.

То дождь над ним развесит глянец, То полоснет его гроза, То солнце весело заглянет В его бессмертные глаза...

А ей как быть теперь с любовью, Коль и посмертный нужен ты?.. И вот пошла дорогой вдовьей И понесла с собой цветы.

И ей как дома возле камня... Вот так бы вольно и легко Стоять под ним, стоять, как знамя, У изголовия веков.

Она глядит, вздохнуть не смея, Концы платка сведя рукой, И шаль спадает, каменея, Оледеневшею рекой.

* * *

Чем пахнет поезд проходящий?.. Звездой, нырнувшей под откос, Мятущейся под ветром чащей, Мазутом трудовых колес;

Транзитным солнцем, пыльным ветром, Покоем вспаханной земли, Тревогой гулких километров И эхом, скачущим вдали;

Теплом уже примятой книги, Бессонным шепотом двоих И световым внезапным сдвигом На перегонах путевых;

Кружением чужого парка С плывущим светом бересты, Клочками тающего пара, Что оседает на кусты;

Огнями непонятных станций, Днем, раскаленным добела, Дождем, срывающимся с глянца Назад летящего крыла;

Полыни злым очарованьем, Что только сняли косари, Земли необщим очертаньем В холодном золоте зари;

Сиротством временной постели, Уютом душного купе И — волей, горькой, беспредельной В скрипучей, ломкой скорлупе.

ЛЕС

(Песенка без конца)

Родился лес, Умылся лес, Встряхнулся, Улыбнулся лес. Поющий лес И — пьющий лес, Не волчий лес, Но — отчий лес.

Срубили лес.
Свалили лес.
Спалили лес.
А он — воскрес.
Сквозь молний блеск,
Сквозь бури плеск,
Как волнорез —
Наперерез!

Звучащий лес. Молчащий лес. Шумящий лес. Щадящий лес.

Простил им лес. Впустил их лес.

Вместил их лес. Взрастил их лес.

Срубили лес. Свалили лес. Сгубили лес... А он — воскрес.

Стать — высока, Под облака! Над ним — века. Под ним — река. Зовущий лес И — ждущий лес, Не волчий лес, Но — отчий лес...

Срубили лес. Сгубили лес. Забыли лес... А он — воскрес.

Родился лес. Умылся лес. Встряхнулся, Улыбнулся лес.

Юрий Дудин

УЧИТЕЛЮ

Весь год
Подвержен был сомненьям
И, просыпаясь поутру,
Не знал,
Что делать
Со смятеньем:
К добру оно
Иль не к добру?

Не потому, Что сомневался Тогда В надежности основ, А просто в руки Не давался Смысл потаенный Ваших слов. И, штору Резко отодвинув, Я отходил к столу И там В раздумье долгом Горбил спину, Вверяясь Бережным листам.

И, постепенно проникаясь Их чувством, Ясным и простым, Я жил, Еще ни в чем не каясь, Словами вашими Храним.

Зоя Межирова

Главный стих всегда звучит Где-то в глубине. Для других людей молчит. Слышен только мне.

Все, что написать смогу,— Только слабый след, Только желтый на снегу От окошка свет.

Ну нет, так нет,— не надо,— Не привыкать,— пойдем Следить, как вешним градом Крадется первый гром.

Им напоенный воздух Встревожен и упруг. Еще ничто не поздно — Все говорит вокруг.

В пронзительном полете Летящих в бездну птиц И в их победной ноте, В взволнованности лиц.

Во всех весны твореньях, Во всех ее правах Звучит стихотворенье— Не выразить в словах.

Лидия Северцева

В солнечной ветке запутался черный,

горячий шмель и забился, как сердце, испуганно листья летели; точно эхо зеленое, сад зашентал, зашумел, и понадали яблоки, красные, переспелые,—тихо август уходит, носмотрит издалека; вот теперь-то похоже, что мир — это улей просторный... Съем антоновку крупную и посажу ее зерна,—если яблоня вырастет — легкая, значит, рука.

Сергей Крыжановский

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Отчего, обжигая горло, Разбираю часами подряд Сочетания «оло» и «оро» — Вран и ворон,

молод и млад? «Чловек некий име два сына...» Я прислушиваюсь к словам. Открывается в них

Россия.

Легендарная быль славян.
Сеча лютая.
Доля тяжкая.
И в открытую, не тайком
Песни горькие да протяжные
Заплетали девки венком.
Поднимались из пепла вотчины,
Пахарь зерна бросал с руки.
По утрам меж хлебами сочными
Открывали глаза васильки.
Сто-ро-на.
Го-ло-са.
До-ро-га.
Я усвоил твердо азы:
С давних лет

открытостью слога

Знаменит

славянский язык.

Александр Росляков

Затем и стоило родиться и строчкой мучиться в стихах, чтоб мог журавль далекий сниться, а не синица, что в руках.

Синица — хороша, не спорю. Жизнь не скупится на синиц. Но вот уже синичье море трепещется среди страниц!

Синица — хороша, конечно, она — доступность и покой...

Но разве может быть конечной мечта? — Схвати ее рукой!

Нет, в небе есть другая птица, и клич ее мечте под стать, быть может, потому и снится, что не легко ее достать.

Так что же — все долой старанья, оставить чистыми холсты? — Нет! Не смиряй свои дерзанья, чем больше их — богаче ты.

Сергей Мнацаканян

ПИСЬМА ОТ ЛЮБИМОЙ

Ты пишешь: «Здравствуй, милый»,
ты мне пишешь: «Как здоровье?»
Ты мне пишешь: «Понимаешь, я тоскую и люблю...»
И смыкается пространство, полнясь горькою любовью и ко мне и к этим соснам и к седому февралю.

Сколько нежности и боли в этих письмах издалека,— мне не нравятся глаголы «разлучаться», «тосковать»,— а над миром вьется сумрак, черно-белый, как сорока, и скрипят мои ботинки, что мороз под сорок пять...

И похрустывают письма — перечитываю снова (только где же — непонятно — наяву или во сне?), лишь свободная минута, — вот они, за словом слово — письма добрые, которых ты давно не пишешь мне.

Виктор Гофман

* * *

Этот дом с галереею хрупкой под январским стоянием звезд много раз, как на жизни зарубки, отмечал мой замедленный рост.

Я рукою отбрасывал ветки, задыхаясь, взбегал на крыльцо... Потому ли у каждой беседки мне мерещится чье-то лицо.

Потому ли, лишь гляну на хмурый, на заваленный снегом откос, вижу чью-то худую фигуру среди брошенных богом берез...

Все проходит, а он остается, вдалеке от людской суеты: замерзает зимою болотце, распускаются летом цветы.

Я теперь понимаю условность отзвучавших шагов и имен и суровую немногословность этих окон, дверей и колонн.

Может быть, мне еще уготован этот дом для последнего дня, но похожа на миф прожитого уходящая в чащу лыжня.

Ольга Чугай

3AKAT

Какой закат! Смотри! Не насмотрелся? И вдруг огромный город загорелся? Сначала вспыхнул крайний слева дом, Потом деревья, лестницы, потом Витрины, тротуары, облака, И мост, и чайка, и Москва-река, И ты... и я...
Так вот оно! — Смотри!
Гори, любимый, я шепчу — гори!
Пока пылает город и закат.
Секунды драгоценные горят.

Владимир Топоров

22 ИЮНЯ

В городах и окраинных селах Разве можно себя превозмочь И уснуть без предчувствий тяжелых В эту слишком короткую ночь!

Боль бессрочная в души запала, Как в молчание братских могил. В эту ночь и отец мой, бывало, У окна молчаливо курил...

Может быть,

с металлическим стоном В этот миг в зарубежном краю Бомбовозы с ночного бетона В небо

смерть поднимают мою!

Циферблаты мерцают нечетко. И покоя часы — сочтены. И крадется подводная лодка На исходную точку войны...

Тишина. Ни движенья, ни звука. Только сердцем и можно понять — Будет ночь эта в детях, во внуках По наследству тревожной опять.

Только сердцем понять, что недаром Вдалеке от цветочных куртин Пенья птиц не уловят радары И в готовности номер один!

Виктор Тайдаков

$TPEBO\Gamma A$

Солдаты приумолкли в тишине, Солдатам говорили о войне. Об этом страшном и далеком сне. Всю правду говорили о войне. Но вот тревога тишину вспугнет: «Солдат, не мешкай! По местам!

Вперед!» Трудна ли ноша? Далека ль дорога? Солдат не знает. Знает лишь — тревога!

... Четвертый день учения идут. Четвертый день нас обучают тут Наукам долга, мужества, отваги Отцы,

леса седые и овраги.
О, вы простите, книжные баллады.
Вас на досуге все не перечтешь.
А здесь щекой притронешься к прикладу — И сразу всю ответственность поймешь.

Сергей Орлов

СЛОВО О БРЮСОВЕ

Пятьдесят лет тому назад в Москве, в морозный декабрьский вечер, в ярко освещенном и переполненном людьми зале праздновали пятидесятилетие поэта Валерия Яковлевича Брюсова. Председательствовал на юбилейном вечере Анатолий Васильевич Луначарский. Москва думала о поэзии Брюсова, говорила о Брюсове, о его творческом и гражданском пути. Сам Брюсов в конце вечера читал стихи.

Вот что рассказывает об этом выступлении поэта Луначарский:

«Четким, хотя глуховатым голосом, слегка картавя, стараясь говорить как можно громче, он прочел свой ответ на пушкинскую тему «Медный всадник» и свой гимн новой Москве. В ритме этих стихотворений, в каждом обороте и образе, в этом бледном лице с загоревшимися глазами, со вспутанным вспотевшим чубом надо лбом, было столько энтузиастической веры в новую грозную плодотворную силу, что зал разразился громкими аплодисментами, и все почувствовали, как потускнели остальные моменты юбилейного чествования».

Время, как известно, самый строгий и справедливый судья явлений и событий. Поэзия Брюсова встретилась с временем лицом к лицу. Она шла с ним вместе в наш день через бурю, тишину, грозу, солнце.

Путь ее не был легким, простым и кратким. Давайте оглянемся на него.

Выдающийся русский поэт двадцатого века, человек огромной эрудиции и знаний, решительно принявший Октябрьскую революцию, один из первых писателей, вступивших в ряды Коммунистической партии, Валерий Яковлевич Брюсов много сделал для строительства нашей социалистической культуры, как поэт и как гражданин.

Сегодня мы отмечаем сто лет со дня рождения Валерия Брюсова. Они включают в себя три четверти времени нашего двадцатого века.

С нами большое литературное наследие Валерия Брюсова. Это стихи, поэмы, драмы, исторические романы, переводы поэтов античного мира, переводы с французского, немецкого, итальянского, латышского, его работа по переводу поэзии Армении с древнейших времен до современности, его статьи по теории литературы, литературоведческие и критические работы, его деятельность историка литературы. Он во многом определил литературную атмосферу той далекой поры, а также опередил ее как подлинный новатор в русской поэзии, став нашим современником. С нами вместе живет, работает, прозревает будущее поэзии Валерия Брюсова — часть нашей социалистической культуры, унаследовавшей все лучшее и передовое мировой культуры.

Поэзия Брюсова удивительно полифонична и разнообразна по формам. Поверяя «алгеброй гармонию», он находит метры и интонации для выражения соответствующего состояния души, содержания мысли и конструкции мира окружающего, такие, чтобы они совпадали в своем слиянии наиболее полно.

Знания многих форм поэзии разных народов земли помогали ему в этих поисках и обогащали его стих, хотя ближе всего и родней для него была русская поэзия великих поэтов девятнадцатого века, недаром он однажды, возвращаясь из путешествия по Европе, обратился не к природе, не к пейзажу, скажем к березке, а к русской книге;

Первая русская книга после далеких скитаний. Стих дорогого поэта — и думы дрожат от рыданий...

Он любил книгу. Книга была для него, наряду с окружающим миром, источником рождения мысли и вдохновения так же, как и сама жизнь.

Своим трудом мастера и работами по теории русского стиха он много сделал для движения и развития его в будущем. Блок, Маяковский

и Есенин считались с его открытиями и учились у него.

Она прошла и опьянила Томящим сумраком духов...

Разве вы не чувствуете в этих строках Брюсова облик и интонацию знаменитой блоковской Незнакомки, написанной спустя два года, в 1906 году?

Дыша духами и туманами, Она садится у окна...

Утяжеленные ритмы, свободная метрика, урбанистический пафос в отборе образов в стихах, посвященных городу, у Брюсова, разве не подсказывают вам приход раннего Маяковского? А Сергей Есенин прямо говорил: «Все мы учились у него». Разумеется, творческое обогащение было взаимным, и Брюсов вслед за Блоком, написавшим «Рожденные в года глухие», имел право сказать в той же интонации: «Я вырастал в глухое время».

Стих Брюсова емкий, точный, не терпящий недомолвок, недосказанности и никакой расплывчатости, порой несколько тяжеловатый по языку, несущему на себе печать своего времени, но чаще всего кованый, трубный или стремительный, чистый, как бы летящий сквозь время, звучит в наши дни в современной русской советской поэзии, потому что истинно современной поэзией является все лучшее и передовое в ней.

Время показало, как дорога и близка нам поэзия Валерия Брюсова, и нынешний праздничный день поэта Валерия Брюсова — лишь одно из свидетельств того.

Из петербургских декадентских туманов конца девятнадцатого и начала двадцатого века, из фосфоресцирующей мглы поэтических школ и направлений той поры ушли в большую русскую поэзию, став каждый в отдельности явлением в литературе, Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Валерий Брюсов

Русский акмеизм, футуризм, имажинизм, символизм остались в памяти века только программами и манифестами, а имена тех, кто собирался, по их собственным громким заверениям, стать будущим нашей поэзии, утвердив торжество своих школ над реализмом, ныне знают и помнят только историки литературы: эти имена стерлись, потерялись бесследно, за исключением тех, кто благодаря подлинному дарованию и мировоззренческой зрелости вышел за узкие рамки этих школ.

Валерий Брюсов именовался критикой вождем русского символизма, хотя сам он, в автобиографии, написанной в 1913 году, писал о русских символистах: «То были люди, более или менее случайно попытавшие свои силы в поэзии, и многие из них вскоре просто бросили писать

стихи. Таким образом, я оказался вождем без войска».

«Юноша бледный со взором горящим» — каким представлялся юному Брюсову в конце девятнадцатого века образ грядущего поэта, в новом, двадцатом веке на деле оказался совсем иным, абсолютно противоположным всем трем параметрам тех знаменитых в свое время трех заветов, которые пригодились, пожалуй, как ложь во спасение лишь поэтическим импотентам.

Юноша бледный со взором горящим, Ныне даю я тебе три завета. Первый прими: не живи настоящим, Только грядущее — область поэта.

Сам же Брюсов в девятисотых годах, как бы опровергая свой первый завет — «не живи настоящим», решительно ввел в поэзию грохот огромных городов с промышленным прогрессом современности, с гулом работы, с радостями и бедами человеческих толп, чувствуя и ясно осознавая в этом весьма реальном настоящем неумолимую поступь грядущего.

Второй завет — «никому не сочувствуй» — в поэзии Брюсова обернулся высоким гуманизмом ко всему человечеству, сочувствием к униженным и оскорбленным, от далекого раба древности до тогдашней погибающей от изнурительного труда работницы.

Третий завет -

...поклоняйся искусству, Только ему, безраздумно, бесцельно,—

также не требует особых опровержений, потому что, читая Брюсова, трудно представить еще другого поэта в русской поэзии, так вдумчиво и целенаправленно влюбленного в историю человечества и так ее знающего от времен античности до острейших социальных проблем современности, волновавших его.

В том, что поэзия Брюсова стала иной, нет парадокса. Сильная творческая личность, опирающаяся на большие знания, не могла пойти по бесплодному пути и потеряться в этом яростном мире. Прекрасно образованный, верящий в здравые силы прогресса и цивилизации, в человеческий разум, он хорошо разбирался в новейших научных теориях и знал о новых возникающих гипотезах, изобретениях и открытиях. Он много путешествовал по Европе, его собеседниками и друзьями в ней были такие люди, как Верхарн, в путешествиях во времени — Спиноза, Лейбниц, Гёте, Кант, Дарвин, Пушкин, Тютчев, Некрасов, Лермонтов.

Магнитные поля социальных сил и идей промышленного века, глобальные события, потрясшие начало его,— русско-японская война, революция 1905 года и поражение ее,— могли бы сломить более слабую творческую душу, но волю Брюсова они закалили и вооружили к действию, к неутомимому труду, мечта была поставлена им в упряжку времени, он не давал ей возможности расслабляться и отстать гденибудь в пути.

Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой! Я близ тебя, мой кнут тяжел, Я сам тружусь, и ты работай!

Вера в творческий труд и разум человека являются основой мировоззрения поэзии Брюсова. Какие бы противоречивые взгляды он ни выражал в отдельных стихотворениях, стремясь познать мир на полюсах современности от «господа до дьявола», в главном измерении, историческом, «от дикаря с оружьем из кремня до гордых храмов, дремлющих меж лавров», поэт исповедует эту веру, опирающуюся на знание пути человеческого по точным картам цивилизаций, эпох, стран и континентов, которые он сам снял с местностей.

Недаром он воссоздает в скульптурной реальности образы властителей древних царств, героев античности, древнего раба и не менее древнего халдейского пастуха, безвестную помпеянку и царицу Клеопатру, Ярославну и Марию Стюарт, завоевателя Наполеона и борца за свободу — Гарибальди, рязанского князя Ивана и старого викинга, плывущего к берегам Америки задолго до Колумба, современную фабричную работницу, каменщика, ученых, философов и воинов.

С автоэпитафии вещает ассирийский царь Ассаргадон, как бы диктуя писцам беспрекословные слова грозных указов, за которыми следовало немедленное беспощадное действие:

Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон. Владыки и вожди, вам говорю я: горе. Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.

За безвестного раба, который возводил пирамиды, голос которого не услышан никем, говорит сама пирамида, построенная им в тяжком труде, как бы вопя безгласно:

Я раб царя, и жребий мой безвестен: Как тень зари, исчезну без следа. Меня с земли судьба сотрет, как плесень: Но след не минет скорбного труда, И простоит, близ озера Мерида, Века веков святая пирамида.

И только о женщине, вновь и вновь воскрешая ее из тьмы веков, зажигая воображение поэтов, говорит: «сильна как смерть» любовь. И женщина эта — Клеопатра:

А: я бессмертна прелестью и страстью, Вся жизнь моя— в веках звенящий стих. В разноголосом шуме сбившихся с марша походных колонн, в скрипе колесниц над пыльными дорогами, гневается на своих усталых воинов Александр Македонский.

История оживает под пером, далекие страны становятся близкими, времена минувшие подступают и ломятся в сегодняшний день. В исторических личностях поэт видит наиболее концентрированное выражение событий, которые влияли на движение времени.

Во многом для него эти «любимцы веков» персонифицированные идеи страстей человеческих, символы Власти, Ненависти, Любви, Злобы, Богатства, Гордости, Славы, Свободы, в социальном свете тех лет, в которые вступала Россия, становясь из феодальной — капиталистической промышленной державой. Современность предстает в стихах поэта в образах разрастающегося города, личность теряется в нем в потоках толп, как в реках, и становится лишь «капелькой на дне в их каменистых ложах», личности нет, есть человеческий мальстрем, вращающий зубчатые колеса прогресса — мельницы, перемалывающей в пыль души тысяч и тысяч. Ненависть, Власть, Злоба, Гордость, Нужда, потерявшие лицо, становятся в этих потоках еще более бесчеловечными, и поэт, предчувствуя во всем этом социальные сдвиги и катастрофы, говорит городу;

Ты гнешь рабов угрюмых спины, Чтоб, исступленны и легки, Ротационные машины Ковали острые клинки. Коварный змей с волшебным взглядом, В порыве ярости слепой Ты нож с своим смертельным ядом Сам подымаешь над собой.

Вместе с тем поэт любит и приветствует город, восхищается его пейзажами, начертанными рукой человека и созданными из камня, стекла и стали.

И я к тебе пришел, о город многоликий. К просторам площадей, в открытые дворцы. Я полюбил твой шум, все уличные крики: Напев газетчиков, бичи и бубенцы.

Всем известно, как дороги картины окружавшего нас в детстве. Они навсегда остаются в памяти, с ними невозможно расстаться, их нельзя зачеркнуть, они зовут, манят и многое говорят сердцу.

В большом стихотворении «Мир» поэт вводит нас в круг своего детства: живописно, графически четко воспроизведены, до мельчайших подробностей, вплоть до звуков и запахов картины старой купеческой кондовой Москвы. Но во второй части стихотворения на месте памяти детства распахнута новая Москва, возникшая из стекла и стали. На эмоциональной прямой, как на стальной колее дороги два встреч-

ных поезда, сталкиваются в стихах два мира. И таковы убеждения Валерия Брюсова, отвергающего мир ушедший и приветствующего новый мир, что

Нет даже и во мне тогдашнего былого, Напрасно я в душе ищу желанный след... В душе все новое, как в городе торговли, И мысли, и мечты, и чаянья, и страх. Я мальчиком мечтал о будущих годах: И вот они пришли...

В наступлении города поэт видит наступление прогресса на отсталую Россию, в городе предощущается им новая неведомая социальная сила.

Глядят несытые ряды Фабричных окон в темный холод, Не тихнет резкий стон руды, Ему в ответ хохочет молот. И спину яростно клоня, Скрывают бешенство проклятий Среди железа и огня Давно испытанные рати.

После Октябрьской революции, освободившей скованные силы давно испытанной рати пролетариата, Брюсов, вдумываясь в социальные преобразования и необходимость их на огромных просторах Советской России, написал в 1920 году стихи, в которых предсказывает приход промышленного прогресса и на сельские поля в деревню; наука и техника, по его словам, непременно изменят «весь этот старый немного грубый тупой уклад». Решительно и категорично предсказывает поэт деревне новую судьбу и прощается со старой.

В стихотворении он рисует черты новой деревни, в которой «послушны чутко людским умам в размерном гуле стучат машины», ему видятся новые люди на просторах полей:

...Те, кто могучи, Кто плыть по воле заставят тучи, Кто чрево пашни рождать принудят...

И может быть, самое интересное для нас в этом стихотворении то, что поэт предвидит новые, коллективные формы труда.

Труд всенародный, труд хороводный, Работный праздник души свободной.

Брюсов в поэзии, соединяющей научные взгляды и прогнозы с образным метафорическим мышлением,— явление особое на обозримом поэтическом горизонте русской словесности, и все же в ней есть у него предшественник. Это — гениальный Ломоносов. Прямого влияния как поэт он не оказал на Брюсова, их разделяют столетия, но оба они в неукротимой жажде знаний, каждый по-своему, создавали то, что в литературно-критических работах, вслед за французами, Брюсов, может быть неточно, именовал «научной поэзией».

Ломоносов, смело раскрывавший природу вещей, впервые зримо сблизил науку и поэзию, и это стало поэзией передовой современной мысли. Таковой является во многом и поэзия Брюсова.

Пушкинское определение, что поэт должен «в просвещении стать с веком наравне», весьма подходит для поэтической практики Валерия Брюсова. В ней он убедительно утверждал свои воззрения на проблему науки и поэзии, являющуюся не чем иным, как развернутым вышеприведенным пушкинским заветом, и нам следует помнить слова Брюсова: «Писатель, который хочет в своих стихах осмысливать современность, должен стоять на уровне современного знания и обладать сознательным миросозерцанием».

Нам, живущим в мире науки и техники, когда в короткий срок даже космические полеты различных систем ракет с людьми и научной аппаратурой стали почти бытом идущих дней, когда массовые средства информации вовлекают нас в обсуждение любых популярных гипотез, высказанных учеными, нам ныне легко проверить и принять те смелые поэтические прозрения Валерия Брюсова, которые он записывал чеканными ямбами, пожалуй, еще при свете керосиновой лампы, но большинство его современников принимали эти стихи Брюсова в лучшем случае как абстрактный полет фантазии, беспочвенный, ничего не говорящий ни уму, ни сердцу космизм, холодные труды рационалистичного ума.

Много ныне написано статей и даже ведутся поиски исчезнувшей мифической Атлантиды. Эти статьи об Атлантиде содержат взгляды на нее, удивительно сходные с брюсовскими в его большом стихотворении «Город Вод».

Вместе с Туром Хейердалом, глядя на статуи острова Пасхи, современный человек задает те же вопросы, с которыми обращался к ним Валерий Брюсов в стихотворении «На острове Пасхи» еще в 1895 году.

И много тревожит вопросов: Кто создал семью великанов? Кто высек людей из утесов, Поставил их стражей туманов?

И уж не знаю как — считать ли научной гипотезой или же просто фантазией мысль, которую, как только учеными был открыт электрон, Брюсов сформулировал в блистательных стихах, звучащих кристально чисто и четко, совершенно по-современному, как будто они написаны сегодня:

Быть может, эти электроны — Миры, где пять материков, Искусства, знанья, войны, троны И память сорока веков! Еще, быть может, каждый атом — Вселенная, где сто-планет:

Там все, что здесь в объеме сжатом, Но также то, чего здесь нет.

Их меры малы, но все та же
Их бесконечность, как и здесь:
Там скорбь и страсть, как здесь, и даже
Там та же мировая спесь.

Разумеется, это философские стихи о бесконечности мира и относительности, но они звучат ныне актуально и политически. Ведь, в сущности, это взгляд не на электрон, а на землю с космической высоты.

Вряд ли кто относился к стихам Брюсова из цикла «Сын земли» как к научным предвиденьям тогда, когда они были написаны, да и только ли тогда. Но, по удивительному стечению обстоятельств, рядом с Москвой, в Калуге, в то же время безвестный учитель гимназии Константин Циолковский уже исчислял математические формулы, по которым через полвека будут строиться двигатели для ракетного космического корабля Юрия Гагарина.

От соломенных и деревянных крыш тогдашней России разум великого ученого влекла к звездам та же страсть, что водила пером поэта.

И теперь уж никто никакой фантазией не посчитает предположение, что однажды ктото из космонавтов обратится к стихам Брюсова из цикла, написанного в 1912 году, обратится при соответствующих обстоятельствах, по душевной необходимости. Строгие, чеканные строки, выкованные из лучшей меди русского языка, в которой звенит торжество и тоска;

Как отчий дом, как старый горец горы, Люблю я землю: тень ее лесов, И моря ропоты, и звезд узоры, И странные строенья облаков. К зеленым далям с детства взор приучен, С единственной луной сжилась мечта, Давно для слуха грохот грома звучен, И глаз усталый нежит темпота. В безвестном мире, на иной планете, Под сенью скал, под лаской алых лун, С тоской любовной вспомню светы эти И ровный рокот океанских струн. Я брат зверью, и ястребам, и рыбам, Мне внятен рост весной встающих трав, Молюсь земле, к ее священным глыбам Устами неистомными припав!

Поэзия, обогащенная мыслью, как металл редкими ценными сплавами, не ржавеет. Во времени ее значимость не пропадает, в особенности в тех случаях, когда ей приданы простые целесообразные формы, остающиеся современными независимо от веяний искусственных литературных ветров. К такой поэзии будет приходить все новый и новый читатель, и приходить надолго, ибо она рассчитана не на мгновенную широкую популярность, ее удел более

высок и прочен, я бы назвал его признанием. А оно состоит не только из одного направления от поэта к читателю. Для признания необходим и встречный путь — от читателя к поэту, путь, на котором читатель должен обогащаться знаниями и уменьем чувствовать прекрасное, чтобы по достоинству и во всей полноте оценить обретенное.

В связи со сказанным мне хочется обратить внимание еще на один образ из брюсовской поэзии, утверждающей торжество человечес-

кого разума в мире.

Эти стихи широко известны, идея их ясна и понятна. Называются они «Хвала человеку». Но первая строка, обращенная к человеку в этих стихах, обжигает провидческой новизной, свежестью образа, особенно нас, потому что наше время наполнило его конкретным содержанием. Открывая стихи, Брюсов называет человека — Молодым моряком вселенной.

Молодой моряк вселенной, Мира древний дровосек, Неуклонный, неизменный, Будь прославлен, Человек.

Труд в гражданской лирике Брюсова предстает в двух аспектах. Поэт славит труд творческий во имя торжества светлого грядущего, в нем он находит счастье и призывает всех отдаться творческому созидательному труду безраздельно.

Великая радость — работа, В полях, за станком, за столом! Работай до жаркого пота, Работай без лишнего счета, Все счастье земли — за трудом!

Но в условиях капиталистического общества, извращающего смысл труда, поэт чаще всего встречает картины труда подневольного, изнуряющего силы человека, а главное, сковывающего дух человека и его мысли.

Так в широкоизвестном стихотворении «Каменщик» ярко раскрывается трагический характер и смысл человеческого труда при капитализме.

В гражданской лирике Брюсова родина, Россия предстает не только в электрических светах и черных дымах городов, которые, впрочем, мало чем отличаются от других промышленных городов мира. Он вглядывается в исторические просторы прошлого, от далеких былинных дней пахаря Микулы Селяниновича, который в своем величественном труде первый распахал неоглядные поля России и бросил в пашню зерна для своих потомков. Это прошлое бессмертно, оно стало корнями настоящего, движением ветра в нем, тенью и светом дня.

А древние пращуры зорко Следят за работой сынов, Ветлой наклоняясь с пригорка, Туманом вставая с лугов.

В прямых публицистических стихах: «Родной язык», «Певцу слова», «Освобожденная Россия», «К русской революции», «Я междумирок. Равен первым», и снова «Россия», и в стихах о Ленине, и многих других стихах историческая роль России в судьбах Европы и мира, роль великого народа, «чье имя не будет забыто, чья речь и поныне поет созвучно с напевом санскрита», воспевается Валерием Брюсовым.

Все мы знаем и помним историю. Поражения и победы народа, запечатленные в стихах Брюсова,— нашествие кочевников Чингисхана и трехвековое иго, как цена за спасение Европы от копыт его конницы, державный взлет отечества во времена Петра Великого, как выход на мировую сцену из «глухих глубин позора»,—все это известно каждому грамотному человеку по учебникам.

Но история в поэзии — это не просто летопись событий и фактов, имевших место быть. И даже дело не в том, что поэзия рассматривает прошлое с позиций современности и как бы освещает саму современность особым глубинным светом. Поэзия, воссоздавая историю в живых образах, воскрешает ее во плоти и приближает к нашим дням так, как этого не может сделать ни один летописец.

Она вооружает человека не только знанием, но и вооружает его запасом эмоциональных сил на будущее, верой в справедливость и правоту избранного, идущего дальше, пути.

Образ России строится Брюсовым на связи времен давно прошедших, времен сущих и будущих, «сквозь годы и бедствий и смут», как «суровый, прилежный, веками завещанный труд».

Поэзия обладает счастливой возможностью концентрировать время в предельно сжатых эмоциональных импульсах, то в стихах торжественных и динамичных, то в раздумчивых, освещенных внутренним жаром глубоких осмыслениях. И тем, и другим широко пользуется Брюсов, великолепный мастер слова, обращаясь к теме родины.

Предчувствуя революционные бури 1905 года и воспринимая существующий общественный строй как «позорно-мелочный, неправый, некрасивый», Брюсов написал стихотворение «Кинжал», исполненное высокой гражданской силы.

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза, Как и в былые дни, отточенный и острый. Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, И песня с бурей вечно сестры.

Никто в те годы не поднимал так высоко, как в этом стихотворении Брюсов, сверкающий

клинок поэзии, да и ныне чеканный афоризм «и песня с бурей вечно сестры» — блещет наряду со многими афоризмами классиков в нашей живой разговорной речи.

Ощущение и необходимость больших коренных изменений в движении России не покидают его и в самые глухие годы, после поражения революции 1905 года, недаром он восклицает даже тогда:

Пусть ветры вновь оледенили Разбег апрельских бурных рек: Их жизнь — во временной могиле, Мы смеем верить скрытой силе, Ждать мая, мая в этот век!

Поднимаясь над временем, Брюсов все же иногда оставался его пленником, им он был в своем отношении к большой проблеме, какой является война.

В годы русско-японской и первой мировой войн он писал стихи об этих войнах. Но они не стали и не могли стать явлением в поэзии в ряду той общей великодержавной риторики, которая заполняла страницы печати.

В Отечественной войне 1812 года силы народа, развернувшиеся в борьбе с иностранными захватчиками, стали источником вдохновения для литературы девятнадцатого века, создавшего могучие патриотические произведения как в поэзии, так и в прозе.

Но в войнах империалистических, захватнических, поэзия не участвовала, а если и участвовала, так только восставая против них. И война русско-японская и первая мировая война ничего не дали, кроме казенных сочинений, забытых временем.

Органическая кровная причастность Брюсова к судьбам родины, истинная творческая зрелость ума и таланта, с которой он вступил в начало двадцатого века, став современником трех революций, и в особенности Великая Октябрьская революция, которая осветила новым светом движение всей истории человечества, окрылили личным счастьем поэта и привели его к высокой правде истории.

Год пятый прошумел, далекой Свободе открывая даль. И после гроз войны жестокой Был Октябрем сменен Февраль. Мне видеть не дано, быть может, Конец, чуть блещущий вдали, Но счастлив я, что мной был прожит Торжественнейший день земли.

И для современного мира характерны два взгляда на историю; один из них стар, его усердно всячески подновляют: история процесс неуправляемый, стихийный, и человеческий разум не в силах изменить ход его, к каким бы апокалиптическим результатам он ни вел.

Другой взгляд утвержден на земле коммунистами: ход истории определяет классовые, социальные силы, и человек является в них творцом ее, и он приведет историю к торжеству разума на земле и социальной справедливости. Поэзия Брюсова, воспевающая в истории героические характеры и великую преобразующую силу труда и разума, спорит с первым, древним, как мир, взглядом на историю.

Я не стану утверждать, что поэзия Брюсова, ненавидящая и отвергающая уродства капиталистического строя, но в жажде гармонии приветствующая промышленный и научный прогресс, была исполнена веры в созидательную силу пролетариата, вырастающего среди железа и огня. Но, образованнейший человек своего времени, Брюсов понимал логику истории, и это неизбежно и естественно привело его к «торжественнейшему дню земли», как поэта.

Мы землю вновь вспоим трудом, Меч вражий будет вновь расколот, Недаром мы, блестя серпом, Взметнули дружно мощный молот.

Настало время строить новую историю, и Брюсов стал ее строителем. Он, как гражданин, с великим энтузиазмом принял участие в создании социалистической культуры. Он основал Высший Литературно-художественный институт, стал ректором этого института и читал в нем лекции, собиравшие людей, которые выросли впоследствии в крупных советских ученых, писателей, общественных деятелей.

Вместе с Горьким он работал как редактор, литературный критик, переводчик в издательстве «Всемирная литература», издававшем в переводах на русский язык мировые литературные ценности. Его интернационалистская деятельность по сближению литератур и культур разных народов земли в первые годы Советской власти являлась высоким примером созидательной деятельности для интеллектуальных сил многонациональной Советской страны. Как переводчик он сделал достоянием русского читателя поэзию армянского народа от древнейших времен до поэтов — его современников. В день пятидесятилетия Брюсова Армения положила к его ногам национальный музыкальный инструмент и назвала народным поэтом Армении.

Отдавая все свои энциклопедические знания служению Советской республике, Брюсов обратился с поэтическим воззванием к той части интеллигенции, которая колебалась в выборе пути в эти грозовые, обжигающие дни, открывшие новые неоглядные дали.

Нам слышпы громы: то вековые Устои рушатся в провалы: Над снежной ширью былой России Рассвет сияет небывалый. «Что ж не спешите вы в вихръ событий?» — вопрошает поэт, обращаясь к товарищам-интеллигентам.

В стихотворении как бы два плана: один — утверждающий торжество современности, открывающей широкие перспективы приложения интеллектуальных сил на благо народа, и второй план — инвективный в адрес тех, кто молчит и медлит принять участие в новом строительстве.

Место поэта и роль поэта в обществе была определена творчеством самого Брюсова, но он подтверждай это и в примых высказываниях. Вот что он говорил: «Граня и чеканя слова, переливая в них свои мечты, поэт всегда связан с народом. Ему нет жизни вне народа. Он жив, пока жив народ и им созданный живой язык. Поэт! повинуйся народу, ибо без него ты только музейная редкость». В поэзии, обращаясь к новой Советской России, поэт заявлял, подчеркивая свою кровную связь с народом:

Я — твой, Россия, твой по роду! Мой предок вел соху в полях. Люблю твой мир, твою природу, Твоих творящих сил размах!

В стихах «Труд», «Праздник труда», в стихах, обращенных к «Рабочим мира», он с еще большим энтузиазмом воспевал великую, преобразующую мир силу труда, освобожденного от цепей капитала. Силу, которая способна уничтожить величайшее зло земли, кровавые войны, ввергающие народы земли в катаклизмы вражды. В стихотворениях, посвященных Владимиру Ильичу Ленину, он выражает народный взгляд на титана революции и надежды на великую созидательную силу его идей и созданную им партию коммунистов.

Кто был он! — Вождь, земной Вожатый Народных воль, кем изменен Путь человечества, кем сжаты В один поток волны времен.

Поэзия Брюсова в современном мире вооружает человека оптимизмом, почерпнутым из глубин знания нелегкого, но славного пути человечества, она цельна в своих благородных социальных устремлениях в грядущее человечества.

* * *

Теперь бы уже, наверно, пора произнести, говоря о поэте Брюсове, слова о том, что в поэзии имя Брюсова стоит рядом, и перечислить, скажем, имена Маяковского, Блока, Есенина. Давайте не будем говорить так. Потому что, когда речь заходит о близких нам по времени

явлениях истинной поэзии, то ряда не может быть. Каждый из них для нас — это из ряда вон выходящее явление, отдельное, особенное, не похожее на другие. Каждый занимает в советской поэзии свое место, которое не может занять никто другой. Они жили рядом, работали рядом, учились друг у друга мастерству, спорили, дружили, — большие яркие личности, русские советские поэты двадцатого века.

Поэзия Брюсова, примечательная глубиной и широтой мысли, воссоздающая характер и образ человечества в крупных масштабах временных и пространственных категорий, это, если позволите так сказать, — поэзия макрокосмоса.

Макрокосмос — внешний большой сложный мир, окружающий нас, в котором мы живем, влияет в наше время на микрокосмос — на внутренний мир человека — с особой силой. Человек вовлечен в судьбы большого мира земли тысячами связей, его ответственность при этом неизмеримо возросла.

Человеку необходимо мужество, знания и мощная эмоциональная поддержка, чтобы победить.

Валерий Брюсов, истово верящий в силу знания и необходимость поэзии в жизни нового общества, верил, что его стихи будут нужны людям, и не скрывал этого.

Я заканчиваю слово о Брюсове словами Брюсова, коваными, чеканными, из его прекрасных стихов, впервые прочитанных иятьдесят лет тому назад им самим о новой Москве и о нем в ней:

...Гул над землею метет молва, И — зов над стоном, светоч в темень,— С земли до звезд встает Москва. А я гость лет, я, постоялец С путей веков, здесь дома я, Полвека дум нас в цепь спаяли, И искра есть в лучах — моя. Здесь полнит память все шаги мне, здесь в чуде я — абориген, И я храним, звук в чьем-то гимне, Москва! В дыму твоих легенд!



B мире слов разнообразных, 4mo блестят, горят и жгут,— 3oлотых, стальных, алмазных,— 4mo священней слова: 4mo

Валерий Брюсов

Борис Ручьев

(1913 - 1973)

ЭТИ ГОДЫ*

Так и скажем... Это мы впервые, На размах лопат и топоров Поднимали песни боевые Над землей палаток и костров.

И стоим, не отступив ни разу, Под стальными крышами цехов Смирно! По военному приказу Нашей партии большевиков.

Снова поднята заря, как знамя, И гремит Магнитная гора, На земле, над городом, над нами Звезды пятилетия горят.

Молодость, по твердому настилу Этих дней, идущих без числа! Сколько ты знамен переносила, Штурмовых недель перенесла.

Никогда вовеки не забудем, Только рассказать не хватит сил, Если о какой-нибудь минуте Разговора будет на часы.

Если годы эти не напрасно Назовем, победу заслужив, Грозным боем не на жизнь,

а на смерть,

Боем, открывающимся в жизнь.

Пусть знамена зорями взовьются, Как цеха, как трубы, этажи. На земле, во славу революции Песня запевается про жизнь.

Снова поднята заря, как знамя, И гремит Магнитная гора, На земле, над городом, над нами Звезды пятилетия горят.

Это значит, гром над миром бродит И встает на долгие года На стальных позициях завода Диктатура нашего труда. * * *

Всю неоглядную Россию наследуем, как отчий дом, мы — люди русские, простые, своим вскормленные трудом. В тайге, снегами занесенной, в горах — с глубинною рудой, мы называли

хлеб казенный своею собственной едой. У края родины, в безвестье, живя по-воински — в строю, мы признавали

делом чести работу черную свою. И, огрубев без женской ласки, приладив кайла к поясам, за жизнь не чувствуя опаски, шли по горам и по лесам, насквозь прокуренные дымом, костры бросая в полумгле, по этой страшной, нелюдимой, своей по паспорту земле. Шли — в скалах тропы пробивали, шли, молча падая в снегу на каждом горном перевале, на всем полярном берегу. В мороз работая до пота, с озноба мучась, как в огне. мы здесь узнали,

что работа равна отвагою войне.

Мы здесь горбом узнали ныне, как тяжела

святая честь впервые в северной пустыне костры походные развесть; за всю нужду, за все печали, за крепость стуж и вечный снег пусть раз проклясть ее вначале, чтоб полюбить на целый век; и по привычке,

как героям, когда понадобится впредь, за все,

что мы

на ней построим, в смертельной битве

умереть.

...А ты —

вдали, за синим морем, грустя впервые на веку, не посчитай жестоким горем святую женскую тоску. Мои пути, костры, палатки издалека — увидя вблизь, учись терпению солдатки — как наши матери звались, — тоску достойно пересилив, разлуки гордо пережив, когда

годами по России отцы держали рубежи.

Людмила Татьяничева

* * *

Пусть не в меня в прямом бою Вонзался штык чужой огранки, Прошли сквозь молодость мою Года, тяжелые как танки. О, трудный марш очередей За хлебом, Клеклым от бурьяна, И над молчаньем площадей Суровый голос Левитана... А дети в ватничках худых, А вдов опущенные плечи!

Нет горше будней фронтовых, Но эти — Вряд ли были легче...

Ты знаешь это.
Ты видал
Цеха бессонные, в которых
Из гнева плавился металл,
А слезы
Превращались в порох.

METAЛЛУРГ*

Я в космос не летал. Но эта сталь — моя, А это, значит, Помогал и я Достичь тебе Загадочной звезды, Которую держал В своих ладонях ты. Я в космос не летал. В грохочущей ночи С любовью я ковал Путей твоих лучи. Я отдых отвергал И годы напролет Сто тысяч солнц впрягал В твой чудо-звездолет. Сильна моя ладонь. Сильнее, чем металл, Чем стужа и огонь!

Я в космос не летал!

Михаил Рудерман

ДЕЛИСЬ ОГНЕМ

Там, где в подземных коридорах Нелегким заняты трудом, Есть заповедь — в сердцах шахтеров:

Делись огнем, делись огнем!

Ты видишь, лампа у соседа Погасла вдруг в забое том... Не пропусти мгновенье это, Придвинь свою. Делись огнем!

Всегда ты это помнить будешь Повсюду на пути твоем.

Спеши, иди на помощь к людям, Делись огнем, делись огнем!

С друзьями давними твоими, В степи или в краю лесном, С людьми для сердца дорогими Делись огнем, делись огнем.

И, утро новое встречая, Увидев солнце за окном, Свой день обычный начиная, Делись огнем, делись огнем.

$H - \Psi E Л O B E K!$

Ходил мальчишка по земле И к морю полетел впервые, Он на воздушном корабле Увидел дали голубые. И громко, весело сказал:

— А я сегодня птицей стал! Внизу леса, полоски рек. И я лечу, я — человек! — Потом он море полюбил И, радостью огромной полный, На солнечном просторе плыл, И видел даль, и слушал волны,

И громко, весело сказал:
— А я сегодня рыбой стал.
Люблю морскую синеву,
Я — человек, и я плыву.—
Потом он на скалу залез,
Увидел звезды над собою,
А звезды — чудо из чудес —
Уже сверкали над землею.
И, верный радостным мечтам,
Сказал мальчишка: — Буду там!
Такой у нас крылатый век.
Я — буду там. Я — человек!

Павел Богданов

B METPO

В метро, что на проспекте Мира, Покупками нагружена, Замешкалась средь пассажиров Седая женщина одна.

Людской поток спешит, кипучий! Но парень С ромбом МГУ Ее учтиво взял под ручку: — Позвольте, я вам помогу.

Не бойтесь, это — эскалатор. Смелее, бабушка, смелей! — И парень женщину галантно Довел почти что до дверей.

А «бабушка» пошла сторонкой И улыбалась чуть хитро:

Она, Когда была девчонкой, Как раз и строила Метро!

Александр Бобров

Москва!

* * :

Вековечная стройка, С той первой сосны строевой Не в тягость такая постромка

Породе твоей ломовой.

Когда-то без всякой науки Разметил начальный квартал Твой первый прораб — Долгорукий, За что и отлит был в металл.

И так уж издревле ведется,— На древе Москвы— сколько их!— Околиц застроенных кольца Заместо колец годовых.

Нам все, что воздвигли,— утроить, Дома в небеса поднимать И вновь убедиться, что строить Куда веселей, чем ломать.

Александр Аронов

ГИМН МОСКОВСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ

Все неотвязней, все прелестней Подземных странствий голоса... Закрой глаза на Красной Пресне, В Измайлове открой глаза.

Ты неподвижен, может статься, А шум колес и плеск молвы — Перестановка декораций На выход твой среди Москвы.

Но сверху для твоей проверки Все расставляют по местам. И ты, как чертик в табакерке, То тут, то там, то тут, то там.

И сам господь, следящий с неба За расстановкой лиц и пар, Не уследит, где был, где не был, С кем оказался, как попал.

Само метро на что похоже? Сойди под город и, скользя, Сейчас, пока еще ты можешь, Закрой, чтобы открыть, глаза.

Мудрейший, со своей авоськой, Безумный, со своей тоской, Закрой на «Электрозаводской», Открой на «Автозаводской».

Александр Филатов

УЛЫБКА НАРКОМА

Недавно ветераны завода «Серп и молот» вручили мне драгоценный подарок: пожелтевший от времени фотоснимок, на котором изображен президиум слета ударников-метал-лургов во главе с наркомом тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе.

На трибуне я увидел себя, токаря-комсомольца, читающего свои стихи. Это было летом 1935 года в заводском клубе.

Этот снимок на днях я увидел впервые, Мне вручила его заводская родня. Лишь теперь я узнал, что нарком индустрии, Улыбаясь, в тот вечер глядел на меня.

Как родного Его металлурги встречали, Он и сам горячо их встречал, Как родных... Ну а что у меня, паренька, за плечами? Самоточка-станок да неслаженный стих!..

Помню, Собственный голос звучал незнакомо, Помню, Как шелестела тетрадь под рукой: Неужели стою перед взором наркома И читаю стихи я — поэт заводской?!

Металлурги — когорта особого дара, И у каждого — сколько заслуг на веку!.. У меня ж даже имя орла-комиссара, Как ни бился, никак не ложилось в строку.

А меня ведь в тот вечер назвали поэтом. До чего ж мне хотелось, листая тетрадь, Дорогого наркома на вечере этом По фамилии в песенной строчке назвать.

Я в смущенье тогда понимал: Трудновато! А ведь рядом, под сенью рабочих знамен, С мастерами формовки, литья и проката Ждал, наверное, слова умелого он. Он,
Который еще предоктябрьскими днями,
Раздвигая в Разливе кусты ивняка,
Без тропинок ходил к Ильичу
С новостями
От рабочих кружков,
От солдат,
От ЦК.
Он,
Который в своей длиннополой шинели
Прошагал полстраны
В котлованной пыли,
Чтобы птицы в пустынях
Гнездились и пели
И сады на земле пробужденной цвели.

Он, Серго,—
Комиссар всех мартенов и станов,
Знавший каждую стройку
И угольный край.
Это им был взлелеян в забоях
Стаханов,
Им прославлен у жарких мартенов
Мазай!..

Ну а дальше — не знаю, Взаправду иль в сказке, — Обаятельным взглядом окинувши зал, Он ко мне подошел И в обхват, по-кавказски, К широченной груди своей Крепко прижал.

И сказал мне: «Учись и учись терпеливо.
Ты в труде окружен золотыми людьми.
Плавка тоже в горячей печи
До разлива,
Как и стих, созревает не сразу,
Пойми!»

...Этот снимок теперь
В моем сердце хранится...
Я на снимке сквозь годы себя узнаю.
До чего же светла заводская зарница,
Озарившая давнюю юность мою.

«ВАЛЬЦОВКА»

Свыше четырех десятилетий связаны постоянной и нерасторжимой дружбой московские писатели с рабочими металлургического завода «Серп и молот». Еще до начала первой пятилетки в одном из старых гужоновских бараков, наскоро переоборудованном под клуб, мощно звучал голос Владимира Маяковского... Это братство молота и пера, труда и творчества затем прочно скрепили старейшие писатели-коммунисты В. Бахтиетьев и Н. Ляшко, те, кто участвовал в становлении нашей пролетарской литературы. Они состояли на партийном учете в цеховых партячейках и еще в ноябре 1929 года организовали при заводской газете «Мартеновка» литературный кружок «Вальцовка».

Автор этих строк был в то время воспитанником заводского детского дома. Мне посчастливилось с первого занятия «Вальцовки» до сегодняшних дней быть тесно связанным с крупнейшим в стране рабочим литературным объединением, которое благодаря помощи московских писателей стало своеобразным факультетом просвещения в тру-

довом коллективе «Серпа и молота».

Почти на каждое занятие «Вальцовки» приходили литераторы: А. Серафимович вел здесь беседы о фабуле и сюжете, делился опытом правки и редактирования, Н. Асеев рассказывал о новаторстве и писательском мастерстве, А. Жаров и И. Уткин учили работать над словом. А как приятно вспомнить, что мы, тогдашние кружковцы, слушали главы еще не опубликованного романа А. Авдеенко «Я люблю» и начальные главы

книги В. Луговского «Большевикам пустыни и весны».

В последние годы «Вальцовка» еще более укрепила творческую связь с писателями. Крепко и, я бы сказал, сердечно дружил с «Вальцовкой» Ярослав Смеляков. Он не раз бывал в цехах завода и поименно знал многих передовиков производства. Человек зоркого сердца, первоклассный мастер поэтической строки, беспредельно требовательный и скупой на похвалу, он высоко оценил деятельность «Вальцовки» в своей статье «Писатели одного завода»: «Литературпое объединение на заводе— явление это, если вдуматься, весьма значительное. В самом деле, мыслимо ли было что-либо подобное в мрачных гужоновских цехах? Нет, потому что возникновение и деятельность литературного объединения в рабочем коллективе— это факт социализма, это черта нового мира, одно из свидетельств стирания граней между трудом физическим и трудом умственным».

Велик вклад писателей столицы в дело повышения культуры рабочего класса, в дело воспитания творческой смены. Это они помогли вырастить из рядов «Вальцовки» двенадцать профессиональных литераторов — членов Союза писателей СССР и выпустить в свет свыше двухсот художественных произведений. А скольких приобщили к книге, убедили пойти учиться в вечерние техникумы, институты и стать мастерами

и инженерами...

Писатели Москвы никогда не стояли в стороне от забот, которыми живут люди фабрик и заводов. И «Вальцовка», следуя примеру своих старших товарищей и наставников, сделает все возможное, чтобы воспеть передовиков девятой пятилетки. «Вальцовка» хорошо помнит слова А. М. Горького: «Где завод — там рабочий класс, где рабочий класс — там жизнь, а где жизнь — там поэзия!..»

Александр Филатов

Сергей Воронцов

прокатчик

ПЕРВЫЙ СЛИТОК

Бушуют ливни В печах золоченые... Стекла синие — У козырька закопченные.

Раздвинули пасти Чудища-печи, Не выносит яркости Глаз человечий...

Зоркий прищур — Как резцом выточен: Кончай перекур,
 Приготовиться к выдаче.

Первый слиток, Легок и звонок, К стану запрыгал, Как жеребенок.

Валы грохочут Легко и стройно, И гулко, и весело, И беспокойно!

Юрий Каменский

мастер мартеновского цеха

СКОЛЬКО СТОИТ ЧАС

Скажи мне — сколько стоит час? Не тот, что легким пустоцветом Пускают на ветер подчас, На скуку жалуясь при этом. Нет, час другой, час полноценный,— Восьмая часть

рабочей смены?

...Спустился незаметно вечер.
Под шлаком тяжело урча,
Сталь закипела в чреве печи —
Так начинался этот час.
Он начинался в гулком звоне,
В сплетенье сотен мелочей,
Что темный лес для посторонних,
Людей, не видевших печей.
А сталевар, весь в бликах белых,
Стоял, смотрел в печную пасть,
Смотрел и думал: «Что же делать,
Чтоб стал короче этот час?
Давай руды!»

Заклокотала, Забушевала сталь в печи — И сталевару слышно стало, Как сердце радостно стучит. Минута за минутой мчались, Ритм плавки быстро нарастал, Момент — уже готов анализ, Пускаем плавку...

ЧАС НАСТАЛ!

И вот невидимые нити Больших и маленьких работ Сплелись в огромнейшем событьи, В короткой фразе:

«Сталь идет».

Она помчалась вдруг,

с разбегу Сбежать пытаясь из ковша, Но, чуя силу человека, Смирилась, стихла, чуть дыша. И вот совсем угомонилась... В ней притаились до поры Линкора грозная немилость, «Ракеты» радостный порыв, По целине идущий трактор И в небе

новая луна — Все, чем страна моя богата, Все, чем страна моя сильна.

Он незаметно начинался, Но так кончался этот час! Он очень здорово старался, Чтоб от стыда не притать глаз, Чтоб наши дети песни пели, Не ведая о нищете. Час — это шестьдесят

ступеней, Нас поднимающих к мечте. В свою судьбу мы твердо верим, Нам дорог, дорог каждый час. Спешим вперед,

товарищ Время,-

Оно работает

на нас!

Екатерина Мишина

библиотека рь

РОВЕСНИК

Сталевару и поэту Кириллу Чиркову

Не ради славы — ради чести, Свою профессию любя, Ты побеждал с народом вместе И утверждал в борьбе себя.

. . .

Не ты ли, стоя у мартена, Варил для родины металл, И твой автограф во Вселенной Впервые звездно засверкал.

Тебе всего еще полвека, А голова бела, как снег... Не годы красят человека, А то, что сделал человек!

Яков Челноков

котельщик

КОЧЕГАР

Заправил печь,

и ярко рдеют своды Веселым Прометеевым огнем. Вихрится он, съедая ту породу,

Что просто именуется углем.

Мне нелегко,

когда каскадят искры И пламя обжигает грудь мою, Зато тепло

по трубам серебристым С теплом души

я людям раздаю.

Павел Елфимов

мастер завода «Фрезер»

Я боюсь не уметь — Ремесла не иметь: Не кроить, и не шить, И стога не вершить. Не работать резцом. И не стать кузнецом. Ничего не уметь — Как души не иметь.

* * *

Пусть жизнь нещадно коротка, Но выше горьких сожалений Рука, не терпящая лени, В которой — тяжесть молотка, В которой — серп или штурвал, Перо, лекало иль зубило... Ушел — как смену передал, Чтоб мастерство бессмертно Было.

ЗАВОД

Завод — моя поэзия, Завод — моя звезда; Она взошла на «Фрезере», Ясна и молода. И безраздельно вплавлена В ее упорный свет Работы жажда главная На горизонте лет. Работы жажда честная -В металл идет сверло; Рычаг Ладонью чествую, Как ремесло свое. Работы жажда верная — И в полыме душа: Объята песней первою, Горит, Слова верша! — вивеоп пом тов И Уже двадцатый год Поэмою железною Мне стал родной Завод.

Анатолий Парпара

БАЛЛАДА О ШОФЕРЕ

Aлександру Зернову, шоферу 3-го таксопарка г. Москвы

Мне повезло шофер был разговорчив. Лицо,

как говорится,

без примет.

Ему не раз заглядывала в очи, но отступала

фронтовая смерть.

Женат. Есть сын. Зовется Николаем. «В отца призваньем тоже за рулем. Мы из Москвы. Крестьянам помогаем, ведь, как-никак,

в одной стране живем!»

И это так прекрасно

прозвучало;

«В одной стране», читай — «в одной семье», что я подумал: вот оно, начало любви неугасающей к земле! Ведь о таких: «Покой им только снится!» Но им не спится до тех пор, пока веселым озерком шумит пшеница в видавших виды

их грузовиках.

Мне повезло:
шофер был разговорчив,
хотя давно не видел тихих снов.
— Фамилию скажи! —
Сверкнули очи:
— Фамилия сезонная —

Зернов!

Эмма Мошковская

* * *

Сказать ли ему, кто вез через тьму, «спасибо». «Спасибо» сказать ли тому, кто просто — водитель простой электрички, --«зеленая гусеница» по кличке, черной почти в черной ночи, когда уже поздно, безлунно, беззвездно в небе осеннем; когда уже дремлем, внемлем ритмичной

так, так, просто так: «Спасибо, спасибо, спасибо, браток!

колес перекличке,

верим ему,

его электричке...

Сказать ли вот так,

Послушай, хороший, хороший ты парень!»

И он улыбнулся. И был благодарен.

ГАЗЕТНЫЙ ЦЕХ

Цех, цех, цех, цех, вести-гости — поминутно, всех-всех-всех облетят они под утро,

здесь, здесь, здесь, здесь отливают строки в сроки — весть, весть, весть — круглосуточные токи.

Миг, миг, миг, миг, миг рассчитанных движений, мир, мир, мир, мир, мир, мир высоких напряжений,

бег, бег, бег — пальцев точные приказы, всех-всех-всех-всех, всех коснутся эти фразы...

События! Прибытия! Открытия! Отплытия! События всех стран! Тайфун! Самум! Буран! Шум!

шум,

шум,

іпум не стихающей планеты..

И аква-

ри-

ум... Это рыбки, рыбки это.

И водоросли эти — речная глубина. И значит, есть на свете речная тишина.

Михаил Пляцковский

ПРОЩАНИЕ С ЭРНСТОМ КРЕНКЕЛЕМ

13 февраля, в день гибели ледокола «Челюскин», по традиции собираются вместе челюскинцы и летчики-спасатели.

Теперь его уже не будет. Ни в этот раз. И ни потом. И смех его, как звонкий бубен, Не прогрохочет за столом. Сюда он больше не вернется — В привычный круг мужчин седых. Стремительно не обернется На голоса друзей своих. Друзья сойдутся вновь,

не веря

В непоправимый случай тот. И невозможная потеря Сердца

пургою

обожжет.

Не знаменитым, не парадным — Остался Эрнстом он для них, Радистом длинным и нескладным Из давних странствий ледяных. Горели лампы вполнакала, И передатчик глох совсем. Морзянка тоненько пищала Свой код обычный: «Я-RAEМ». Наушники сжимая туже,

Работал Эрнст,

небритый,

злой.

Наперекор жестокой стуже Он связь держал с Большой землей. Он оказался парнем прочным, Он был отчаянно упрям. Весь мир прислушивался к строчкам Коротеньких радиограмм. Не гнулись пальцы от мороза. Полярная слепила мгла. Над ним беды сгущалась проза, А в нем — поэзия жила... Опять февраль.

И над Москвою Зима расправила крыло. Вот календарь.

В нем — роковое,

Тринадцатое то число. Так не бывало,

не бывает, Чтоб в этот день он не пришел... Он в памяти друзей

всплывает, Как затонувший ледокол.

Хулио Матео

МАМОЧКА МАРИЯ

Марии Савченко

Воробьишки вроде, а не труся обживают новые края, и Марию — мамочкой Марусей называют, счастья не тая!

Матерью тебя признав впервые, подняли твои птенцы галдеж; с ними ты, красавица Мария, песни пионерские поешь.

Ты была их ненамного старше, но, в своей душе их приютив,

пела им, подхваченный на марше, «Конницы Буденного» мотив.

Ты художницею стать мечтала в ранний час, когда рассвет пунцов; а потом учительницей стала маленьких испанских беглецов.

К ним душою ты рвалась навстречу, голос твой на ласку не был скуп,ты — без лексиконов — их наречью на лету училась прямо с губ.

Ты без снисхожденья, без гордыни их смогла к себе душой привлечь, и в твоей украинской латыни им кастильская открылась речь.

Ты была вожатым и ведущим и любимой старшею сестрой, прошлым, настоящим и грядущим, и за них стояла ты горой.

Сладив с непокорными словами, речь вела, шлифуя каждый слог; галстуки, багряные как пламя, гладил твой вертлявый утюжок.

И, доверены твоей заботе, в выходной — от солнца золотой, в честь Маруси, о Марии в гроте спел твой класс — о Деве Пресвятой!

Все пути отсель — от жаркой печки: ввысь вспорхнуть стремятся воробьи, бьются их заморские сердечки, полные мечтаний и любви!

Ты не просто Савченко Мария: солнце есть в твоей простой судьбе,— для детей испанских — вся Россия воплотилась в матери, в тебе.

Перевел с испанского Александр Големба

Николай Добронравов

ХЛЕБ

Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями, Помним в горькие годы ясней, чем себя мы. Хлеб везли на подводе. Стыл мороз за прилавком. Мы по карточкам хлеб забирали на завтра. Ах, какой он был мягкий, какой был хороший. Я ни разу не помню, чтоб хлеб был засохший. Почему ж он вкусней, чем сегодняшний пряник, Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями?

Может быть, оттого, что, прощаясь, солдаты Хлеб из двери теплушки раздавали ребятам. Были равными все мы тогда перед хлебом, Перед злым, почерневшим от «юнкерсов» небом, Пред воспетой и рухнувшей вдруг обороной, Перед желтенькой, первой в семье похоронной, Перед криком «ура» и блокадною болью, Перед пленом и смертью, перед кровью и солью. Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями, И солдаты и маршалы вместе рубали, Ели, будто молясь, доедали до крошки, Всю войну я не помню даже крошки засохшей.

...За витриною хлеб вызывающе свежий. Что ж так хочется крикнуть: «Мы все те же! Все те же!»

Ржавый минный осколок на весенней опушке, Обжигающий вкус горьковатой горбушки...

Николай Шумаков

ДЯДЯ ПЕТЯ

Памяти Петра Демьяныча Демина

Я помию — Он вернулся с фронта В медалях весь И в орденах. Как на глазах Мальчишьей роты От счастья Плакала жена! Как обнимал нас всех По-братски — За невернувшихся отцов... А после свой паек солдатский Он разделил На тридцать ртов. Через неделю Дядя Петя Возглавил Слабый наш колхоз. О, как печальны годы эти! О, сколько было жгучих слез... Мы, в плуг впрягшись, Поля пахали От ранней зорьки дотемна. И всем колхозом голодали, Храня зерно на семена.

Да, нелегко давался хлеб В трудах упорных, Не мгновенных. Колхоз наш С каждым годом креп, А пред... слабел От ран военных.

Который год В столичном шуме Живу. Но помню каждый миг. И вот известие — Что умер В селе последний фронтовик...

Ночь — в гэдээровском

вагопе.

А дальше — Спешенный спешу, Беда, как в спину ветер — гонит.

К могиле молча подхожу.

Лариса Федорова

НОЧЬ ХЛЕБА

Из косматых, Из разгневанных высот По деревне Без прицела кто-то бьет...

Тут стратеги Ошибиться не могли, Не для города удары — для земли!

Добрый ливень, Теплый ливень, Хлынь же, хлынь! А в пруду дождя боится жирный линь. В старом доме глухо рамы дребезжат, Но грома такие Колос колосят.

На подушке скорлупа от сна, Расколола ты мой сон, гроза!

Помню, в детстве При сухой грозе Мать — в перины, А отец мой — на крыльце. Он стоял там с непокрытой головой, Смелый с небом, Да вот раб Христов с женой...

Далеко ты, мое детство, Далеко. А гроза медведем красным — Прыг в окно! Он к чему ни прикоснется — Все в окне. Наяву этот медведь Или во сне? Я по генам по отцовским Храбра, Простояла на крыльце до утра.

Мне бы в поле,
В хлебном поле постоять,
Невозможное увидев,
Рассказать:
Как при взмахе дирижерском,
Огневом,
Козыряют все колосья;
«Мы с зерном!»

Владимир Савельев

* * *

Тучнеет пшеница на воле. Не ведать бы мне и не знать того, брат, как минное поле становится мирным опять.

Но память с годами все цепче... Волной обтрепало кусты, и замертво рухнул прицепщик ничком поперек борозды.

И молча по грозному клину сходились мы — сплошь мелкота: мол, коль и нарвешься на мину, так не угадаешь, когда.

Мол, риск благородное дело. От пашен и до площадей война ни за что не хотела в покое оставить людей.

Траншеи. Обстрелы. Ракеты. Прорывы. Охваты. Котлы. Но беды и после победы угрюмо ломились в тылы.

Свинец обескрылел в Берлине, в Москве состоялся парад. А в горечи волжской полыни знакомый селитровый смрад.

И тетка, бегущая тяжко с холщовой тряпицей в руках. И синие наши фуражки, задушенные в кулаках.

И трактор. И чье-то сопенье. И эта — бегущая — мать... А так моему поколенью уже не пришлось воевать.

Игорь Ляпин

ПЛОТОГОНЫ

Горы слева,

и горы справа, И на бревнах — накат волны. Мы заботами лесосплава, Мы водою окружены. Мы несемся

под небом жарким,

Под ногами —

чернеет глубь,

Вырывает ветром

цигарки

Из обветренных губ. И пока не пробъемся к устью, Плот — работа

и плот — жилье,

Мы, конечно,

знакомы с грустью,

Только чаще -

не до нее.

Слева - камень,

и справа — камень, Бури бьют в паруса рубах, И нельзя развести руками,

Потому что —

судьба в руках.

Андрей Дементьев

В ЦЕХЕ

Белых нитей водопад... И как чайки — руки девичьи. Я ловлю веселый взгляд, мимолетный и доверчивый. Я минуту здесь побуду, возле песни постою. Мне понять бы это чудо душу вешнюю твою. Вот ты вяжешь узелок, словно Кио — в полмгновенья. Сколько ждет тебя дорог, и открытий, и доверья! Сколько ждет тебя дорог к тем друзьям, еще не встреченным. Будь проста — как узелок. Оставайся век доверчивой. Оттого в душе светло, что ты все с любовью делаешь. Донесет твое тепло до людей та нитка белая. А настанет срок любить, пусть придет он — смел и ласков. Ведь судьба, она - как нить, что рукам твоим подвластна. По проходу мимо ровницы ты улыбку понесла. Все хорошее исполнится! Лишь бы ты всегда была.

Галина Фельдшерова

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

Мерзлоты пахнут серой, пахнут вечностью. По линзам льдов блескуче шаркают ножи. И мощь машин. И одержимость человечья. И полигонов злые виражи. До коренных пород пески соскоблены. Растет отвал, высок, как террикон. Обычный день. Ничем не обособленный. Металлопашеству, промывке посвящен. Так трудятся в честь праздника. В испарине любой из дней старательской страды. И круто каменюками приправлено закрученное бешенство воды.

И глыбы рушатся, и нет им счета, и сотрясают промприбор кубы. И мечется буторщик пегим чертом, ширяя бутором в валуньи лбы. И в этих громах, лязге, всхлипах, вое такую здравицу трубит труду металл,—святое сопричастие с землею, сквозь вековое «вето» линз и скал. И до того, как ночь не застегнется на каждую колымскую звезду, мерзлоты будут пахнуть потом, солнцем и парни с полигона не уйдут.

РОДИНА

Люблю я и знаю такую Россию, где над убитыми отголосили. Родина, край мой, имею ли право тебе передать любви моей правду? Не заслоняла я в дни твои тяжкие смертью изрытую землю блиндажную. Грудью не падала на амбразуры, в кровь не молчала в комендатурах. Детство мое не знало обновы:

щи — из крапивы, хлеб — из половы. Помню чернильницу — гильзу патрона да руки родимой

на похоронной...

В белых метелях, с ливнями, грозами — нету священней тебя и дороже мне, вся до росиночки на подорожнике — родина!

МАГАДАН

Спрятал туман за пазуху звезды и Магадан. Иду по путям заказанным взбалмошна, молода. Тебе ли рядиться в кружевца, пропурженный богатырь? Ишь как горланит простуженно порт твой и в высь и в ширь! Без удержу тянет в Нагаево! Знаю, не ждут меня там... Мне ль от тебя утаивать счастье и боль, Магадан?! Я лишь пройдусь по пристани, солью ее надышусь. К себе пригляжусь попристальней,

может, смешна моя грусть...
Пляшет бухта вприсядку.
Крут у приная посол.
Причаливает «Камчатка»
(так входит рука в перчатку),
ценью кольцуя мол.
Уходят в закат вельботы,
ветра да туман — нипочем.
Такая у них работа.
Романтика тут ни при чем.
Спасибо, мы свиделись, город.
Дела. Тороплюсь в тайгу.
Прости мою бабью горечь...
Твою трудовую гордость,
как горстку земли, сберегу.

Олег Дмитриев

ДЕНЬ ШАХТЕРА В ВОРКУТЕ

Когда я выхожу из-под земли, Так улыбаюсь солнцу. Будто с ним Не виделся сто тысяч лет и зим...

Николай Анциферов

Но в зимний день шахтеры Воркуты Выходят в темноту
Из темноты.
И может быть, как уголь, тверд на ощупь Полдневный мрак полярной стороны —
И черной высью и земною толщью На Воркуте шахтеры крещены!
И человек домой идет устало
В мерцанье электрических свечей...
О, если бы над ним сейчас блистало Великолепье солнечных лучей ...И потому шахтерский праздник —
Летний
Откуда ж зимний ветер занесло
В мои раздумья?

Просто здесь заметней,
Как люди ценят солнце и тепло:
На вечере, в битком набитом зале,
Где каждый шумен, весел, знаменит,
И солнца свет во взгляде и в бокале
Поет, ликует, плавится, звенит!
Я вглядываюсь в солнечные лица,
И праздник ваш — сегодня праздник мой:
Я счастлив с вами петь и веселиться!
Но должен помнить:
Долгою зимой,
Окончив труд, шахтеры Воркуты
Выходят в темноту
Из темноты.

Вячеслав Богданов

ЖЕЛЕЗО

Я гнул его, Рубил зубилом Под сводом заводских небес. С железом я к высотам лез. И по плечам своим нехилым Познал его удельный вес. В январский день, Когда и птицы К плавильной жмутся духоте... Железом грелся я в труде, Хоть примерзали рукавицы К обледенелой высоте... Зато всегда зимой и летом В час перекура с высоты Я видел -Шли за мною следом — Пехов железные скелеты, С монтажной выправкой мосты. И было радостно и лестно, Припомнив тяжесть и ветра, Как покорялось мне железо. И что меня небесполезно Учили делу мастера!

Герман Валиков

КАМЕНОЛОМЫ

Всю гальку разом взбудоража, Как лопнуло терпенье в нем, Вскочил один, рванулся с пляжа: — Подъем, ребята! Отдохнем!.. Не совладал с собой, верзила, Терпел, терпел, и прорвало... Натура, видите ль, взбурлила... Ишь как его распроняло!...

BO MCTEPE

Мастер тончайшей кисти, Кристальнейший колорист, — Свежий, живой, росистый, Цвет у него — лучист... Как петушок под утро, Звонкий задорен тон... А надо, так перламутра Валёры уловит он...

Родом от богомазов, Редких рук человек, Со сточенным левым глазом, Прищурившимся навек.

Блистательным дарованьем Всю критику всполошил. Из молодых, да ранний Премию заслужил...

Художник, а ни копеечку Не маханул в распыл. Нанял поправить печку, Индюшек жене купил.

Не дюжиною шерстинок, А острием луча Писавший свои картины — Завел себе «Москвича».

Не скромничающий ложно, Крестьянский аристократ, Чуравшийся елико можно Вил, топоров, лопат, Будто и небо не лазурно, И моря шелест не по нем, Сумбурно так и балагурно:
— Подъем, ребята! Отдохнем!.. Бригада прямо-таки рада,— В трусах одних да сапогах, Бегом — за ним...

Ломы — отрада. А вся изюмина — в кирках...

Пальчики свои неживший Пуще, чем пианист,— Трет их теперь ветошью Грязный, как тракторист.

Красок старинных каменных Раскусивший секрет,—
Любит машину пламенно,
Клином сошелся свет!..

Любитель седин истории, Ценитель забытых слов, Копается он в моторе и Рашпиль хватает зло...

Со смазкою под ногтями, Мозолиста и черна, С тонкостными кистями Справится ль пятерня?...

— В общем-то,— философствует,— Что есть, то, конечно, есть, Но машина, она — способствует,— Тоже надо учесть.

Все, — говорит, — вижу, Но, касаемо существа, — С машиной оно ближе К понятию волшебства. Ношу, — говорит, — в потайности Славный сюжет один... Поедем-ка покатаемся, Пейзаж к нему подглядим...

Ростислав Артамонов

HA BEPX-MCETCKOM МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ...

В печи огонь ревел,

. ... : неистов;

Сталь

из ковша стремилась вспять. Шли по заводу журналисты, Жизнь изучая,

так сказать.

Вели беседу о металле,

Мол, без него

нельзя прожить.

И сигареты доставали Там, где висело

«Не курить».

Сам чувствуя себя,

как дома;

С надеждой,

-- кашлянув в кулак,

У экскурсантов

предзавкома

Спросил в конце концов:

«Ну как?..»

Тогда один,

пожав плечами, Весомо вымолвил в ответ:

«Что ж,

печи в общем-то печами, А тишины,

простите,

нет...»

И усмехнулся старый мастер, Все в мире видевший сполна: «Да есть ли большее несчастье, Чем в этих стенах

— тишина!»

И взглядом

от земли до крыши Окинул медленно завод:

«Шумит? Шумит!

И значит, дышит.

А если дышит,

то живет!..»

Александр Медведев

НОЧНАЯ СМЕНА

Ночная смена, я тебя любил, когда завода грозное гуденье уравновешивалось, как сердцебиенье, узлами туго заплетенных сил.

...Татарская еще горит заря, и поручни гремящих трапов тепло хранят. И хвои терпкий запах царит, иные запахи боря.

В журнале сменном новая строка... Томимое своей же силой лето... Туман заречный, женская рука как все тогда перемешалось это!

На верхотуре, в будочке своей я громко пел — меня никто не слышал, что, мол, над лесом, над жнивьем полей в ночную смену ясный месяц вышел!

Журнал заполнил я и смену сдал, я летом и любовью истомился и не заметил, как собою стал... Но мой стальной скворечник не забылся.

Виктор Есипов

НА СЕЙНЕРЕ

Мы по палубе ходим в трусах, босиком, Не для нас бескозырка и клеши. За ставридой, идущей густым косяком, Мы плетемся на старой калоше.

Водяниста похлебка, и боцман суров, Духота в раскаленной каюте, Но пока на свободе гуляет улов, Мы весь день загораем на юте.

* * *

Все мы смертны, все мы тленны, И тебе пощады нет. Но живет поры военной Небольшой автопортрет. Выдают тот год жестокий Скудный фон и жесткий штрих, Западающие щеки, Выступающий кадык. Напряженность, ракурс резкий, Темен лик, как образа.

Писк прожорливых часк тосклив и высок, Черный дым рассыпается гривой. Мы лежим, а от палубных старых досок Жирно пахнет мазутом и рыбой.

Сейнер мачтою вязнет в лазури густой, Сейнер волны ленивые режет. И лежит вдалеке голубой полосой Потерявшее нас побережье.

Но пылают гневным блеском Воспаленные глаза. Узнаю, охвачен дрожью, Разворот военных дней. Ты свершил свой суд, художник, Над эпохою своей... И сижу я тих и смирен, И слежу, как гаснет свет. Тишина в пустой квартире. На стене автопортрет.

Василий Степанов

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Холодный свет луны погас В моем краю зеленом. А он зажег зарю тотчас Над строящимся домом.

Зажег. И, радостью горя, Он слушал звон металла. В его руках, искрясь, заря Жар-птицей трепетала.

И там, в проснувшейся тиши, Свалился в пламень яркий Живой огонь его души С огнем электросварки.

Летели искры с высоты Горячей позолотой... Он с высотою был на «ты», Он был на «ты» с работой.

Ему покорен был металл, Земному чудотворцу. Он дом, как в сказке, припаял К сияющему солнцу.

В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1974» УЧАСТВУЮТ:

Алтаузен Д.— стр. 68; Антеос П.— 115; Антокольский П.— 112; Антошкин Е.— 116; Аронов А.— 253; Аронова Р.— 104; Артамонов Р.—269; Асадов Э.— 116; Ахмадулина Б.— 113.

Баева А.— 117; Багрицкий В.— 68; Балин А.— 37; Бауков И.— 9, 34, 117; Белинский Я.— 118; Бобров А.— 119, 253; Бобылев Б.— 232; Богданов В.— 267; Богданов П.— 252; Богатков Б.— 69; Боков В.— 119; Букин Н.— 120; Бялик Б.—31; Бялосинская Н.— 121.

Валиков Г.— 268; Ваншенкин К.— 38; Васильев С.— 121; Васильева Л.— 122; Вегин П.— 123; Веселова Т.— 228; Вилкомир Л.— 69; Вознесенский А.— 126; Волгин И.— 129; Волобуева И.— 129; Воробьев Е.— 82; Воронов Ю.— 40; Воронцов С.— 255.

Глазков Н.— 130; Глушкова Т.— 130; Гнеушев В.— 131; Гончаров В.— 133; Гольдберг А.— 131; Гордиенко Ю.— 84; Гофман В.— 237; Грибачев Н.— 132; Гриезане М.— 41; Грубиян М.— 134; Грудев И.—134; Гудзенко С.— 9.

Дагуров В. — 136; Дементьев А. — 265; Дик И. — 42; Дмитриев О. — 267; Добронравов Н. — 262; Долматовский Е. — 10, 135; Доризо Н. — 137; Друнина Ю. — 9, 43, 67, 136; Дудин М. — 10; Дудин Ю. — 234.

Елкин А.— 95; Елфимов П.— 258; Еремеев Г.— 138; Ерхов Е.— 223; Есипов В.— 270.

Жале — 138; Жданов И.— 139; Железнов П.— 141; Жигулин А.— 140; Жуков В.— 44; Журавлев В.— 43, 141

Завадский В.— 144; Занадворов В.—71; Захарченко В.— 142; Заяц А.— 143; Землянский А.— 142.

Иванов А.— 145; Ивнев Р.— 148; Исаев В.— 227; Исаковский М.— 12; Искандер Ф.— 147; Испольнов А.— 149.

Кабаков М.— 45; Казакова Р.— 150; Казанский В.— 152; Каменский Ю.— 256; Карпеко В.— 151; Карпов В.— 103; Кафанов А.— 153; Кашежева И.— 152; Квливидзе М.— 153; Кикин Д.— 154; Кирсанов С.— 90; Кобзев И.— 111; Ковалев Д.— 45; Коваль-Волков А.— 154; Ковда В.— 155; Кожевников А.— 103; Кожухова О.— 47, 83; Козловский Я.— 48; Кондратьев А.— 156; Корин Г.— 156; Костров В.—74; Костров В.— 155; Котляр Э.— 157; Кравцова Н.— 104; Красиков С.—157; Кронгауз А.— 156; Крыжановский С.— 236; Крючкин М.— 48; Кубанев В.— 72; Кудрейко А.— 157; Кузовлева Т.— 158; Кулемин В.— 95; Куликов Б.— 73; Куликов Бор.— 159; Кульчицкий М.—72; Куприянов И.— 80.

Лашков И.— 51; Лапин В.— 75; Лебедев А.— 75; Лебедев-Кумач В.— 13; Левитанский Ю.— 163; Ленский А.— 99; Леонович В.— 165; Леонтьев Н.— 162; Лисянский М.— 13, 32, 167; Лифшиц В.— 49; Лобода В.— 76; Луконин М.— 14; Львов В.— 97; Львов М.— 15, 50, 166; Ляпин И.— 265.

Майоров Н.— 76; Максимов М.— 15; Марков А.— 111, 169; Марков С.— 171; Матвеев В.— 168; Матвеева Н.— 170; Матео Х.— 261; Медведев А.— 269; Медведев Ф.— 51; Межиров А.— 16, 35, 172; Межирова З.— 235; Мельников Ю.— 52, 172; Миллер Л.— 173; Мишина Е.— 257; Мнацаканян С.—237; Мориц Ю.— 174; Моро А.—173; Москвин Н.— 26: Мосолов Г.— 102; Мошковская Э.— 260; Мухина Л.— 175.

Наровчатов С.— 17; Недогонов А.— 18, 92; Никифоров А.— 110; Николаев А.— 55, 90; Николаева О.— 229; Никонычев Ю.— 231; Новосельнова H.-52.

Обухова Л.— 55; Озеров Л.— 109; Ойслендер А.— 96; Окназова Л.— 233; Орлов С.— 19, 239; Осинин В.— 176; Ошанин Л.—19, 32.

Панкратов Ю.— 176; Панченко Н.— 177; Парпара А.— 259; Паттерсон Д.— 178; Петренко С.— 59; Пляцковский М.— 261; Поделков С.— 108, 180; Полетаев В.— 97; Поликарпов С.—179; Полторацкий В.— 56; Поперечный А.— 179; Попов Л.— 58; Преловский А.— 177; Проталин В.— 57.

Ревич А.— 182; Решетников Л.— 94, 181; Рогов И.— 77; Родимцев А.— 29; Росляков А.— 236; Рудерман М.— 251; Рудой Н.— 182; Ручьев Б.— 249.

Савельев В.— 264; Самойлов Д.— 183, 229; Светлов М.— 20; Северцева Л.— 235; Семакин В.— 184; Семернин В.— 59; Сергеев В.— 61; Сидоров В.— 182; Симонов К.— 21, 27; Скуратов М.— 192; Слуцкий Б.— 60, 186; Смирнов Д.— 188; Смирнов Л.— 187; Смирнов С.— 189; Смольников А.— 193; Соболь М.— 61, 225; Соложенкина С.— 188; Сорокин В.— 195; Старшинов Н.— 62; Степанов В.— 270; Стрельченко В.— 78; Строганов И.— 196; Стройло А.— 196; Субботин В.— 21, 98; Суворов Г.— 77; Сурков А.— 22; Сухарев Д.— 197.

Тайдаков В.— 238; Тарасов Н.— 198; Тарасова М.— 197; Тарковский А.— 198; Татьяничева Л.— 250; Твардовский А.— 7; Творогова В.— 226; Терещенко Д.— 200; Тихонов Н.— 22; Топоров В.— 238; Тряпкин Н.— 201; Туркин В.— 203; Тушнова В.— 23.

Уткин И.— 24.

Фатьянов А.— 23; Федоров Василий — 205; Федоров Вл.— 204; Федорова Л.— 263; Федотов В.— 63; Фельдшерова Г.— 266; Филатов А.— 254, 255; Флёров Н.—208; Фоломин Ф.— 64; Френкель И.— 24, 35, 209; Фураев А.— 225.

Хелемский Я.— 210; Холендро Д.— 70.

Целищев А.— 211; Цыбин В.— 212.

Челноков Я.— 257; Чистякова Г.— 211; Чугай О.— 238; Чугунов В.— 79; Чуев Ф.— 213.

Шаламов В.— 213; Шведов Я.— 65; Шевелева Е.— 214; Шевченко М.— 66; Шергова Г.— 64; Шефнер В.— 215; Шиперович Б.— 215; Штейнберг А.— 218; Шубин П.— 25, 94; Шумаков Н.— 263.

Щипачев С.—25, 28, 217: Щипахина Л.—219.

Эскович Н.— 220.

Юлахин А.— 219.

Яшин А.— 221; Яшин М.— 231.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1974

М., «Советский писатель», 1974, 272 стр. План выпуска 1974 г. № 126. Художник Д. С. Мухим. Редактор В. С. Фогельсон. Худож. редактор В. В. Медеедее. Техн. редактор Р. Н. Соколова. Корректоры: В. Е. Бораненкова, Л. И. Жиронкина, Р. Г. Рагимова. Сдано в набор 11/VI 1974 г. Подписано к печати 26/VII 1974 г. А09571. Бумага 84×108¹/1₆. № 1. Печ. л. 17+0,5 вкл. (29,4). Уч.-изд. л. 24,69. Тираж 75 000 экз. Заказ 1414. Цена 2 руб. 14 коп. Издательство «Советский писатель», Москва, К-9. Б. Гнездниковский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфирома при Государственном комитетс Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28



Н. Тихонов, А. Твардовский, С. Вашенцев. 1940 год



М. Луконин, И. Куприянов, Б. Заходер (первый ряд); И. Бауков, Г. Власенко, П. Воронько, Г. Цуркин, С. Хайкин (второй ряд). 1939 год. (См. статью «Поэты — студенты — солдаты»)



 Γ . Суворов (1942 год) и обложка его рукописной тетради

leopnin Cybopole.

(4060 congantia.

Ленинградений срровий.



 ${\it И. Уткин. После ранения. 1943 год. Фото <math>{\it \Gamma. }$ Санько.



 $K.\ Cимонов,\ P.\ Kармен\ u\ командир\ авиационного\ полка\ Афонии.\ Aпрель\ 1944\ года$



А. Яшин. 1941 год. Ленинградский фронт

С. Щипачев и М. Матусовский среди военных журналистов. 1942 год. Северо-Западный фронт





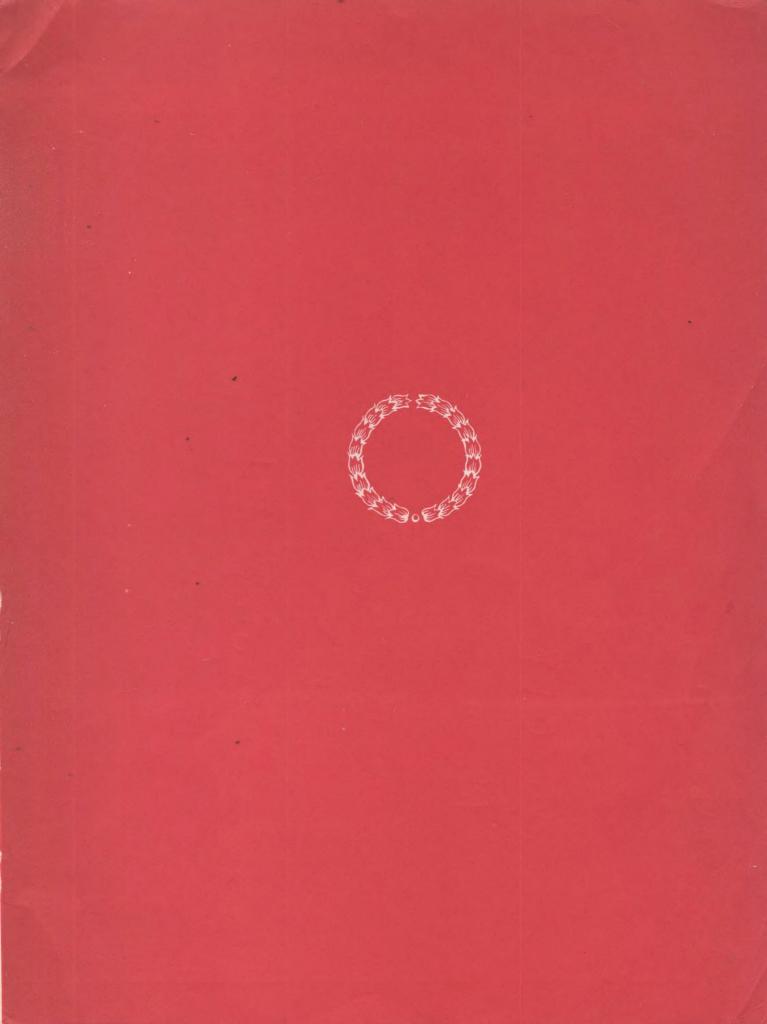
 $\it И.$ Френкель (в центре) у комсомольцев-саперов. $\it 1942\,$ год. $\it Южный\,$ фронт



С. Наровчатов. 1943 год. Ленинградский фронт



E. Долматовский, генерал-полковник B. И. Чуйков и A. Сурков. Лето $1945\ года$



a